

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р  
И Н С Т И Т У Т Я З Ы К О З Н А Н И Я

---

В О П Р О С Ы  
Я З Ы К О З Н А Н И Я

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ—АПРЕЛЬ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»  
МОСКВА—1973

## СОДЕРЖАНИЕ

- Ф. П. Филин (Москва). О структуре современного русского литературного языка . . . . . 3

### ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

- К. Б. Бектаев, С. К. Кенесбаев (Алма-Ата), Р. Г. Пиотровский (Ленинград). Об инженерной лингвистике . . . . . 13  
В. М. Мокиенко (Ленинград). Историческая фразеология: этнография или лингвистика? . . . . . 21  
Э. В. Севортян (Москва). К источникам и методам пратюркских реконструкций . . . . . 35

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

- В. Г. Адмони (Ленинград). Типология предложения и логико-грамматические типы предложения . . . . . 46  
Р. Лермит (Париж). О развитии номинативного предложения в русском языке . . . . . 58  
Г. Н. Акимова (Ленинград). Размер предложения как фактор стилистики и грамматики . . . . . 67  
В. В. Одинцов (Москва). Стилистический анализ авторедактирования писателей . . . . . 80  
С. М. Хайдаков (Москва). К вопросу о происхождении личного спряжения в дагестанских языках . . . . . 87  
Н. Г. Михайловская (Москва). К проблеме изучения лексико-семантической системы древнерусского языка . . . . . 92

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Обзоры

- Л. Г. Герценберг (Ленинград). Теория индоевропейского корня сегодня 102  
И. Н. Кручинина (Москва). Некоторые тенденции развития современной теории сложного предложения . . . . . 111

#### Рецензии

- П. А. Дмитриев (Ленинград). «Marks, Engels, Lenin o jeziku» . . . . 120  
А. С. Мельничук (Киев). *И. К. Белодед*. Ленинская теория национально-языкового строительства в социалистическом обществе . . . . . 122  
В. В. Колесов (Ленинград), В. М. Марков (Казань). *Ф. П. Филин*. Происхождение русского, украинского и белорусского языков . . . . 124  
В. Флаишер (Лейпциг). *М. М. Гухман*. Язык немецкой политической литературы эпохи Реформации и Крестьянской войны . . . . . 130  
Л. В. Бондарко (Ленинград). «Развитие фонетики современного русского языка. Фонологические подсистемы» . . . . . 135  
И. А. Василевская (Москва). *Е. Э. Биржакова, Л. А. Войнова, Л. Л. Кутина*. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII в. Языковые контакты и заимствования . . . . . 139  
В. Н. Хохлачева (Москва). *Иржи Ирачек*. Интернациональные суффиксы существительных в современном русском языке . . . . . 142  
В. А. Белошапкова, Е. В. Гулыга (Москва). *А. В. Бондарко*. Грамматическая категория и контекст . . . . . 145

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

#### Письма в редакцию

- И. И. Шилакадзе (Тбилиси). Из истории изучения категории вида в армянском языке . . . . . 148  
Хроникальные заметки . . . . . 150

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев,  
Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), В. З. Панфилов (зам. главного редактора),  
Б. А. Серебrenников, В. М. Солнцев (зам. главного редактора),  
О. Н. Трубаев, Ф. П. Филин (главный редактор), Г. В. Церетели, В. Н. Ярцева

Адрес редакции: 103031, Москва К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55

Ф. П. ФИЛИН

О СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО  
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Многие лингвисты указывали на условность термина «литературный язык» и между прочим потому, что обозначает он не только язык письменности (написанного), но и общепринятый у образованных людей язык устного общения. Были предприняты различные попытки заменить этот термин иными обозначениями, но все они оказались неудачными. В частности, Е. Д. Поливанов предложил называть литературный язык стандартным языком или диалектом<sup>1</sup>. Это предложение в наши дни было принято Д. Брозовичем<sup>2</sup>, Н. И. Толстым («стандартный литературный язык»)<sup>3</sup> и некоторыми другими исследователями. Однако название «стандартный» неприемлемо, по крайней мере на русской почве, потому что одно из двух значений его — «лишенный оригинальности, своеобразия; шаблонный, трафаретный»<sup>4</sup>. Между тем каждый литературный язык своеобразен, оригинален и неповторим. Сравнительное изучение литературных языков может быть плодотворным, если оно будет учитывать не только общее, что их объединяет, но и особенное, присущее каждому из них. Во всяком случае термин «литературный язык» продолжает оставаться во всеобщем употреблении, а «стандартный язык» и другие замены не выходят за пределы жаргона узкого круга лингвистов. Здесь уместно напомнить, что практика — критерий истины. Впрочем, может быть, термин «стандартный» является специально лингвистическим, а название «литературный» общеупотребительным словом, — подобно тому, как формула  $H_2O$  относится к химической терминологии, а слово *вода* обозначает известный предмет безотносительно к его химическому составу? Однако  $H_2O$  — термин содержательный, раскрывающий, из чего состоит вода, а какой «химический состав» литературного языка определяет жаргонизм *стандартный*?

Из многочисленных свойств современного русского литературного языка, на мой взгляд, прежде всего нужно выделить следующие: 1) способность выразить все знания, накопленные человечеством во всех областях его деятельности, семантическую всеобщность, что обуславливает его поливалентность, т. е. употребление во всех речевых сферах, 2) общеобязательность его норм как образцовых для всех, кто им владеет и пользуется, независимо от социальной, профессиональной и территориальной принадлежности, 3) стилистическое богатство, основанное на наличии разнообразных вариантов для обозначения одних и тех же семантических

<sup>1</sup> Е. Д. Поливанов, О литературном (стандартном) языке современности, «Родной язык в школе», 1927, 1; его же, За марксистское языкознание, М., 1931, стр. 119 и др.

<sup>2</sup> Д. Брозович, Славянские стандартные языки и сравнительный метод, ВЯ, 1967, 1; D. Brozović, Standardni jezik, Zagreb, 1970.

<sup>3</sup> Н. И. Толстой, К вопросу о зависимости элементов стиля стандартного литературного языка от характера его «стандартности», сб. «Развитие стилистических систем литературных языков народов СССР», Ашхабад, 1968.

<sup>4</sup> «Словарь современного русского литературного языка», 14, М.—Л., 1963, стр. 719.

единиц (с дополнительными оттенками или без них) и средств для особых значений, уместных только в определенных речевых ситуациях.

Указанные свойства выявляются при сопоставлении литературного языка с другими разновидностями современного русского языка, а также с прошлыми этапами его развития. Кроме литературного языка, современная русская речь представлена местными (территориальными) говорами, «полудиалектами», просторечием, профессиональными диалектами, жаргонами. Как разновидность литературного языка выделяется также непринужденная разговорная речь образованных людей в обиходно-бытовой обстановке. Отдельно стоит громадная область специальной лексики, в основной своей массе не выходящая за пределы узкопрофессионального общения. Ее наличие позволяет поставить вопрос о существовании лексики нормализованного языка в самом широком смысле слова. Наконец, получают бурное развитие многочисленные искусственные языки («подъязыки»), создаваемые в связи с широким применением ЭВМ и различными нуждами науки и техники и так или иначе использующие средства русского языка. Все эти разновидности русской речи ограничены в сферах своего употребления и не могут конкурировать со всеобщим средством общения — литературным языком.

Литературный язык и другие разновидности современного русского языка имеют сложные взаимосвязи, во многом определяющие их развитие и дальнейшую судьбу.

Общеизвестно, что местные говоры в настоящее время находятся в стадии разрушения и отмирания. Еще несколько десятков лет тому назад подавляющая часть русского сельского и некоторая часть городского населения говорила на местных говорах. Теперь в связи с распространением всеобщего среднего образования и значительным подъемом культуры круг носителей говоров резко сузился. Подавляющее большинство населения владеет литературным языком или пользуется своего рода полудиалектами — речью, переходной от местных традиционных говоров к правильному литературному языку. Говоры как цельные речевые единицы со своей системной организацией, известные по учебникам русской диалектологии и иной диалектологической литературе, теперь уже почти не существуют. Современным диалектологам приходится извлекать факты архаических диалектных систем из общей массы реальных фактов диалектной речи, отвлекаясь от фактического состояния полудиалектов. Во всяком случае, представителей относительно сохранившихся местных говоров приходится специально разыскивать. Их речь уже не типична для массовой речи сельского и тем более городского населения. Однако это еще не значит, что диалектные особенности вовсе исчезли и перестали так или иначе воздействовать на литературный язык. Многие из них оказываются живучими и в виде отдельных элементов сохраняются в речи даже высокообразованных людей. В речи носителей литературного языка могут оказаться и регионализмы городского происхождения.

В той или иной степени проявляющаяся диалектная окрашенность речи носителей литературного языка послужила основанием для утверждения о существовании региональных вариантов русского литературного языка. Однако это сущее недоразумение. Прежде всего, что означает слово «вариант» применительно к литературным языкам и языкам вообще? Толковые словари определяют слово *вариант* как разновидность чего-либо. Региональный вариант литературного языка — это такая его разновидность, которая считается одинаково образцовой, общественно утвержденной, помещающейся на той же плоскости, что и другая его региональная разновидность (или разновидности). Существуют американский и австралийский региональные варианты английского литературного языка, ка-

надский вариант французского языка, центрально- и южноамериканский варианты испанского языка и т. п. Но есть ли хоть малейшие основания говорить о московском, воронежском, архангельском, сибирском и т. д. региональных вариантах русского литературного языка, одинаково для всех нас образцовых и приемлемых? Таких оснований нет. Нельзя ставить в один ряд нормы литературного языка и отклонения от них. Известно, что литературное взрывное *з* (оглушающееся в определенных позициях в *к*) противопоставит южновеликорусскому фрикативному *γ* (оглушающемуся в *х*). Фрикативное *γ* — явление довольно устойчивое, его можно услышать в речи многих носителей литературного языка — выходцев из южновеликорусских областей. То же самое можно сказать о билабиальном *w* и его заменах, отвердевших губных на конце слов (*сем, любовь*), следах диссимилятивного аканья, оканья и связанных с ним особенностей, формах местоимений род.-вин. падежа ед. числа *мене, тебе, себе* и о многих других диалектных явлениях всех языковых уровней, так или иначе проявляющихся в речи образованных людей в качестве региональной приметы. Эти и подобные им диалектные черты вовсе не являются вариантами соответствующих литературных норм, они, вне всякого сомнения, находятся за пределами литературной языковой системы и обречены, как правило, на постепенное исчезновение. Изучать их необходимо, но не в качестве вариантов литературного языка. В языке художественной литературы, а в определенных случаях и вне ее диалектизмы используются для характеристики особенностей речи лиц, эпохи и в иных стилистических целях. В тех же случаях, когда диалектизмы приобретают права литературного гражданства, они теряют свой региональный характер, становясь элементами общепринятого литературного языка.

Сложнее обстоит дело с явлениями, идущими не из местных говоров, а возникающими в культурных центрах, но и в этих случаях положение в принципе не изменяется. Известно, что в основе современного русского литературного произношения лежит так называемое старомосковское наречие, ставшее образцовым в конце XIX — начале XX в. Ему обычно противопоставляется петербургское наречие. К сожалению, пока мало известно, как варьировались в пределах литературной нормы московское и петербургское произношение в XIX в. — отдельные сведения и наблюдения на этот счет случайны и незначительны и не позволяют делать с уверенностью какие-либо выводы. Можно сказать только одно: московское произношение ориентировалось на устную речь коренного московского населения, прежде всего интеллигенции, тогда как в петербургском произношении имела тенденция сближать московские орфоэпические нормы с правописанием (стремление к эканью, т. е. произношение *е* на месте орфографического *е* в первом предупредительном слоге, произношение *чи* в соответствии с написанием вместо *ин, -кий, -хий, -гий* вместо *-кѣй, хѣй, гѣй* и др.). Попытка объяснить петербургско-ленинградское эканье диалектным окружением Петербурга — Ленинграда<sup>5</sup>, как и предположение о преобладании в Ленинграде в 20—30-х годах эканья над иканьем, ни на чем не основана. То, что получило обозначение петербургско-ленинградского в орфоэпии, в истоках своих, вероятно, было связано с особенностями речи петербургского чиновничества. Но тенденция относительного сближения произношения и орфографии с самого начала была общерусской, обусловленной причинами культурно-социальными, а не территориальными. И позже широкие массы населения овладевали литературным языком, главным образом учась по книгам, а не по произношению. Произношение окон-

<sup>5</sup> «Русский язык и советское общество. Фонетика современного русского литературного языка», М., 1968, стр. 26 и сл.

чания прилагательных *-кий, -гий, -хий* не было свойственно русским архаическим говорам, оно явно книжного происхождения. Таким образом, название «петербургско-ленинградское произношение» очень условно, его нельзя понимать в буквальном смысле. Не имеет какого-либо территориального ограничения и московское произношение, также общерусское по своему характеру.

Существующие в современном литературном языке орфоэпические варианты (а их имеется немало) или свойственны речи любого носителя литературного языка, или же их преимущественное употребление зависит от возраста, культурных навыков, стилистической установки речи и иных причин. Локальные же разновидности произношения носят совсем иной характер. В настоящее время совершенно исключено, чтобы какие-либо территориально обособленные идентичные по функции явления языка (речь идет о русском языке) были бы в равной мере нормативными, образцовыми. То, что считается правильным или неправильным в Москве, точно так же оценивается в Ленинграде и в любом другом месте, где звучит русский литературный язык. Нужно решительно отличать литературные языковые нормы (и их варианты, свойством которых нередко бывает функциональная нетождественность), к полному овладению которыми должен стремиться каждый культурный человек, от диалектной окраски речи отдельных носителей литературного языка (специальной функциональной нагрузки не несущей), общественно осознаваемой как лингвистический дефект, как нечто, находящееся вне литературной нормы. Разумеется, диалектная окраска, о которой здесь идет речь, сама по себе является интересным объектом лингвистического исследования, еще мало изученным. Важно только правильно определить ее место относительно литературной нормы.

Не исключено, однако, что в отдельных случаях общепринятые варианты произношения в различных местностях употребляются неодинаково часто. Возможно (хотя практически это трудно проверить, поскольку следовало бы произвести массовое, если не поголовное, лингвистическое обследование населения, а не случайно выборочное), что в Москве несколько чаще употребляется мягкое произношение в словах типа *не[т'л']а* (нормально и *не[тл']а*), чем в Ленинграде, но константация этого факта не имеет никакого отношения к проблеме локальных вариантов литературного языка, поскольку *т'л'* и *тл'* одинаково нормативны на всей территории русской литературной речи. Можно считать даже несомненным, что многие вариативные нормы имеют диалектное происхождение, но не следует смешивать происхождение явлений (диахронный план) с их функционированием в настоящее время (план синхронный). Если оба варианта считаются одинаково образцовыми для всех, говорящих на русском литературном языке, то их локальное происхождение безразлично в аспекте нормы, оно представляет интерес только для историков русского языка.

К сказанному следует добавить, что ложная теория о локальных вариантах русского литературного языка смыкается с существующим у некоторых писателей мнением, будто бы русского литературного языка с его строгими централизованными нормами вообще не существует, что прав был В. И. Даль, предлагавший открыть неограниченный доступ в литературу всем ненормативным средствам русской речи; вся огромная работа по повышению культуры речи населения, ведущаяся в нашей стране, с этой точки зрения оказывается ненужной. Но мы хорошо помним задание В. И. Ленина создать словарь образцового русского языка (которое выполнено советскими языковедами), его указание о необходимости бороться за чистоту русского языка, помним об отношении А. М. Горького к областным словам и выражениям.

Многое еще предстоит выяснить в отношениях к кодифицированному литературному языку просторечия и разговорной речи. Под просторечием обычно понимаются языковые средства (слова, грамматические формы и обороты, особенности произношения), употребляемые преимущественно в устной речи для грубоватого, сниженного изображения предмета мысли. Например, такие слова и выражения, как *канючить*, *над нами не каплет*, *караулка* (не то, что нейтральное *караульная* — в караулке может помещаться не только караул, но и сторож), *на карачках*, *карга* (бранное название старухи), *карачун*, *капут*, *каюк*, *катнуть* (съездить, поехать) и т. п. во всех современных толковых словарях русского языка определяются как просторечные. В лингвистической литературе давно идет спор, включать ли просторечие в состав литературного языка или же ставить его вне нормативного употребления. На этот счет высказываются разные точки зрения, по моему убеждению, основанные на недоразумении. Существует не одно, а два просторечия: 1) просторечие как стилистическое средство литературного языка, 2) просторечие как речь лиц, недостаточно овладевших литературным языком. При этом их материальный состав во многом совпадает.

Современный литературный язык не может состоять только из одних нейтральных, стилистически однородных средств выражения, хотя эти средства и составляют его основу. То, что в словарях обозначается как просторечное средство, может быть употреблено в подходящей ситуации любым образованным человеком. Вывести из состава литературного языка функционирующее в нем просторечие означало бы лишить литературный язык средств сниженной речи, обычно несущих высокую эмоционально-оценочную нагрузку. Все, что используется в литературном языке и является в данное время общепринятым, общенародным в его письменной и устной разновидностях, принадлежит его системе. Между просторечием и диалектизмами и жаргонизмами, также попадающими в литературный язык, имеется принципиальное различие: первое общенародно, а вторые употребляются только в речи отдельных групп населения или отдельных писателей, следовательно, их нельзя относить к нормативным, общепринятым средствам литературного языка. Между прочим, подсчет стилистических позиций слов в 7 томе «Словаря современного русского литературного языка» (буква Н) дает любопытные результаты. Из 15 530 таких позиций (под стилистической позицией понимается любой элемент словаря — слово, значение слова, оборот, форма слова, ударение, — который имеет стилистическую помету или не имеет ее, когда отсутствует стилистическая окраска) нейтральных оказалось 11 606 (75%), стилистически отмеченных 3925 (25%). По этим данным, нейтральная основа составляет три четверти элементов современного русского литературного языка. На просторечие приходится 24,40% стилистически отмеченных позиций (6,22% всех позиций), на разговорные элементы соответственно 38,47% (9,71%), на диалектизмы только 3,72% (0,94%), на прочие стилистически окрашенные элементы 23,41% (8,13%). Конечно, приведенные цифры надо относить к письменной разновидности литературного языка и прежде всего к языку художественной литературы, что определяется источниками указанного словаря. Как выглядело бы соотношение нейтральных и стилистически отмеченных элементов в устной разновидности литературного языка, нам неизвестно. Утверждать, что стилистически отмеченных элементов в устной речи больше, рискованно, поскольку границы стилистических оценок в письменном и разговорном литературном языке далеко не во всем совпадут. Нужно также иметь в виду некоторую условность стилистических помет в словаре, и хотя преувеличивать эту условность нет оснований, все же трудность разграничения элементов разговорных и

просторечных — факт показательный в смысле равной принадлежности этих явлений литературному языку. П. Н. Денисов и В. Г. Костомаров провели подсчет соотношения стилистических помет по всему тексту словаря С. И. Ожегова, в котором нормативность в оценке лексики, естественно, выше, чем в большом академическом словаре. У них на помету «разг.» получилось 33,92%, на «прост.» 9,29% и на «обл.» 1,76%<sup>6</sup>. Расхождение в цифрах не очень велико, и объясняется оно прежде всего спецификой указанных словарей.

Утверждая, что просторечие — органическая составная часть системы литературного языка, выполняющая в нем определенную стилистическую роль, мы в то же время признаем, что существует и просторечие вне литературного языка. Под современным внелитературным просторечием следует понимать язык той части населения, прежде всего городского, которая еще недостаточно овладела литературными языковыми нормами. Практически это просторечие и «полудиалекты» смыкаются. В «полудиалектах» лишь более ясно проступает их старая диалектная основа и несомненно, что с ростом образования роль «полудиалектов» в общении неизбежно будет снижаться. Различие между внелитературным просторечием и архаическими местными говорами в том, что характерные черты просторечия обычно не имеют территориальных ограничений, они повсеместны. Для просторечия (в данном смысле), как и для «полудиалектов», характерно наличие неправильных (по сравнению с литературными нормами) огласовок, ударений, форм слов и грамматических оборотов в нейтральном употреблении и т. д., чем создается иное сравнительно с литературным языком стилистическое осмысление речевых элементов. Иногда высказывается взгляд, согласно которому само по себе просторечие едино, оно только по-разному оценивается: говорящие на литературном языке используют его как стилистически сниженный, ненормативный пласт языка, являющийся своего рода острой приправой к литературной речи, а для не владеющих литературным языком просторечие — обычный, нейтральный способ общения. Безусловно, разная оценка просторечия — явление объективное, но этим дело не ограничивается. Существуют внелитературно-просторечные слова, которые говорящий на литературном языке не допустит в свою речь ни при каких обстоятельствах (если не считать нарочитой подделки под «народность» или дурачества). Если для носителей литературного языка *крайний* (последний в очереди), *троллейбус* (троллейбус), *полуклиника*, *в кинé*, *без пальтá*, *хотйт*, *хóчут*, *местóв*, *илний* и пр. нетерпимы<sup>7</sup> и могут быть употреблены лишь в целях создания эффекта сниженности речи, стилизации, то в просторечии эти им подобные отклонения от литературного языка нейтральны.

Следует заметить, что внелитературное просторечие еще очень слабо изучено. Исторически оно связано со старой разговорно-обиходной речью городских слоев населения, противопоставляющейся книжному языку в те времена, когда нормы устной разновидности литературного языка еще не были выработаны. Расслоение старого просторечия и устной литературной речи, по-видимому, началось где-то в середине XVIII в. Как предполагает в своей интересной статье В. Д. Левин, «самого просторечия как языкового слоя, противопоставленного разговорно-литературной

<sup>6</sup> П. Н. Денисов, В. Г. Костомаров, *Стилистическая дифференциация лексики и проблема разговорной речи* (по данным «Словая русского языка» С. И. Ожегова, 3-е изд., М., 1953). «Вопросы учебной лексикографии», М., 1969, стр. 112.

<sup>7</sup> С полным основанием К. И. Чуковский писал: «Ни под каким видом, до конца своих дней я не мог бы ни написать, ни сказать в разговоре: *пальта*, *пальту* или *пальтом*» (К. И. Чуковский, *Живой как жизнь*, М., 1962, стр. 20).

речи, не существовало в то время (в эпоху Петра I. — Ф. Ф.); более или менее заметное расслоение разговорно-обиходной речи происходило уже во второй половине или даже в конце века»<sup>8</sup>. В дальнейшем просторечие становится преимущественно средством общения неграмотных и полуграмотных городских слоев населения. Оно оказывало серьезное воздействие на развитие литературного языка, постоянно давая ему средства для сниженного стиля. Впрочем все это еще подлежит изучению.

Особое место в структуре русского языка занимают разговорные элементы в литературном языке и сама разговорная речь. Устная разновидность литературного языка непосредственно связана с нормализованным языком письменности, особенно когда она выступает как средство массового общения (язык радио и телевидения, кино, театра, докладов, лекций и других публичных выступлений). В то же время она постоянно испытывает воздействие со стороны просторечия, жаргонов и местных говоров, имеются в ней и собственные тенденции развития, что приводит к разномуобразным сдвигам в системе литературного языка и находит отражение в его письменной разновидности. Наряду с устной речью массового общения существует также непринужденно-диалогическая бытовая речь.

Как говорил в свое время Л. В. Щерба, для нее прежде всего характерно, что ее «сознательность» (т. е. сознательная ориентация на литературно-письменные образцы) стремится к нулю. Особенности непринужденной разговорно-бытовой литературной речи, как выясняется благодаря работам Е. А. Земской и других исследователей, прежде всего проявляются в структуре синтаксиса (нечеткость в делениях речевого текста на предложения, разного рода недоговоренности, обрывы, повторения, своеобразные конструкции, необычный порядок слов, алогизмы и т. п.). Достаточно просмотреть стенограммы неподготовленной разговорно-литературной речи, чтобы убедиться в этом. Для печати такие стенограммы обычно надо переписывать заново. Наиболее выразительно недостаточная синтаксическая организованность проявляется в интимно-фамильярной речи. Взаимопонимание в таком случае достигается благодаря дополнительным экстралингвистическим средствам (мимика и жесты, окружающая обстановка, знание обстоятельств, имеющих отношение к предмету речи, и т. п.).

Определенные сдвиги наблюдаются и в стилистических оценках. То, что в строго организованном литературном языке имеет окраску непринужденности и фамильярности, некоторой сниженности, в неподготовленной и интимной разговорно-литературной речи может оказаться нейтральным. Редко кто из нас в разговоре употребит «поеду на электропоезде», обычным будет *электричка*. В официальном языке однако употребляется *электропоезд*, а слово *электричка* все современные словари (с позиций литературных норм) дружно определяют как «разговорное», т. е. имеющее сниженную окраску. Из этого следует, что и понятие «разговорное», как и понятие «просторечное», двойственно, оно обозначает стилистический пласт непринужденных и сниженных элементов в образцовом литературном языке (пласт значительный, составляющий более трети всех отмеченных стилистических позиций) и нейтральную разговорно-бытовую речь.

В разговорно-бытовой речи, по-видимому, можно обнаружить повышенную вариативность лексики, некоторые сдвиги (особенно окказиональные) в значениях слов, разного рода другие окказионализмы, большой удельный вес просторечия, диалектизмов и жаргонизмов, но в основе своей словар-

<sup>8</sup> В. Д. Л е в и н, Петр I и русский язык (К 300-летию со дня рождения Петра I), ИАН ОЛЯ, 1972, 3, стр. 217.

ный состав остается тем же, что и в образцовом литературном языке. Фонетические нормы также в основном сохраняются.

Некоторые лингвисты склонны считать неподготовленную разговорно-бытовую речь особым «разговорным языком», имеющим свою самостоятельную систему. Это явное преувеличение, которое доказать невозможно. Письменно-литературная и разговорно-бытовая разновидности литературного языка органически переплетаются друг с другом, постоянно взаимодействуют, питают и обогащают друг друга, причем ведущая роль остается за письменно-литературной разновидностью. Говорим и пишем мы при всех жизненных обстоятельствах на одном, а не на двух русских литературных языках. Утверждать обратное — значит превратно толковать понятие «язык» и «языковая система».

Попутно следует заметить, что вообще не следует злоупотреблять термином «язык». В некоторых работах последних лет получили распространение выражения «диалектный язык», «диалектный тип языка», содержание которых не выходит за рамки понятия «местные говоры, диалекты, наречия». Кроме путаницы, эти термины в науку ничего не вносят. Язык представляет собою определенную систему выражения на всех уровнях. Современный литературный язык, несомненно, представляет такую систему со своими специфическими особенностями. Местный говор также представляет собой систему, пусть в настоящее время трансформирующуюся в полудиалект, и может в определенном смысле противопоставляться литературному языку, но совокупность всех говоров не имеет своей особой системы и является всего лишь суммой многих местных систем. Объединяет все говоры русского языка то общенародное, что присутствует во всех разновидностях русского языка, в том числе и в литературном языке, что делает русский язык общенациональным средством общения. Никто не может доказать, что все вместе взятые говоры русского языка имеют такие же системы, как литературный язык или отдельный говор; следовательно, никакого «диалектного языка» не существует и не может существовать.

Очень важное значение для развития лексики литературного языка имеет развитие научно-технической и производственной терминологии. В наш век научно-технической революции происходит громадный рост специальных терминов, возникновение новых терминологических систем. Никто не знает даже приблизительно, сколько терминов имеется в настоящее время в русском языке. Во всяком случае их миллионы. В подавляющем своем большинстве они находятся за пределами общелитературного употребления, оставаясь достоянием рабочих, служащих и ученых определенных профессий. Несомненно, такое положение сохранится и в будущем, так как невозможно представить себе такого человека, лексический запас языка которого составляли бы миллионы слов.

Однако некоторая часть специальных терминов бурным потоком вливается в общий язык. Определенный интерес представляет в этом отношении словарь-справочник «Новые слова и значения» под ред. Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокина<sup>9</sup>. В этом словаре помещены слова, не вошедшие в современные толковые словари русского языка и извлеченные составителями из различных письменных источников 1964—1968 гг. Конечно, в указанном словаре учтена только какая-то часть лексики, попавшая на страницы общей печати, но и она показательна. Всего в словарь включено около трех с половиной тысяч слов, и почти все они относятся к области специальной терминологии: *аденовирусы* (вирусы, поражающие лимфатиче-

<sup>9</sup> «Новые слова и значения. Словарь-справочник», М., 1971.

ские железы), *амидопирин* (пирамидон), *анид* (разновидность синтетических волокон, аналогичная нейлону), *хула-хуп* (гимнастический обруч, вращаемый вокруг туловища) и т. д. и т. п. По моим приблизительным подсчетам, новобразований, созданных на базе русских языковых средств, что-то около 730 или всего около 20% ученых новых слов и значений. Этот процент несколько повысится, если учитывать сложные слова, в состав которых наряду с иностранными входят и русские основы (*радио-глаз* — о радиотелескопе, *антимир*, *биосвязь* и под.), и образования с русскими префиксами (*подпрограмма* — программа отдельной части вычислительного процесса, *подсистема* — подразделение, часть какой-либо системы и т. п.). Следовательно, в современном терминотворчестве ведущую роль играют заимствования (особенно из английского языка). Русская лексика растет прежде всего за счет специальной терминологии, а в этой терминологии господствуют иностранные слова. Хорошо это или плохо (бездумное подражание иностранным образцам и увлечение заграничными терминологическими модами, конечно, плохо), но факт остается фактом. Конечно, и в составе общелитературного языка специальная лексика не утрачивает своего терминологического характера.

Несравненно более скромную роль в развитии литературного языка играют разного рода ограниченные в своем употреблении жаргонизмы, которые обычно являются признаком низкой культуры речи или же используются как элементы эмоционально окрашенного сниженного стиля. Некоторые из жаргонизмов попали в вышеназванный словарь «Новые слова и значения»: *баранка* (о ноле очков, баллов в спортивных соревнованиях), *женатик* (женатый мужчина), *ляп* (ошибка, промах), *сообразить* (выпить какой-либо спиртной напиток, выпить вскладчину), *схимичить* (сделать что-либо незаконное, сплутовать, смошенничать) и др. Конечно, жаргонизмы должны изучаться лингвистами и сами по себе, и как стилистическое средство, но с позиций литературных норм они в большинстве своем словесный мусор, которому не место в речи культурных людей.

Как видно из вышеизложенного, русский литературный язык, сам неоднородный в своем составе, теснейшим образом связан с различными разновидностями русского национального языка, воздействует на них и сам испытывает их влияние. В результате этого влияния он не только пополняется новыми средствами выражения, но и обогащается стилистически, повышает вариантность своих элементов, получая возможность обозначать одно и то же явление разными словами и формами. Вариантность — одно из важнейших условий развития языка, поскольку через изменение соотношений между вариантами (одни варианты на определенные отрезки времени остаются равноправными, но в таком равноправии всегда заложена возможность нарушения равновесия; другие стилистически по-разному окрашены, причем их окраска тоже изменчива; третьи укрепляют свои позиции или, наоборот, сдают их, переходя в разряд малоупотребительных или устаревших элементов) происходят многие сдвиги на всех языковых уровнях. Смена одних вариантов другими нередко протекает неравномерно и зависит от многих причин. Изменение границ между разновидностями языка (а эти границы не только подвижны, но и далеко не всегда определены) также нередко осуществляется через ступень вариантности в широком смысле этого слова. В то же время для современного русского литературного языка характерна строгая нормативность, узаконивающая употребление вариантов — или равноправных, взаимозаменяемых, или стилистически ограниченных. Все мы в разной мере в своей речевой деятельности делаем те или иные отступления от установившихся норм, но между речью индивидуума и языком общества нельзя ставить знак равенства. Языко-

вые нормы в их общественном бытии — маяк, на который языковой коллектив ориентируется в бесконечном море речевой деятельности.

Разумеется, наличие образцовых норм вовсе не означает их неизменности, так как язык, как и сама жизнь, постоянно в чем-то меняется, но изменения в нем происходят не беспорядочно, не анархически, а в рамках внутренних законов развития языка, корректируемых обществом. Нередко приходится читать и слышать (особенно со стороны отдельных писателей), что нормативность сковывает языкотворчество, «омертвляет» язык, что нужно дать полную свободу «народной речи» (в далевском смысле или вроде того) и отменить, в частности, стилистические ограничения, «навязываемые» в словарях лексикографами, и прочие кодификаторские установления. Все это досадное недоразумение. Литературный язык и язык писателя — не одно и то же. Язык художественной литературы — очень важная, но все же лишь составная часть литературного языка, обслуживающего различные сферы деятельности общества. Писатель свободен в своем языкотворчестве, и прелесть его языка в индивидуальном и неповторимом своеобразии, но свободен он лишь до известной степени. Замечательные русские писатели обогащали литературный язык, а великий Пушкин в свое время его реформировал, но они правительственно угадывали внутренние законы его развития, способствовали их лучшей реализации, а не шли против них. Нормы литературного языка, достаточно гибкие благодаря своей вариантности, обязательны для всех. Что касается стилистических помет в словарях, грамматиках и иных изданиях кодифицирующего характера, то не вина лингвистов, что в языке объективно, независимо от их воли, существует стилистическое разнообразие, богатство (и хорошо, что оно есть). Беда их в том, что они не всегда адекватно отражают стилистическую систему литературного языка.

Язык художественной литературы — чрезвычайно важная, но составная часть общелитературного языка, функции которого охватывают все виды человеческого общения. Однако в то же время он и шире общелитературного языка, поскольку писатели (в зависимости от своей одаренности и целевого назначения их произведений) нередко используют языковые средства иных систем — элементы давно минувших эпох (так называемые историзмы), иностранные слова и выражения (иногда без перевода), диалектизмы, внелитературное просторечие, жаргонизмы и прочие языковые средства, находящиеся вне норм общепринятого литературного языка. Многие из таких средств благодаря удачным находкам, жизненной необходимости и авторитету писателя становятся нормативным, образцовым. Только безнадежные пуристы могут встречать в штыки любое языковое творчество писателей. Между языком художественной литературы и нормативным литературным языком нет и не может быть тождества, но теснейшая и органическая связь между ними несомненна. Кстати, заметим, что такой упорный противник самого понятия нормативности (без которого немислим ни один литературный язык), как писатель А. Югов, сам пишет на обычном русском нормативном языке.

Мы попытались здесь сжато и схематически представить структуру современного русского языка в его различных разветвлениях. Ее своеобразие станут еще более наглядными, если обратиться для сравнения к прошлым временам, когда расчлененность русского языка была иной, но это тема для особой работы.

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

К. Б. БЕКТАЕВ, С. К. КЕНЕСБАЕВ, Р. Г. ПИОТРОВСКИЙ

## ОБ ИНЖЕНЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Двадцать лет отделяет нас от появления первых публикаций, посвященных решению инженерно-лингвистических задач — задач перевода текста с помощью ЭВМ<sup>1</sup>. Трудно было бы найти такие отрасли науки, которые за первые два десятилетия своего существования перенесли столько драматических коллизий, сколько их пережила инженерная лингвистика. Достаточно вспомнить могучий всплеск машинно-переводческих идей, захвативших в конце 50-х годов не только молодых, но и опытных языковедов среднего и даже старшего поколения, — всплеск, сменившийся в середине 60-х годов глубоким разочарованием, в результате которого большинство отечественных и зарубежных пионеров машинного перевода ушло из инженерной лингвистики. Вместе с тем, говоря о неудачах 50-х и первой половины 60-х годов, нельзя забывать о том, что эта «романтическая эпоха» инженерной лингвистики дала начало многим направлениям современного языкознания. Достаточно назвать здесь статистико-комбинаторное моделирование, глубинный синтаксис, исследования по формализации семантики (смысл — текст).

В небольшой статье трудно оценить все многообразие лингвистических идей, родившихся в связи с включением в сферу функционирования естественного языка электронно-вычислительной машины. Мы ставим перед собой более скромные задачи: во-первых, рассмотреть перспективы использования ЭВМ при решении лингвистических задач, во-вторых, обсудить некоторые вопросы лингвистической теории, возникающие в связи с функционированием языка в новой для него коммуникационной системе «человек — машина — человек».

Рассматривая эти вопросы, мы будем ориентироваться лишь на работающие в экспериментальном и промышленном режиме лингвистические программы, оставляя в стороне все нереализованные на ЭВМ «бумажные» алгоритмы. Такое ограничение, как мы увидим дальше, имеет принципиальное значение с точки зрения теории и практики инженерной лингвистики.

Хотя возможности машины и человека неоднократно обсуждались в научной литературе среди языковедов, в том числе и тех, кто занимается вопросами автоматизации, до сих пор не сложилось единого мнения по поводу использования ЭВМ: одни полны скепсиса по поводу применения

<sup>1</sup> См. сб. «Машинный перевод», М., 1957, стр. 305—306. В. П. Берков, Б. А. Ершов, О попытках машинного перевода, ВЯ, 1955, 6; N. Macdonald, Language translation by machine. A report of the first successful trial, «Computers and automata», III, 2, 1954; И. К. Бельская, Л. Н. Королев, И. С. Мухин, Д. Ю. Панов, С. Н. Разумовский, Автоматический перевод с одного языка на другой на электронно-счетной машине, сб. «Труды Всесоюзного математического съезда (Москва, июнь — июль 1956)», 4, М., 1959, стр. 93.

машин в лингвистике, другие считают вполне возможным решать на ЭВМ сложные синтаксические и даже стилистические задачи. Поэтому, говоря об итогах и перспективах применения ЭВМ в лингвистике, напомним еще раз о реальных возможностях человека и машины при решении разного вида лингвистических задач.

Известно, что скорость переработки информации внутри ЭВМ в несколько сотен и даже тысяч раз превосходит скорость преобразования информации в мозгу человека (память ЭВМ БЭСМ-6 перерабатывает информацию в 20 тыс. раз быстрее, чем человеческий мозг). Хотя эта скорость ЭВМ несколько обесценивается более медленным функционированием вводящих и выводящих информацию устройств, скорость ЭВМ при переработке текста намного превосходит возможности человека<sup>2</sup>.

Машина обладает большей по сравнению с человеком помехоустойчивостью и надежностью. Если функционирование мозга при переработке текста (например, при его реферировании или переводе) зависит от физиологического и психического состояния человека, а также быстро нарушается в результате утомляемости, то работа ЭВМ характеризуется большой устойчивостью и продолжительностью (например, среднее время безотказной работы ЭВМ «Минск-22» находится в пределах 50 часов).

Для машины характерно устойчивое хранение информации. Напротив, человек при отсутствии тренировки постепенно забывает усвоенный материал. Это преимущество ЭВМ имеет принципиальное значение: однажды составив программу переработки текста и записав текст на ленту, мы получаем возможность обращаться к его переработке через много месяцев и лет.

Вместе с тем ЭВМ имеет два существенных недостатка, ограничивающих ее возможности при решении лингвистических задач.

Во-первых, память современных ЭВМ на несколько порядков меньше памяти человека. Память ЭВМ «Минск-22» равняется примерно  $6 \cdot 10^7$  двоичных единиц (дв. ед.) информации, для «Минска-32» этот объем достигает  $6 \cdot 10^8$  дв. ед., для ЕС-1020 он составляет  $2 \cdot 10^8$  дв. ед., а суммарный объем памяти БЭСМ-6 приближается к  $1,7 \cdot 10^9$  дв. ед. Емкость же памяти человека находится, очевидно, в пределах  $10^{10}$ — $10^{13}$  дв. ед. информации. Иными словами, объем памяти наиболее мощных машин в пять-шесть раз меньше нижнего порога памяти человека. Что же касается средних ЭВМ, к которым в настоящее время имеют более или менее постоянный доступ языковеды, то их память в несколько сотен и даже тысяч раз меньше памяти человека. Малые объемы памяти ЭВМ явно не соответствуют тому количеству информации, которая содержится в естественном языке. Построенная в группе «Статистика речи» действующая система лингвистического обслуживания, включающая автоматический англо-русский словарь по одной отрасли знания, программы автоматического индексирования, аннотирования — перевода и реферирования, а также вспомогательные программы, полностью занимает оперативную и внешнюю память ЭВМ «Минск-22». Если же нужно получить не просто пословный перевод-подстрочник и информационный образ текста, которые выдает только что упомянутая система, но связный и грамматически правильный перевод, то выполнение такой задачи потребует памяти порядка  $2 \cdot 10^9$  ÷  $8 \cdot 10^9$  дв.

<sup>2</sup> Машина «читает» текст с перфокарт или с перфоленты со скоростью примерно 1500 символов/сек., в то время как скорость чтения у человека не превышает 25 символов/сек. Стандартное печатающее АЦПУ-128 выводит лингвистическую информацию из ЭВМ со скоростью около 900 символов/сек., новое печатающее устройство ЕС-7030 выдает машинные результаты со скоростью 1400 символов/сек. Скорость выдачи информации человеком через устную речь или скоропись не превышает 10 символов (букв, фцеом)/сек.

ед. Объемы памяти этого порядка имеют только машины большой мощности, например, советская БЭСМ-6, американские IBM-370 и IBM-360<sup>3</sup>.

Во-вторых, между «электронным мозгом» и высшей нервной деятельностью человека имеются качественные различия, которые гораздо в большей степени, чем количественные расхождения, ограничивают лингвистические возможности ЭВМ. Структурная единица машинной памяти — ячейка (машинное слово) может одновременно принимать или передавать информацию только одной такой же ячейке. В связи с этим современная машина решает лингвистические задачи по принципу строгой очередности, последовательности, одноканальности передачи информации<sup>4</sup> и ее элементной запоминаемости. Напротив, структурная единица мозга человека — нейрон — может, с одной стороны, передавать через концевые ответвления своего аксона нервный импульс одновременно тысячам других нейронов, а, с другой, этот нейрон может получать импульс от тысяч других нейронов, с которыми он имеет прямую связь через свои дендриты. В итоге, нейроны через свои связи с другими нейронами как бы замыкаются сами на себя, образуя нейронные кольца, которые в свою очередь объединяются в системы нейронных колец<sup>5</sup>. В результате каждый нейрон входит сразу в несколько нейронных колец, причем возбуждение одного нейрона в одном кольце может активизировать другие кольца и системы. Такое предположение о построении и механизмах человеческой памяти не только проливает свет на способность мозга к ассоциативной записи и выборке информации, но и хорошо согласуется с современными представлениями о парадигматической структуре языка — структуре, образующейся путем взаимопересечения разных парадигм. При записи этой структуры в мозгу человека каждая лингвистическая единица входит одновременно в целый пучок парадигм или, как их называл Ф. де Соссюр, ассоциативных групп<sup>6</sup>. Это взаимоналожение парадигм, являющееся предпосылкой для метафорического употребления лингвистических единиц в речи и развития у них многозначности, определяет существование языка как открытой, вечно изменяющейся системы. Вместе с тем, взаимоналожение парадигм позволяет человеку осуществлять целенаправленный лингвистический поиск, не прибегая к сканированию (последовательному перебору) материала, как это делает лишенная ассоциативной памяти ЭВМ<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Более подробные численные оценки возможностей современных ЭВМ с точки зрения решения различных лингвистических задач см. в работах: Р. Г. П и о т р о в с к и й, Экстралингвистические и внутриязыковые вопросы при переработке текста в системе «человек — машина — человек», сб. «Вопросы социальной лингвистики», Л., 1969, стр. 42—44; е г о ж е, Машинный перевод (некоторые итоги и перспективы), сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1972; ср.: А. П. К р а й з м е р, С. А. М а т ю х и н, С. Г. М а й о р к и н, Память кибернетических систем (основы мнемологии), М., 1971, гл. III—XI.

<sup>4</sup> Появление мультипрограммных машин (Мииск-32, БЭСМ-6, ЕС-1020) практически ничего не меняет в общих принципах машинного решения лингвистических задач, поскольку возможности обмена информацией между параллельно работающими в ЭВМ программами весьма ограничены.

<sup>5</sup> О кольцевых связях в нервной системе см.: А. Н. Р а д ч е н к о, Моделирование основных механизмов мозга, М., 1968, стр. 6 и 103—148.

<sup>6</sup> Ф. де С о с с ю р, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 123—124.

<sup>7</sup> Разработки приемов ассоциативного программирования и ассоциативных запоминающих устройств ведутся уже давно; ср.: Г. А р о н о в, В. Щ е г л о в, Кодирование информации и ее ассоциативный поиск, сб. «Электронно-вычислительная техника и программирование», 4, М., 1971, стр. 73—79; F. C h e w W o o, Plated wire content-addressable memories with bit-steering technique, «IEEE transactions of electronics and computers», XVI, 5, 1967; N. Y. F i n d l e r, On a computer language which simulates associative memory and parallel processing, «Cybernetica», X, 4, 1968. Однако ЭВМ, имитирующих ассоциативную память человека, пока не существует.

Чем тоньше и сложнее лингвистическая задача, тем большее число парадигм и дистрибуций, а также реализующих их нейронных колец (или систем колец) вовлекается в одновременный ассоциативный поиск. Если такая сложная задача решается на машине, то весь пучок расчленивается и превращается в последовательность отдельных парадигм и дистрибуций, которые записываются одна за другой в памяти ЭВМ. Одновременный ассоциативный целенаправленный поиск заменяется последовательным перебором со слабой целенаправленностью<sup>8</sup>. При этом быстрота действия ЭВМ, являющаяся основным преимуществом машины перед человеком, растрачивается на сканирование материала. В этих случаях медленно работающий человеческий мозг благодаря использованию целенаправленного ассоциативного поиска избегает непроизводительных затрат и решает сложную семантико-синтаксическую задачу скорее, чем это делает машина.

Напротив, когда речь идет о «рутинных» лингвистических задачах, т. е. о таких задачах, которые предусматривают поиск и упорядочение лингвистических объектов по одной, максимум двум-трем парадигмам, машинное алгоритмическое их решение дает более точный и быстрый результат, чем ассоциативный поиск, осуществляемый человеком.

Наибольший эффект дает использование ЭВМ при выборе из текста и сортировке большого числа лингвистических объектов, при условии, что этот выбор и сортировка осуществляются на основе небольшого числа формальных критериев<sup>9</sup>. Без этих первичных рутинных переработок текста практически невозможно любое серьезное лексикографическое, статистико-грамматическое, фонетико- и графемно-статистическое, лексико-статистическое, а теперь и методическое исследование.

Не касаясь автоматических обработок текста, проводившихся в интересах прикладной лингвистики (машинный перевод, информационный поиск, оптимизация преподавания иностранных языков)<sup>10</sup>, остановимся подробнее на некоторых результатах применения ЭВМ при решении чисто лингвистических задач.

Одним из основных направлений в исследованиях Института языкознания АН Казахской ССР является нормализация современного литературного языка, лингвистическое освоение произведений современных писателей и литературного наследия классиков казахской литературы, а также лексикографическое изучение древнетюркских памятников.

В ходе планирования этой работы стало ясно, что получить в обозримый период (7—10 лет) исчерпывающее описание норм современного казахского литературного языка и исследовать историю его лексики можно при условии, если к этой работе будет привлечено несколько сотен языковедов. При этом основная затрата труда и времени ложится на просмотр

<sup>8</sup> О современных методах целенаправленного поиска, сортировки и упорядочения лингвистической информации см.: К. И. Курбаков, Кодирование и поиск информации в автоматическом словаре, М., 1968; В. С. Криевич, Серийный автоматический поиск при обработке информации с помощью ЭВМ, сб. «Статистика текста», II — Автоматическая переработка текста, Минск, 1970.

<sup>9</sup> Делались попытки использовать для этих целей разного вида электромеханические устройства, в частности счетно-аналоговые машины (САМ); ср.: В. Q u é t a d a, La mécanisation dans les recherches lexicologiques, «Cahiers de lexicologie», I, Bézanson, 1959; И. К е л м е н, Машинный сбор и обработка данных на службе лексикографии, «Лексикология и лексикография», М., 1972, стр. 10—12. Однако эти приемы лингвистической механизации значительно уступают по точности и скорости обработке языкового материала на ЭВМ и поэтому серьезных перспектив развития не имеют.

<sup>10</sup> См.: А. В. Зубов, Переработка текста естественного языка в системе «человек — машина», «Статистика речи и автоматический анализ текста», Л., 1971, стр. 307 и сл.; Л. А. Попова, М. А. Щукина, Создаем частотные словари-минимумы, «Вестник высшей школы», 1972, 4, стр. 32.

миллионов страниц текста, выбор из них отдельных словоформ и словосочетаний, а затем на их сортировку и упорядочение, т. е. на такую нетворческую работу, которая легко поддается автоматизации. Собственно научный лексикографический и историко-лингвистический анализ этого материала занимает не более 10% времени, затрачиваемого на разработку лексикографической проблемы.

Не располагая необходимыми штатными возможностями и одновременно считая нецелесообразным растрчивать труд высококвалифицированных специалистов на рутинную работу, казахские лексикографы переложили работу по выборке, упорядочению и пересчету лингвистических единиц на ЭВМ «Минск-22». Машине были поручены следующие операции по первичной лексикографической и морфологической обработке публицистических, научно-технических текстов и произведений казахских классиков: а) составление алфавитно-частотных словников; б) построение обратных словарей; в) составление алфавитно-частотных списков словосочетаний.

В течение 1969—1972 гг. с помощью ЭВМ получены следующие результаты: составлен на машине и издан «Обратный словарь казахского языка»; готовится выпуск «Алфавитно-частотного словаря романа М. Ауэзова „Путь Абая“», полученного на основе текстов объемом около полумиллиона словоупотреблений; составлены частотные, алфавитно-частотные, обратно-частотные словари по пьесам М. Ауэзова, публицистическим, художественным, научно-техническим текстам по казахскому эпосу, а также по древнетюркским текстам объемом более одного миллиона словоупотреблений; на обширном материале проведен статистический анализ морфологической структуры существительных, глаголов и прилагательных; определены информационные характеристики (меры) казахского языка; исследованы статистика и дистрибуция графем казахского языка.

Алфавитно-частотные словники и списки словосочетаний используются при построении толкового и фразеологического словаря современного казахского языка. Обратный частотный словарь является фундаментом для полного описания морфологии современного казахского языка, для отбора материала в нормативную грамматику, а также при осуществлении информационных измерений грамматики и лексики в современном тексте.

Об эффективности работы машины по первичной обработке текста можно судить по следующему примеру. Словник для романа М. Ауэзова «Путь Абая» получен двумя научными работниками с помощью ЭВМ за 8 месяцев. Для выполнения этой задачи вручную двум человекам понадобилось бы 10 лет изнурительной механической работы.

Кроме того, ЭВМ используется в Институте языкознания АН Казахской ССР при исследовании древнетюркских памятников, а также графемной, фонемной и лексической комбинаторики киргизских, узбекских, каракалпакских и других тюркских текстов<sup>11</sup>.

При выполнении описанных выше лингвистических заданий машина производит вместо человека «однопарадигматические» мыслительные операции, сравнения лингвистических объектов с точки зрения их графического тождества, осуществляет операцию суммирования, а также подменяет человека, сортирующего вручную словарные карточки. Выполняя эти рутинные операции, ЭВМ заметно облегчает труд языковеда, экономя его время и предоставляя возможность концентрировать свои усилия на лингвистическом анализе собранного и упорядоченного машинной материала.

<sup>11</sup> С. К. Кенесбаев, Р. Г. Пиотровский, К. Б. Бектаев, Инженерная лингвистика и тюркология, «Советская тюркология», 1970, 6, стр. 5—7.

Наряду с выполнением рутинных лингвистических задач современные ЭВМ обладают и некоторыми «гуманистическими» возможностями. В результате формализации и алгоритмизации эвристических лингвистических задач машина способна извлекать из текста смысловую информацию, переводя ее на информационный или любой естественный язык. На этом пути реально осуществляется машинный перевод, автоматическое индексирование, аннотирование и реферирование.

Используемые здесь алгоритмы и программы опираются на сравнение формальных признаков текста с предварительно заложенными в ЭВМ формализованными семантическими эталонами. При этом используется два подхода — и к о н и ч е с к и й и а л г о р и т м и ч е с к и й.

Идея иконического подхода состоит в прямом отождествлении текстового сегмента, состоящего из одного или нескольких контактирующих словоупотреблений, с аналогичным сегментом в памяти ЭВМ, — сегментом, значение которого заранее формализовано и выражено средствами машинного, информационного или какого-либо естественного языка. На иконическом подходе строятся, например, автоматические двуязычные словари, в том числе словари машинных оборотов. Этот подход особенно удобен в тех случаях, когда распознается смысл текстов, порожденных подязыками, представляющими собой закрытую и строго фиксированную совокупность лингвистических единиц (словоупотреблений, словосочетаний, предложений). Примером могут служить английский и русский подязыки переговоров «земля — воздух» («аэродром — пилот»), каждый из которых состоит из фиксированного числа фраз-штампов (в английском подязыке их 755, в русском — 820) типа англ. *may I take off?* — русск. *разрешите взлет*. Аналогичным образом строятся подязыки коммуникативных систем «земля — вода», «вода — вода».

Построенная на иконическом принципе система большого англо-русского автоматического словаря (АС) группы «Статистика речи»<sup>12</sup> уже сейчас может быть использована для распознавания смысла и перевода английских и русских текстов, порожденных подязыками указанного типа.

Иконический подход является примером машинного решения лингвистической задачи с позиции «грубой силы». В память ЭВМ закладывается большая входная и выходная информация (например, упомянутый выше англо-русский АС, включая около 15 тыс. входных словоформ и оборотов, содержит до 300 тыс. выходных лексических единиц). Зато алгоритмы отождествления словоформ текста с единицами словаря и выдачи выходных результатов сравнительно просты, поскольку ЭВМ рассматривает каждую словоформу как неизменяемую самостоятельную лексему. При этом как входной, так и выходной языки (в нашем случае английский и русский) превращаются в лишенные морфологии «изолирующие» языки.

При алгоритмическом подходе закладываемая в ЭВМ информация сравнительно невелика. Например, составленный в группе «Статистика речи» экспериментальный немецко-русский АС для перевода текстов по электронике содержит около 3 тыс. немецких и такого же количества русских машинных основ<sup>13</sup>. Зато алгоритмы морфологического анализа и синтеза здесь не только сложны, но требуют часто искусственного изменения типологии входного и выходного языков. Например, при построении алго-

<sup>12</sup> В. А. В е р т е л ь, Е. В. В е р т е л ь, В. С. К р и с е в и ч, Р. Г. П и о т р о в с к и й, Л. И. Т р и б и с, Автоматические словари в системе бинарного вероятностного МП, сб. «Инженерная лингвистика» («Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», 458), 1971.

<sup>13</sup> М. Г. З о р е ф, Машинные основы и машинная морфология в немецко-русском автоматическом словаре. Автореф. канд. диссерт., Кишинев, 1972, стр. 18.

ритма немецко-русского (или французско-русского) морфологического перевода лингвист должен однозначно указывать границы между машинными основами и окончаниями, часто не совпадающими с традиционными основами и флексиями. При этом фузионная структура индоевропейского слова заменяется «квазиагглютинативным» членением.

Действующие промышленные системы автоматической переработки текста представляют собой обычно комбинацию алгоритмического и иконического подходов. Примером может служить система лингвистического обслуживания группы «Статистика речи», которая объединяет построенную на алгоритмическом принципе программу русского аннотирования и индексирования английского научно-технического текста<sup>14</sup>, и иконическую программу его подстрочного перевода (ср. выше).

Дальнейшее развитие автоматической переработки смысловой информации идет, во-первых, по линии устранения многозначности лексических и грамматических единиц текста, опирающегося на анализ их контекстного окружения, во-вторых, по пути разработки синтаксического анализа и синтеза предложения и, наконец, по линии тезаурусного реферирования текста<sup>15</sup>. Первые экспериментальные алгоритмы этих типов уже реализованы на ЭВМ «Минск-22» и БЭСМ-4.

Программы извлечения и формализации смысловой информации имеют первостепенное значение с точки зрения развития информационного дела и автоматизации управления. С помощью этих программ может быть преодолен барьер между потоками научно-технических и деловых документов, написанных на естественных языках, с одной стороны, и призванными принимать и обрабатывать эти потоки информации автоматическими системами управления (АСУ) и автоматическими информационными системами (АИС), с другой. Существо этого барьера заключается в том, что, будучи созданными не алгоритмической памятью ЭВМ, но интуитивно-ассоциативным мыслительным аппаратом человека, научно-технические и деловые тексты имеют неформализованный и поэтому непонятный для машины вид. Распознавание смысла документа и его формального представления в виде индекса, аннотации или реферата на понятном машине информационном языке осуществляется в настоящее время в АСУ и АИС вручную. Работа эта требует больших затрат времени и средств, а результаты ее во многом зависят от квалификации, опыта, внимания специалиста-индексатора. Поэтому, если на компоновку, сортировку и анализ всего множества машинных индексов документов в АСУ и АИС уходят секунды и минуты, то на ручное индексирование и аннотирование документов уходят часы и даже сутки. В итоге основное преимущество АСУ и АИС, заключающееся в больших скоростях переработки текстовой информации, по существу, сводится на нет.

Преодолеть этот парадокс можно только путем автоматического распознавания смысла документа и формализованного представления этого смысла на языке машины (или, если это необходимо, на естественном языке). Эту задачу и призвана выполнять описанная выше программа индексирования, аннотирования и реферирования текста.

Если обратиться к теоретическим проблемам инженерной лингвистики, то основным ее методологическим вопросом является отношение машинных моделей к языковой действительности. С одной стороны, реше-

<sup>14</sup> См.: Н. П. Рахубо, Е. С. Тарасова, А. Н. Попеску, К вопросу об автоматическом индексировании и аннотировании научно-технических текстов, «Уч. зап. Калининск. гос. пед. ин-та им. М. И. Калинина», 81, 1971.

<sup>15</sup> См.: А. Н. Попеску, М. С. Хажинская, Тезаурусный метод составления алгоритма для автоматического реферирования французского научно-технического текста, «Автоматическая переработка текста», Кишинев, 1972.

ние с помощью ЭВМ лингвистических задач служит надежным средством логической экспликации и моделирования различных лингвистических объектов и их функций. Действительно, если языковое явление смоделировано в форме алгоритма, и этот алгоритм, будучи перенесенным с ассоциативного субстрата человеческого мышления на последовательно-логический механизм ЭВМ, устойчиво выдает правильный лингвистический результат, можно не сомневаться, что некоторая существенная сторона интересующего нас языкового явления понята правильно<sup>16</sup>.

С другой стороны, встает вопрос о том, насколько адекватно могут описать машинные модели лингвистическую действительность.

Несовместимость ассоциативной эвристики человеческого мозга и последовательно-алгоритмического функционирования ЭВМ, о которой мы говорили выше, вызывает к жизни две лингвистические антиномии. Первую назовем условно парадоксом человека и робота, вторую обозначим как парадокс Ахиллеса и черепахи.

Лингвистический парадокс человека и робота состоит в следующем. Согласно второй теореме Гёделя, непротиворечивость данной формальной системы можно доказать только с помощью другой, более мощной системы. Но непротиворечивость этой второй системы может быть показана только методами третьей, еще более сильной системы и т. д. Стремясь к стопроцентной формализации языка, мы должны создать на основании нашего неформализованного эвристического знания языка и его описаний предельно мощную формализацию  $L$ . Однако эта формализация  $L$  обязательно будет содержать выражение  $\Phi$ , которое окажется неразрешимым в системе  $L$ . Вместе с тем более мощное описание языка  $L'$ , в котором можно было бы разрешить выражение  $\Phi$ , мы построить уже не в силах, поскольку возможности нашего неформализованного эвристического знания исчерпаны.

Не имея возможности создавать все более и более мощные формальные модели языка, асимптотически приближающие нас к его стопроцентной формализации, мы лишены возможности строить машинные модели языка, практически близкие к его стопроцентной формализации. Неполнота машинной формализации особенно отчетливо проявляется при машинном семииосисе. Образуемый в ЭВМ искусственный знак, состоящий из означающего естественного языка и означаемого, включающего формализованные значения, всегда беднее знака естественного языка.

Лингвистический парадокс Ахиллеса и черепахи, отражающий сословную антиномию синхронии и диахронии, состоит в том, что формальное закрытое описание языка, ориентированное на такой синхронный срез, который совпадает с началом разработки этой формализации, оказывается в результате действия диахронических процессов, действующих в открытой системе естественного языка, несколько устаревшим к моменту реализации этого описания на ЭВМ. Этот парадокс служит еще одним препятствием при построении стопроцентного машинного описания языка.

Однако неполноту машинной формализации языка не следует рассматривать как свидетельство бесперспективности инженерно-лингвистических исследований. Инженерная лингвистика сосредоточила свое внимание на построении таких машинных моделей, которые перерабатывают, в основном, легко формализуемые и алгоритмизуемые стороны языка. Что касается тонких, неформализуемых или трудноформализуемых лингвистических задач, то их решение по-прежнему должно осуществляться человеком.

<sup>16</sup> Без реализации на ЭВМ никогда нельзя быть уверенным в логической корректности алгоритма, даже в том случае, если он прошел «ручную» проверку, т. е. проверку, осуществляемую «квазилогическим» автоматом — человеческим мозгом. Именно поэтому мы обсуждаем только прошедшие машинную реализацию алгоритмы.

В. М. МОКИЕНКО

ИСТОРИЧЕСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ:  
ЭТНОГРАФИЯ ИЛИ ЛИНГВИСТИКА?

Ни в одном разделе языкознания, вероятно, синхрония не отграничивается от диахронии столь последовательно и непримиримо, как во фразеологии. Особенно четко это проявляется в исследованиях практического типа.

Функциональный подход к устойчивым сочетаниям, получивший свое отражение в классификации В. В. Виноградова, нашел многочисленных последователей<sup>1</sup>. Рамки синхронии в таких исследованиях являются своеобразным патентом на то, что исследование окажется лингвистическим, а не этнографическим, фольклористическим, историческим и т. д.

Разработка фразеологии с синхронных позиций почти не отразилась на принципах ее диахронического анализа, который страдает недостаточным вниманием к собственно языковым фактам, фактам языковой системы. Атомарный подход к лексике, который «во многих случаях не дает возможности убедиться в наличии или отсутствии процессов, затемняющих генетические связи слов: контаминации, народной этимологии, аналогических изменений и особенно фономорфологической вариативности»<sup>2</sup>, продолжает оставаться в области фразеологии доминирующим методом этимологического анализа.

В этом плане весьма характерно то, что В. В. Виноградов, разрабатывавший в своих теоретических исследованиях принципиальные вопросы фразеологической системы, обычно отвлекался от идеи системности в своих работах по исторической фразеологии. Известные этюды о происхождении фразеологизмов *родиться в сорочке*, *лечь пули*, *точить балы*, *балясы* и др. опираются на экстралингвистические — этнографические и фольклористические аргументы.

Разумеется, нельзя недооценивать такого рода аргументы при описании происхождения устойчивых оборотов. Фразеологический фонд многих народов показывает, что во фразеологии, как ни в какой другой области языка, живо ощущается связь с экстралингвистическими факторами. Однако отсутствие строгих лингвистических критериев для проверки той или иной этимологической гипотезы порождает справедливый скептицизм синхронистов к атомарной истории фразеологизмов.

Атомарный подход и чрезмерное доверие к экстралингвистическим фактам приводят в области фразеологии к своеобразному этимологическому всеприятию. В литературе нередко встречаются совершенно противоположные по трактовке фразеологические этюды, в которых одна этимология опровергается, а другая выдвигается без каких-либо веских лингвистических аргументов. Обилие таких недостаточно аргументированных эти-

<sup>1</sup> Более 4000 работ написано за последние двадцать лет советскими фразеологами. В подавляющем большинстве это исследования синхронно-функционального типа. См.: В. Н. Сергеев, Библиографический указатель литературы по фразеологии, изданной в СССР с 1948 по 1961 гг., «Проблемы фразеологии», М.—Л., 1964; Л. И. Ройзензон, М. А. Пеклер, Материалы к общей библиографии по фразеологии, «Вопросы фразеологии», Ташкент, 1965; Л. И. Ройзензон, А. М. Бушуй, «Материалы к общей библиографии по вопросам фразеологии», II, Самарканд, 1970.

<sup>2</sup> М. М. Макавский, Теория лексической аттракции, М., 1971, стр. 45.

мологических «разночтений» бросается в глаза, например, при просмотре четырех наиболее известных сборников русской фразеологии<sup>3</sup>.

Одной из типичных иллюстраций подобного подхода к истории фразеологизмов являются дискуссии об этимологии выражения *у черта на куличках* «очень далеко, неизвестно где». Традиционная этимология этого фразеологизма, предложенная В. И. Далем, связана с трактовкой слова *куличка* (кулижка) как уменьш. к *кулига* «росчисть, чищоба», «починок». Чтобы оправдать эту этимологию фонетически, В. И. Далю пришлось сделать весьма показательную оговорку: «у черта на куличках (неправли. на куличках)»<sup>4</sup>. Эту же оговорку повторяет, в более категоричной форме, С. Максимов<sup>5</sup> и другие популяризаторы русской фразеологии<sup>6</sup>.

Вопрос о переходе *ж* в *ч* стал отправным пунктом нескольких этимологических версий, высказанных по поводу этого фразеологизма в последнее время. Резко критикуя П. Я. Черных, безоговорочно принявшего приведенную этимологию, А. В. Исаченко называет ее фантастической. «Дело обстоит гораздо проще, — пишет он. — Это грубое выражение заимствовано из польского, где *kuliczki* является малоцензурным словом со значением „testes“»<sup>7</sup>. Категоричность утверждения А. В. Исаченко, однако, не оправдана никаким конкретным материалом; польские словари не дают фиксации слова *kuliczki* в указанном значении и не содержат сочетания, подобного русскому *у черта на куличках*<sup>8</sup>. Более того, сами польские лингвисты считают фразеологизм *u diabła na kuliczkach*, *u czorta na kuliczkach*, в последнее время промелькнувший в польской печати, заимствованием из русского языка через воровское арг. С. Урбанчик, доказывая это предположение, приводит этимологию выражения *u diabła na kuliczkach*, сообщенную ему устно «одной молодой русской дамой»; *кулички* тракуются как уменьш. от *кулич* «вид пасхального пирога»<sup>9</sup>. Исходная мотивировка выражения, согласно этой версии, — «у черта на куличках», т. е. в гостях. Совершенно самостоятельно к такой же этимологической версии приходит и диалектолог А. А. Никольский, связывающий фразеологизм *у черта на куличках* с обл. *кулика* «ватрушка, свадебный пирог, кулич»<sup>10</sup>.

Своеобразной попыткой устранить языковые трудности при объяснении перехода *кулижка* в *куличка* является этимология А. Спирина, толкующего слово *кулички* как «болотистые места, обиталище куликов»<sup>11</sup>. Эту этимологию вполне можно назвать народной, ибо в своей заметке А. Спирин апеллирует к связи слова *кулига* с *куликом*, что этимологически более чем неубедительно<sup>12</sup>.

Итак, налицо четыре различных этимологических трактовки одного фразеологизма. Характерно, что все они, кроме высказанной вскользь А. В. Исаченко, «опираются» на довольно подробно излагаемые этнографические факты: причины заблуждения и запустения кулиг (В. Даль,

<sup>3</sup> С. Максимов, Крылатые слова, М., 1955; М. И. Михельсон, Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии, I—II [б. м. и г.]; Эд. Вартаньян, Из жизни слов, М., 1960; М. Булатов, Крылатые слова, М., 1958.

<sup>4</sup> В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, II, М., 1955, стр. 216 (далее: Д. I—IV).

<sup>5</sup> С. Максимов, указ. соч., стр. 54 и сл.

<sup>6</sup> См.: М. И. Михельсон, указ. соч., II, стр. 430; Эд. Вартаньян, указ. соч., стр. 271—218.

<sup>7</sup> А. В. Исаченко, О книге П. Я. Черных «Очерк русской исторической лексикологии», ВЯ, 1957, 3, стр. 121.

<sup>8</sup> J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, II, Kraków, 1901, стр. 461, 520.

<sup>9</sup> S. Ugbajczuk, U diabła na kuliczkach, JP, 1971, 4, стр. 314.

<sup>10</sup> А. А. Никольский, Этимологические заметки, «Вопросы русского языковедения» («Уч. зап. Рязанск. пед. ин-та», 98), 1971, стр. 187—189.

<sup>11</sup> Лит. газ. 6 VIII 69, стр. 6.

<sup>12</sup> См.: Ю. И. Чайкина, Еще раз о слове *кулига*, «Этимология 1968», М., 1971.

С. Максимов), поверья, связанные с пребыванием черта в болоте (А. Спирин), пасхальные обычаи и различные виды куличей (А. А. Никольский). Лингвистический комментарий этих этимологий либо вообще отсутствует, либо — как при традиционной трактовке — сведен до минимума.

Примерно в том же русле идет и дискуссия по поводу этимологии выражения *попал как кур во щи*, где различные гипотезы обильно уснащаются этнографическими данными. Споры ведутся по поводу значения второй части фразеологизма. Одни исследователи возводят ее к слову *оцип*, образованному от глагола *оципать* (Э. Вартамян, Б. Тимофеев, Е. Г. Ковалевская), другие — к *щип*, *щап* или *щёмы* «зажим, капкан для птиц из расщепленного дерева» (Л. И. Скворцов), третьи — к слову *щи* «крестьянский суп из овечьей» (Г. А. Ильинский, Л. Раковский, А. И. Молотков, Т. А. Иванова)<sup>13</sup>.

Подобных случаев, когда компоненты фразеологизма дают возможность различных этимологических трактовок, в русской фразеологии немало. Как правило, при их диахроническом анализе исследователи делают основной упор на внеязыковые факты: чем дискуссионнее этимология фразеологизма, тем больше экстралингвистических аргументов старается привести автор очередной гипотезы. Подобная аргументация, как правило, сама по себе весьма надежна и трудноопровержима. Так, по народным поверьям, черти действительно любят болотные и заброшенные лесные места (*кулиги*)<sup>14</sup>; поедание куличей связано с некоторыми пасхальными обрядами; кулики обитают в болотных зарослях. То же самое можно констатировать и относительно экстралингвистических аргументов трех этимологических гипотез выражения *попасть как кур во щи*. Экстралингвистические факты, однако, сами по себе не делают подобные этимологии убедительными, о чем свидетельствуют и постоянные попытки их пересмотра. Необходим метод, который позволил бы из предполагаемых этнографических версий избрать одну, единственно (или наиболее) верную. Разработка такого метода, как кажется, невозможна без тщательного наблюдения над чисто языковыми свойствами фразеологизмов.

В случаях этимологического разночтения типа *у черта на куличках* или *попал как кур во щи* мы сталкиваемся с типично лингвистическими явлениями — омонимией и полисемией компонентов фразеологических единиц. Поэтому прежде чем приступить к экстралингвистической их истории, необходимо детально исследовать внешние, формально-структурные свойства этих фразеологических единиц, определить их место в языковой системе. Этимологические исследования последних лет убедительно показали, что наиболее надежным способом разграничения древнейшей омонимии и полисемии является установление фонетических, словообразовательных и семантических моделей, по которым образовано слово. Метод нахождения таких моделей постепенно вытесняет метод атомарного подхода к этимологии слова, столь распространенный в прошлом столетии.

В области исторической фразеологии подобный метод не мог активно внедриться по вполне объективным причинам. Как показывает история этимологической науки, для системного анализа слова необходим обильный материал из различных языков и диалектов, накапливаемый веками, нужны широкие типологические параллели, выходящие за пределы гене-

<sup>13</sup> Последняя гипотеза особенно детально аргументируется обильным историческим и этнографическим материалом в статье Т. А. Ивановой «К истории поговорки „Попал, как кур во щи“» [«Этимологические исследования по русскому языку», VIII (в печати)].

<sup>14</sup> Ср. славянские названия черта, связанные с географическими терминами в значении «болото», «лес» (Н. И. Т о л с т о й, Славянская географическая терминология, М., 1969, стр. 142—143).

тической языковой общности. Такой материал для исторической фразеологии до сих пор находится еще в стадии накопления.

Методика системного анализа фразеологизмов не могла успешно развиваться и в силу некоторых общетеоретических установок, на которых строилась фразеология. Основным качеством фразеологизма признавалась иррегулярность — как формальная, так и семантическая. Индивидуальная образность, национальная специфичность, семантическая единичность — эти и подобные функционально-стилистические признаки иррегулярности фразеологизмов приводят к определению фразеологической единицы как «немоделируемой структуры», которое стало аксиоматичным и принимается большинством советских фразеологов<sup>15</sup>.

Но если фразеологизм — немоделируемая, формально и семантически индивидуальная структура, то, естественно, все попытки установить его «фразеологический этимон» методом, подобным методу этимологического анализа слова, заранее обречены на неудачу: этимон слова вскрывается на пересечении его фонетических, словообразовательных и семантических моделей, модели же фразеологического этимона, исходя из тезиса о немоделируемости структуры фразеологизма, не должно существовать в принципе. Следовательно, признание немоделируемости фразеологизма в диахроническом плане закономерно ведет к атомарному этимологическому анализу.

Исследования последних лет (работы Н. Н. Амосовой, В. П. Жукова, А. В. Кунина, Л. И. Ройзензона и других исследователей) показывают, однако, все большую и большую относительность тезиса о немоделируемости фразеологических единиц. К выводам о формальной и семантической диффузности фразеологизмов, об их широких трансформационных потенциалах приводит широкое изучение фразеологической вариантности, внимание к которой обостряется с каждым годом. Факты убедительно свидетельствуют о моделируемости фразеологизмов, об их структурной воспроизводимости как в синхронии, так и в диахронии. Даже такая индивидуально-образная и оригинальная сфера фразеологии, как устойчивые сравнения, имеет моделируемый характер<sup>16</sup>. Можно согласиться с утверждением Ф. А. Литвина о том, что «о немоделируемости фразеологизмов можно говорить только в тех редких случаях, когда из языка исчезла модель, по которой они построены („ничтоже сумняшесь“), а в основном корпусе фразеологизмов их компоненты сохраняют свои словесные качества и являются элементами построенных по живым и действующим в языке моделям словосочетаний»<sup>17</sup>.

Тезис о моделируемом характере фразеологических единиц дает право требовать от историков фразеологии такой же методологической строгости, как и от историков слова. Этимология фразеологизмов, подобно этимологии слов, должна опираться на системные отношения при установлении языковых моделей. Такой этимологический анализ не может строиться лишь на фактах литературного языка, нередко кодифицирующего далеко не все фразеологические варианты, представленные в разговорной речи. Поиски исходной модели национального самобытного фразеологического оборота не могут быть успешными без обращения к диалектному материалу, к просторечной лексике.

<sup>15</sup> См.: В. Н. Т е л я, Что такое фразеология, М., 1966, стр. 60.

<sup>16</sup> Ср.: Р. А. Г л а з ы р и н, Сопоставительный анализ компаративных фразеологических единиц в современных германских языках. Автореф. канд. диссерт., М., 1972, стр. 13.

<sup>17</sup> Ф. А. Л и т в и н, Отношение слова и компонента фразеологизма к структурно-семантической модели. «Вопросы фразеологии», V, часть первая, Самарканд, 1972 («Труды Самаркандского ун-та им. А. Навои», Новая серия, 219).

К фразеологическим единицам такого типа относится русское выражение *бить баклуши*, этимологический анализ которого явится попыткой фактической аргументации высказанных выше соображений. Этот фразеологизм — непрменная иллюстрация в работах по фразеологии. В исследованиях синхронного плана он приводится как образец тесной спаянности компонентов устойчивых сочетаний. В работах по исторической фразеологии выражение *бить баклуши* стало хрестоматийной иллюстрацией зависимости этимологии фразеологических единиц от этнографических фактов. Последнее обстоятельство и заставило предпочесть для наших целей этот фразеологизм другим (*лечь пули, точить лясы, разводиться турсы на колесах, наговорить сорок бочек арестантов, сбить с панталыку, напиться как зюзя* и др.), которые также могли бы служить аргументом в пользу тезиса о моделируемости фразеологии в диахроническом плане.

«Производственная» гипотеза происхождения выражения *бить баклуши* принадлежит В. И. Далю. *Бить баклуши*, по его мнению, первоначально означало «готовить чурки-заготовки для деревянной посуды: чашек, ложек, стоячків» (Д. 1, 40)<sup>18</sup>. Эта гипотеза, переходя из одного фразеологического источника в другой, приобрела, наконец, статус аксиомы<sup>19</sup>. Этому особенно способствовал С. В. Максимов, обильно уснастивший этимологию В. И. Даля живописными этнографическими деталями «легкого промысла» битья баклуш. Исходная мотивировка фразеологизма *бить баклуши* в традиционном понимании — «заниматься легким, пустяковым делом, не требующим особого умения».

Несколько иную мотивировку предлагал В. С. Парсунько, пытавшийся конкретизировать ее, исходя из общественно-экономических отношений: «Мы полагаем, что заготовка материала (баклуш) для мелких деревянных изделий могла оправдывать себя, пока процветал кустарный промысел, испытывающий потребность в таких заготовках. Когда же кустарный промысел в связи с развитием фабричной промышленности стал нерентабельным, заготовка баклуш для кустаря должна была утратить свое значение, не оправдывать себя. В этом, очевидно, нужно видеть условия для переосмысления выражения *бить баклуши*»<sup>20</sup>. Такая трактовка кажется довольно произвольной вариацией на далевскую тему, тем более, что автор даже не пытается подкрепить ее каким-либо материалом.

Гипотеза, ставящая под сомнение традиционную этимологию, принадлежит А. Спирину<sup>21</sup>. Ее контраргументы направлены против этнографической интерпретации В. И. Даля: «во-первых, баклуши не бьют, а колют», «во-вторых, работа эта требует немалой затраты физического труда и ее нельзя отождествить с бездельем», «в-третьих, заготовками баклуш в промысловых артелях занимались подростки, а ни одна мать не назовет бездельником добытчика, заработавшего первую копейку». А. Спирин предлагает две собственные трактовки. Согласно первой, *баклуша* — это «музыкальный инструмент, похожий на деревянную миску, по которой бьют деревянными клюшками». Согласно второй, *баклуша* является синонимом слова *бакалдина, колдобина* «лужа» и *бить баклуши* значит «ударять палками по такой колдобине, швыряя туда камешки». Сам автор считает более правдоподобной вторую версию, хотя и никак не аргументирует ее большую вероятность.

<sup>18</sup> Ср.: В. И. Даль, Пословицы русского народа, М., 1957, стр. 501.

<sup>19</sup> См.: С. Максимов, указ. соч., стр. 23—29; М. И. Михельсон, указ. соч., I, стр. 38—39; Эд. Вартаньян, указ. соч., стр. 27, и др.

<sup>20</sup> В. С. Парсунько, До питання про походження виразу «байдики бити», «Наукові зап. Київськ. педін-ту», XXIII, Київ, 1963, стр. 106.

<sup>21</sup> Лит. газ. 6 VIII 69, стр. 6.

Итак, перед нами типичное этимологическое разночтение, подобное случаям *у черта на куличках* и *попал как кур во щи*. Четыре версии, опирающиеся на этнографические факты (три из них подтверждаются диалектными данными), из которых первая признается большинством фразеологов без лингвистической аргументации.

Проверим вероятность каждой из версий, исходя из принципа моделируемости фразеологизма. При этимологическом анализе фразеологии чаще всего приходится сталкиваться с полисемией, которая накладывает существенный отпечаток на дифференциацию парадигматики лексических микро- и макроструктур<sup>22</sup>. С полисемией компонентов мы и имеем дело при попытках этимологизации сочетания *бить баклуши*: и глагол *бить*, и существительное *баклуша* имеют в русских диалектах чрезвычайно многоплановую семантику (лексикографы выделяют для этих лексем, помимо омонимов, по четырнадцать значений)<sup>23</sup>. Лишь пересечение семантической и структурной модели фразеологизма *бить баклуши* может выявить, слияние каких семантических признаков лексем *бить* и *баклуша* привело к образованию переносного значения «бездельничать».

Установление семантической модели образования фразеологизма в нашем случае означает выявление продуктивности модели «заниматься полезной (хотя и нетрудной) деятельностью» → «бездельничать», лежащей в основе традиционной этимологии. Рассмотрим с этой точки зрения синонимический ряд со значением «бездельничать» в русском и других языках. Комплексный анализ позволяет сделать вывод, что огромное большинство этих фразеологизмов укладывается в три общие семантические модели.

1. «Абсолютно ничего не делать» → «бездельничать»: русск. *палец о палец не ударить*; и *пальцем не погнуть*; *не знать, куда себя девать*; белорусск. *ані палец абгарнуць* и под. Сюда же можно отнести и некоторые субстантивные фразеологизмы, вероятно, восходящие к глагольным: *ни тпру, ни ну, ни в зуб толкнуть*<sup>24</sup>, *ни в сноп, ни в горсть*<sup>25</sup>, *ни пришей кобыле хвост, ни пришей, ни пристегни*, укр. *ні до холодної води*<sup>26</sup>, белорусск. *ні рукою ні нагою* и под.

2. «Принимать позу, в которой невозможно ничего делать» «бездельничать»: русск. *лежать на печи, лежать на боку*, диалектн. *за солнцем лежать* и *лежачью лежать*<sup>27</sup>, *плевать в потолок, сидеть поджав руки, сидеть поджавши руки, сложа руки, руки склавши, руки сощавивши*<sup>28</sup>, *сидеть богородицей*<sup>29</sup>, *стоять руки в боки, глаза в потолок, стоять фертлом, стоять с разинутым ртом, стоять развесив уши, ковырять в носу* и под.; укр. *посидиньки справляти, лежни справляти, боки вилежувати*; белорусск. *на печы ляжаць, сядзець да на неба глядзець, ацираць бакі, (стаяць) рот нараспашку, язык на плячо* и под. Ср. ряд соответствий русск. *сидеть сложа руки* и *ходить руки в брюки* в западных языках: англ. *to fold one's hands*; нем. *die Hände in den Schoß legen*; франц. *se croiser les bras*; исп.

<sup>22</sup> Ср.: О. Душачек, *La linguistique hier et aujourd'hui*, «Le français moderne», 2, 1972, стр. 101.

<sup>23</sup> «Словарь русских народных говоров», под ред. Ф. П. Филина и Ф. П. Сороколетова, II, М.—Л., 1966, стр. 62, 300—301 (далее: СРНГ I—VII).

<sup>24</sup> Б. А. Ларин, *Очерки по фразеологии*, «Уч. зап. ЛГУ», 198, Серия филол. наук, 24, 1956, стр. 211.

<sup>25</sup> «Словарь русских говоров Среднего Урала», II, Свердловск, 1971, стр. 208.

<sup>26</sup> Б. А. Ларин. *Про народну фразеологію*, «Українська мова в школі», 5, 1959, стр. 33.

<sup>27</sup> М. В. Орел, *Синонимия диалектной фразеологии* (на материале русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби), «Уч. зап. Кемеровск. пед. ин-та», 26, 1971, стр. 165.

<sup>28</sup> Картоотека «Псковского областного словаря», Межкафедральный словарный кабинет им. проф. Б. А. Ларина, филологич. ф-т ЛГУ (далее: КПОС).

<sup>29</sup> В. И. Даль, *Пословицы русского народа*, стр. 503.

*estar con manos cruzados, con mano sobre mano*; нем. *die Hände in die Taschen stecken*; франц. *donner les mains dans les poches*.

3. «Заниматься бесполезной и бесплодной деятельностью» → «бездельничать». Последняя модель — самый активный источник пополнения фразеологии описываемого синонимического ряда. Внутри нее можно выделить несколько подтипов, различающихся по конкретной внутренней мотивировке.

а) «Болтать», «пустословить» → «бездельничать». Фразеологические синонимы этого типа, как правило, сохраняют семантическую связь с понятием «пустословить»: *точить лясы, точить балы, балясы, переливать из пустого в порожнее, лить воду, травить баланду, гнуть бильдюгу, разводит балагуры, разводит бодягу, молоть чушь, городить вздор, расстегивать рот, молоть, болтать, трепать, бить, целкать, играть и т. д. языком и под.* Необходимо подчеркнуть, что внутренняя мотивировка фразеологизмов этого ряда строится на иных модельных принципах, чем синонимика ряда «бездельничать».

б) «Заниматься заведомо бесплодной деятельностью» → «бездельничать»: русск. *носить воду решетом, толочь воду в ступе, искать вчерашний день, строить воздушные замки, ждать у моря погоды, гонять ветер* (ср. *ветрогон*), *коптить небо, плодоть в окно*<sup>30</sup>, *считать ворон и ловить галок, гонять собак*; укр. *товкти воду в ступі, ловити вітрив, шукати вчорашнього дня, горобців (ворон, граків, гав) лічити, горобцям дули давати, турів ганяти* и под.; белорусск. *абіраць вуглы, грэць зубы* и под.; чеш. *snít v peci sušiti* (буквально: «снег в печи сушить»); *chytat hejly* (буквально: «ловить снегирей»); *stříletí rani bohu do oken* (буквально: «стрелять господу богу в окна») и под.

в) «Слоняться, ходить без дела» → «бездельничать»: русск. *слоняться из угла в угол, слоны слонять и слоны продавать*<sup>31</sup>, *гранить мостовую, состоять в комитете по утаптыванию мостовой*<sup>32</sup>, *работать в бригаде Ваньки Шаталова*<sup>33</sup>, *шаты продавать* и под.; укр. *походенькі (швенді) справляти, тинятися з кутка в куток* и под. Ср. франц. *battre le pavé*, нем. *in den Strassen herumlundern* и под.

г) «Играть в какую-нибудь игру», «развлекаться» → «бездельничать»: русск. *играть в бирюльки, гонять мяч; в переборочку играть*<sup>34</sup>, соответствующее англ. *to twiddle one's thumb*; нем. *die Daumen drehen*; франц. *tourner ses pouces* и т. д.

Лишь лимит места не позволяет расширить количество примеров из славянских и других языков для иллюстрации актуальности выявленных семантических моделей образования фразеологического ряда со значением «бездельничать» и его типологических соответствий. Достаточно отметить, что, по нашим подсчетам, в богатейшем собрании чешской народной фразеологии Я. Заоралека<sup>35</sup> содержится 216 фразеологизмов с этим значением. Внутренняя форма подавляющего большинства из них (около 190) может быть уверенно отнесена к выявленным выше моделям, мотивировка остальных спорна или совершенно затемнена. В типологическом плане весьма характерно и то, что фразеологизмы французского литера-

<sup>30</sup> «Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского р-на Рязанской обл.)», под ред. И. А. Оссовета, М., 1969, стр. 405.

<sup>31</sup> Эти фразеологизмы — перифразы глагола *слоняться*.

<sup>32</sup> Богатый материал о литературных источниках этого ряда фразеологизмов см. в книге: А. М. Б а б к и н, Русская фразеология, ее развитие и источники, Л., 1970, стр. 102; 176 и др.

<sup>33</sup> Б. Ф. З а х а р о в, Личные имена и прозвища в составе диалектных фразеологизмов, «Ономастика Поволжья», II, Горький, 1971, стр. 97—98.

<sup>34</sup> В. И. Д а л ь, Пословицы русского народа, стр. 501.

<sup>35</sup> J. Z a o r á l e k, Lidová řeč, Praha, 1963.

турного языка со значением «бездельничать» полностью соответствуют описанным моделям<sup>36</sup>.

Естественно, необходимо учитывать относительность семантического обобщения этих моделей (каждая из них могла бы быть разбита на более мелкие подгруппы), относительность самих формулировок моделей и тесную их взаимосвязь, препятствующую их строгой дифференциации. Тем не менее, даже этот далеко не полный семантико-типологический обзор фразеологического ряда со значением «бездельничать» показывает несостоятельность модели «заниматься полезной (хотя и нетрудной) производственной деятельностью» → «бездельничать», на которой строится традиционная этимология выражения *бить баклуши*. Необходимо искать иное объяснение его первичной мотивировки, которое не выходило бы за рамки вскрытых семантических моделей.

Широкая полисемия компонентов этого фразеологизма в народных говорах делает поиски такой мотивировки возможными. В то же время широкая (по 14 значений у каждого компонента) полисемия не исключает возможности нескольких этимологических гипотез и в рамках выявленных семантических моделей. В принципе обе гипотезы А. Спирина удовлетворяют третьей модели («заниматься бесполезной и бесплодной деятельностью» → «бездельничать»); трактовка *баклуши* как музыкального инструмента — деревянной миски, по которой бьют деревянными клюшками, могла бы соответствовать типу (г) этой модели («играть в какую-нибудь игру», «развлекаться» → «бездельничать»), а толкование *баклуши* как «колдобины, лужи», по которой бьют палками, не противоречит типу (б) («заниматься бесплодной деятельностью» → «бездельничать»). Следовательно, выявление закономерных семантических моделей образования данного фразеологического ряда лишь сузило круг значений компонентов, пригодных для выявления исходной мотивировки выражения *бить баклуши*, но не исключило возможности его этимологического разночтения. Необходим признак, который сделал бы выбор этих значений минимальным.

Таким признаком является фактор сочетаемости компонентов *бить* и *баклуша* в русских говорах, который соответствует формальной синтаксической модели фразеологизма. При поиске синтаксической модели фразеологизма необходим учет его семантики.

Формально-синтаксический подход заставляет отказаться от первой этимологии А. Спирина. Глагол *бить* в сочетаниях с ударными музыкальными инструментами употребляется с предлогом *в*: *бить в бубны, в барабаны, в литавры, в колокола* и под., причем ни одно из подобных сочетаний не дает семантики «бездельничать». Кроме того, значение «ударный инструмент» для лексемы *баклуша* настолько ареально ограничено (оно даже не зафиксировано в СРНГ), что приходится отказаться от выдвинутой А. Спириным гипотезы.

Весьма необычна и синтаксическая связь глагола *бить* со словами в значениях «лужа», «колдобина», которую предполагает А. Спирин для второй своей гипотезы. Н. И. Толстой не приводит ни одного случая подобной сочетаемости<sup>37</sup>. Ожидаемой синтаксической моделью, по всей вероятности, должен был бы быть тип *бить по баклуше (по колдобине, по луже, по калуше, по макотёрти и т. п.) палками*. Кроме того, на фоне внутренней мотивировки фразеологизмов типа *толочь воду в ступе, искать вчерашний день, считать ворон* и т. д. (модель 3) реконструируемая

<sup>36</sup> Э. И. Л и п ш и ц е н е - З и б у ц а й т е, Фразеологические синонимы французского языка, Л., 1971, стр. 191—192.

<sup>37</sup> Н. И. Т о л с т о й, указ. соч., стр. 212—240.

А. Спириным внутренняя форма «бить (по) лужам» кажется весьма искусственной. Просмотренные диалектные источники не подтверждают ее.

Поиски семантически и синтаксически оправданной мотивировки фразеологизма *бить баклуши* приводят к трактовке компонента *баклуша* как «чурка для игры в городки, рюхи или бабки». Такое значение — «круглая, толщиной в вершок осиновая палочка длиной в 6—7 вершков для игры в бабки на льду» зафиксировано в тобольских говорах (СРНГ II, 62). Оно — естественное развитие самого активного и наиболее широко распространенного в русских говорах значения лексемы *баклуша* — «деревянная чурка, палка, болванка». *Баклуша* как термин игры в городки, рюхи, бабки и под. было, по-видимому, широко известно в диалектах. На это указывают его уменьшительные формы — *баклушка* и *баклушка*, записанные в уральских говорах<sup>38</sup>, пермск. *баклушка* «деревянная чурочка для игры в городки» (СРНГ II, 63) и волог. *бакуланок* «деревянная чурочка, столбик, небольшой обрезок дерева» (СРНГ II, 63).

Предлагаемая исходная мотивировка выражения *бить баклуши*, таким образом, — «сбивать деревянные чурки или бабки», «играть в городки, рюхи, бабки». Семантически она удовлетворяет типу (г) модели 3 нашего фразеологического ряда. Необходима, однако, более детальная аргументация как в синтаксическом, так и в семантическом плане.

Синтаксическая модель *бить* + «городки, рюхи, бабки, шары» подтверждается массой материала, извлеченного из русских диалектных словарей и картотек<sup>39</sup>. Диалектные названия игр, суть которых заключается в выбивании из кона, из города, из лунки и т. п. различного типа деревянных чурок или деревянных, костяных, металлических бабок и шаров, чрезвычайно разнообразны: *айч, айдан, айданчик, аланки, альджушка, альчи, алчу, альчики, ана, арца, аляпки (ляпки, оляпки), баранок, бабы, бабки, бабайки, бабики, бабушка, барысики, баталки, бежни, биданы, биксы, битки, битовухи, блитки, бойки, боталки, быки, касло, киток, клепни, клепушки, козей, козелок, козлок, козон, козн, козанок, козот, козоток, костьюга, косыга, кумки, латок, лодыга, панок, рюхи, рюшки, сак, сака, свайка, свинка, скачок, хруль, хрульки, чижки, чижики, чирки, чмук, чурак, чурка, чуха, шарок, шельга, шляки, шкляки, шкули, шапки, шабалы, шабалки, шибалки, шилец, шлюхи, шлюшки* и др. Эти названия представляют группу лексики, достойную самостоятельного этимологического анализа. Для наших целей важно констатировать, что подавляющее большинство из них тесно сочетается с глаголами *бить, сшибать, вышибать* и под. Это и естественно: ведь процесс, выражаемый этими глаголами, — неперемное условие игры. «Рюхи ставили гарадам, так десять штук али пятнадцать, и палкай бьют, прамажышь али не прамажышь» (Гдовский р-н Псковской обл. — КПОС) — подобные контексты характерны почти для всех перечисленных выше названий. Не случайно многие из них, по-видимому, образованы от глаголов с «ударной» семантикой: *баталки, боталки, ляпки (аляпки, оляпки), биток, битовуха, бойки, клепни, клепушки, шибалка, шабала* и под. Сочетание *битьку бить* «играть в чижка» (Пыталовский р-н — КПОС) — весьма красноречивое свидетельство активности глагола *бить* в сфере игровой терминологии.

Переход от процесса игры в городки или бабки к символическому обозначению безделья укладывается в семантическое русло данного фразеоло-

<sup>38</sup> «Словарь русских говоров Среднего Урала», I, Свердловск, 1964, стр. 31. См. контекст: «Робята баклашками играют весь день».

<sup>39</sup> Просмотрены картотеки «Словаря русских народных говоров» (словарный сектор Ин-та языкознания АН СССР, Ленинград), КПОС, картотека словаря печорских говоров и картотека словаря карельских говоров (ЛГУ), картотека брянского словаря (ЛГПИ им. А. И. Герцена, Ленинград).

гического ряда. Учитывая широкую употребительность фразеологизма *бить баклуши* и популярность игры, лежащей в основе его мотивировки, можно предполагать наличие в разговорной речи более конкретной модели (подгруппы): «сбивать городки, рюхи, бабки» → «бездельничать». Наблюдение за контекстами описанных названий показывает их довольно устойчивую коннотацию с понятием «бездельничать». Так, в свияжских говорах записан следующий контекст к слову *блудня*: «Блудняты эдакой, чем книжку читать, он городки строит» (СРНГ III, 30). Игра в бабки (лодыги) четко коннотируется с бездельем в обороте *смен на лодыгу*, имеющему значение «отдых»<sup>40</sup>. Не менее очевидна пейоративная коннотация со значением «бездельничать» и для следующих контекстов: «Целый день играл в шелугу» [Бежаницкий р-н — КПОС; *шелуга (шалуга)* — деревянный или лыковый мяч]; «Рюхи в брюхе будут играть» (Гдовский р-н — КПОС), «У него альчики на уме» (СРНГ, I, 246). Ср. сочетание *палками лукать* из Кунгурских актов XVII в., которое, возможно, связано и с игрой в городки, и с ее коннотативным смыслом: «Толко де Бориска Оксенова дочь его дѣвка была на мосту, и она де охоча палками лукать»<sup>41</sup>.

Важным аргументом в пользу предлагаемой этимологической гипотезы является наличие в русских диалектах значительного ряда сочетаний, синтаксическая и семантическая структура которых полностью соответствует модели «сбивать городки, бабки, шары» → «бездельничать». В барнаульских говорах Е. П. Молчанова записала выражение *бабки шибать*, определив его как «жить мелким заработком». Контекст показывает близость этого выражения к значению «бездельничать»: «Любитель бабки шибать, работатъ-то неохота» (СРНГ II, 25). Аналогию этого фразеологизма находим в псковских говорах, где *шашки шибать* означает «заниматься нетрудным делом, отлынивать от тяжелой работы»: «Он та рабѣтал в шкѣле, шашки збивал. Шашки збивать, работать бес калхѣза, по-вашему халтѣрить»<sup>42</sup>. Значение «игральная бабка» для слова *шашка* в русских говорах широко известно<sup>43</sup>. Именно в значении «ничего не делать, бездельничать» сочетание *биць, абиваць бакі* известно и белорусским говорам<sup>44</sup>.

К «бабочной» терминологии восходят, видимо, и такие диалектные фразеологизмы, как донск. *сбивать шибалки*<sup>45</sup>, *бить шабалу, шебалу, шобалы* (Д. IV, 617; СРНГ II, 301). Ср. *шабала, шабалка, шибалка* — «бабка»), *бить табалу* (Д. IV, 384. Ср. *тавляя, товлеи* «игра в шашки» и параллелизм значений «шашка» ↔ «бабка»), *бить сачка* (Псковский р-н — КПОС) (ср. *сак, сака* «бабка»). Последнее сочетание тесно связано с просторечным глаголом *сачковать* «бездельничать». Все эти сочетания имеют значение «бездельничать» и в то же время сохраняют тесную связь с терминологией игры в бабки.

Глагол *бить* активно соединяется с терминами игры в шары (другие названия: *касло, душки, сучка* и проч.) (в роли шара часто выступает дере-

<sup>40</sup> В. И. Даль, Пословицы русского народа, стр. 511.

<sup>41</sup> И. С. Козырев. Из истории синонимов русского и белорусского языков, «Синонимы русского языка и их особенности», Л., 1972, стр. 192.

<sup>42</sup> Л. А. Ивашко, Из наблюдений над диалектной фразеологией (на материале псковских говоров), «Слово в народных говорах русского Севера», Л., 1962, стр. 47.

<sup>43</sup> «Словарь современного русского народного говора», стр. 603.

<sup>44</sup> Е. С. Мясельская, Я. М. К а м а р о ў с к і, Слоўнік беларускай народнай фразеалогіі, Мінск, 1972, стр. 26, 141.

<sup>45</sup> Е. И. Диброва, О варьировании фразеологических единиц в говорах Верхнего Дона, «Вопросы изучения русского языка. Доклады седьмой научно-методической конференции Северо-Кавказского зонального объединения кафедр русского языка», Ростов-на Дону, 1964, стр. 70.

вянный обрубок, чурка) <sup>46</sup>. К этой игре восходит смоленский фразеологизм *бить гулы* «бездельничать» <sup>47</sup>, который, по мнению А. С. Львова, тесно связан с этимологией слова *гулять* <sup>48</sup>. К этой же игре восходит, вероятно, и донск. *беньки бить* «бездельничать» (СРНГ II, 242), которое можно связывать, с одной стороны, с «игровым» глаголом *бэнить* «ударять мячом в игрока» (волог. — СРНГ II, 242), с другой — со словом *бэнька*, обозначающим круглые предметы (например, донск. *беньки* «глаза»). С подобными играми связан, видимо, и рязанский фразеологизм *балды бить* «бездельничать», внутренняя форма которого раскрывается как на фоне основного значения слова *балда* «палка», «дубина», так и при учете его производного — челяб. *балбдка*, известного в значении «палка длиной до 75 см, которой сшибают шарик в игре в балодки (род городков)» (СРНГ II, 85). Ср. *балдить* «бездельничать» (СРНГ II, 80).

Активность конкретной семантико-синтаксической модели «сбивать чурки, бабки, шары» → «бездельничать» можно было бы подтвердить фразеологическим материалом и других славянских языков (белорусск. *бібікі біць*; укр. *байдики бити*, *байди бити*, *баглаї бити*, *бомки бити*, *гандри бити*; польск. *bić bałki* и т. д.). Предполагаемая исходная мотивировка фразеологизма *бить баклуши* «играть в городки или бабки» укладывается в рамки общих синтаксических и семантических моделей описываемого фразеологического ряда. Дополнительным аргументом является замена глагольного компонента в сибирских говорах, где записан фразеологизм *баклуши сбивать* «бездельничать» <sup>49</sup>. Этот вариант подтверждает верность реконструкции для глагола *бить* значения «сбивать, сшибать», а не «раскалывать», как предполагается традиционной трактовкой.

Активность «игровой модели» образования фразеологизмов со значением «бездельничать» не следует абсолютизировать. Широкая формальная диффузность народной фразеологии <sup>50</sup> могла значительно исказить первоначальную мотивировку того или иного члена этого фразеологического ряда и придать ему индивидуальный характер. Такими народно-этимологическими трансформациями данной модели являются, например: курск. *лягушек бить* «вести праздный образ жизни, лентяйничать» <sup>51</sup>, восходящий, по-видимому, к сочетанию *бить баклуши*; смол. *гультики справлять* «вести праздный образ жизни, лентяйничать» (ср. *гультики* «брюки; кальсоны») (СРНГ VII, 220), являющийся вероятной трансформацией смол. *гулы бить* «бездельничать»; краснодарск. *бить гайдуки* вместо *бить байдуки* «бездельничать» <sup>52</sup>, донск. *китушки сбивать* «бездельничать», связываемое Г. А. Селивановым с *китушки* «сережки, кисти на вербе или хворосте» <sup>53</sup>; последнее, возможно, связано с *китки*, *кйтки* «бабки»,

<sup>46</sup> Ср. описания этой игры: И. Сахаров, Сказания русского народа, I, СПб., 1841, стр. 82—83; А. Дмитриев, Народные игры, загадки, анекдоты и присловья жителей Суджанского и Рыльского уездов, «Курские губ. ведомости», 1853, № 7, неоф., стр. 62.

<sup>47</sup> В. Н. Добровольский, Смоленский областной словарь, Смоленск, 1914, стр. 153.

<sup>48</sup> А. С. Львов, К истории и этимологии слова *гулять*, «Этимология», М., 1963.

<sup>49</sup> «Словарь фразеологизмов и иных словосочетаний русских говоров Сибири», сост. Н. Т. Бухарева, А. И. Федоров, под. ред. Ф. П. Филина, Новосибирск, 1972, стр. 18.

<sup>50</sup> В докладе «О реконструкции праславянской фразеологии», представленном на VII съезд славистов, Н. И. Толстой справедливо считает формальную диффузность важнейшим типологическим свойством народной фразеологии.

<sup>51</sup> М. Г. Халанский, Народные говоры Курской губернии, Сб. ОРЯС, 76, 5, 1904, стр. 23.

<sup>52</sup> Д. И. Пономарев, Фразеология говора ст. Кирпильской Краснодарского края, «Исследования по языку и фольклору», 2, Новосибирск, 1967, стр. 162.

<sup>53</sup> Г. А. Селиванов, Лексикологические заметки о южнорусских говорах, «Исследования и статьи по русскому языку», Волгоград, 1967, стр. 230.

известным, например, псковским говорам (КПОС)<sup>54</sup>. Особого рассмотрения требует целый ряд фразеологизмов типа русск. диалектн. *ланды*, *лынды бить* — *бить банды* — *бить брынды* — *бить шлёнды* — *бить шлынды* — *бить блынды*, белорусск. *біць байды* — *біць блынды* — *біць лынды* — *біць брынды* — *біць дрынды* — *блынды правіць* и т. д., где возможны целые серии сложных контаминаций не только отдельных сочетаний, но и целых фразеологических рядов (например, «играть в бабки или городки»: «бесцельно бродить, слоняться»: «пустословить»). Богатый опыт функционального анализа фразеологии, накопленный советскими лингвистами, показывает, что без учета подобных трансформаций представление о развитии того или иного фразеологизма будет неполным. Вариантность и ложная аналогия как источники образования фразеологии, тесно связанные с проблемой моделируемости последней, — особые аспекты изучения устойчивых сочетаний<sup>55</sup>.

Лингвистический план диахронического анализа фразеологии, разумеется, гораздо шире проблемы выявления исходной структурно-семантической модели словосочетания. Существенно выяснение литературных источников фразеологии, фактов заимствования и калькирования. В чисто лингвистической проекции, однако, эти проблемы диахронического анализа фразеологии тесно смыкаются с проблемой моделирования устойчивого сочетания.

Практическая и теоретическая разработка вопросов, связанных с идентификацией литературных источников фразеологии, во многом опередила теорию и практику других разделов последней<sup>56</sup>. Одним из ценных лингвистических выводов, к которым пришли исследователи фразеологии литературного происхождения, является вывод о «гибкости и диалектичности» как характерном качестве последней<sup>57</sup>.

Проблема источников фразеологии — проблема гораздо более широкая, чем этимологический анализ устойчивых сочетаний. Это проблема общелингуистическая. Естественно поэтому, что факт мобильности фразеологии отражается здесь в более широком плане. Вопрос об авторстве фразеологического источника, например, издавна являвшийся одним из самых спорных<sup>58</sup>, становится еще более проблематичным при рассмотрении его в собственно лингвистическом аспекте, где авторство выступает лишь как способность трансформировать сложившуюся (общенародную) фразеологическую модель. Так, автором русского номинативного сочетания *попрыгунья стрекоза* является И. А. Крылов<sup>59</sup>. Коннотация *стрекоза*: «легкомысленность», столь существенная для семантической модели русского сочетания<sup>60</sup>, тесно связывается с басней Ф. Лафонтена «La cigale et la fourmi»<sup>61</sup>. Более детальный анализ источников показывает, однако, что «литературное» авторство этой коннотации (resp. сюжета *la cigale — la four-*

<sup>54</sup> Ср., однако, ворон. *бруньки сбивать* «бездельничать» и *брунь* «колос».

<sup>55</sup> Подробнее см.: В. М. Мокренко, Вариантность как один из источников образования фразеологизмов, «Мовознавство», (в печати); е г о ж е, Ложная аналогия и фразеологические единицы, «Вестник ЛГУ», 1973 (в печати).

<sup>56</sup> Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина, Крылатые слова, 3-е изд., М., 1966; А. М. Бабкин, В. В. Шендцов, Словарь иноязычных выражений и слов, кн. I—II, М.—Л., 1966; А. М. Бабкин, Русская фразеология, ее развитие и источники, Л., 1970.

<sup>57</sup> А. М. Бабкин, Русская фразеология ..., стр. 9.

<sup>58</sup> Ср.: И. Е. Тимошенко, Литературные источники и прототипы трехсот русских пословиц и поговорок, Киев, 1897.

<sup>59</sup> О специфике значения *стрекоза* см.: Дм. Кобяков, Приключения слов, М., 1966, стр. 9—10.

<sup>60</sup> Авторскую трансформацию (универбацию) этого сочетания находим, например, у А. П. Чехова (рассказ «Попрыгунья»).

<sup>61</sup> Р. А. Будагов, Введение в науку о языке, М., 1968, стр. 225.

mi) установить весьма сложно: она восходит к древним источникам и, видимо, в конечном итоге связана с фольклорной традицией<sup>62</sup>. Примерно к такому же результату приводят и поиски исходного источника выражения *львиная доля*. Басенный сюжет, ставший его основой, использован И. А. Крыловым (в русской литературе также В. К. Тредиаковским, А. П. Сумароковым, М. Хемницером), Ж. Лафонтеном, Федром, автором же его считается Эзоп<sup>63</sup>. Уже давно, однако, найден народный источник этого фразеологизма — арабская сказка<sup>64</sup>. Лингвистическая основа этого фразеологического сюжета — древнейшая коннотация *лев*: «могущество, власть», известная многим языкам и имеющая, по-видимому, типологический характер.

Поиск исходной фразеологической модели в общефилологическом плане, таким образом, — это широкая семиотическая задача. В лингвистическом же плане необходимо подчеркнуть возможность сведения многих «авторских» фразеологизмов к более общим структурно-семантическим моделям. Для источниковедческой интерпретации выражения *рыцарь на час*, например, достаточно констатировать, что оно принадлежит Н. А. Некрасову<sup>65</sup>. Анализ содержания некрасовского стихотворения и структура этого выражения дают основание предположить, что оно создано по аналогии с крылатым словом *калиф на час*. Замена компонента (*калиф* на *рыцарь*), как мы видели на примере *бить баклуши* — типичный случай образования фразеологического ряда. Характерно, что восходящий к арабской сказке интернациональный фразеологизм *калиф на час* в русском языке создает активную структурно-типологическую модель [по Б. Шварцкопфу, *x + на час*, где *x* замещается все новыми лексемами разной семантики: *факир на час* (В. Амлинский), *премьер на час* (Л. Любимов), *выдвиженец на час* (И. Ильф, Е. Петров), *удачник на час* (Г. Куницын) и под.]<sup>66</sup>.

Задача выявления исходной структурно-семантической модели встает и при этимологизации фразеологизмов-заимствований и калек. В этом случае исследователю приходится оперировать широким межъязыковым ареалом, чтобы доказать активность исходной модели в языках той генетической группы, из которой предполагается заимствование. Чешский компаративный оборот *píje jako holandr* «пьет как сапожник», например, на чешском материале интерпретируется двояко: «пьет как машина для дробления зерна» и «пьет как голландец». Этнонимическое толкование этого фразеологизма подкрепляется наличием подобной изосемантической модели в других языках (например, болг. *пиян като циганин*; серб.-хорв. *као пијан циганин*; русск. диалектн. *пьян как грек*; нем. *betrunken wie sieben Sweden*; франц. *boire comme un Suisse, boire comme un Polonais* и под.) и массой устойчивых сравнений с компонентом «голландец» в германских языках, где этот этноним имеет пейоративную коннотацию (нем. *gieng hiemit wie ein Holländer*; дат. *være skabt som en Hollaænder*; швед. *rik, renlig som en holländare; svåra som en holländare, supra som en holländare* и под.)<sup>67</sup>.

<sup>62</sup> A. S a u v a g e, Les insectes dans la poésie romaine, «L'Atomus. Revue d'études latines», XXIX, 2, 1970.

<sup>63</sup> Н. С. Ашуккин, М. Г. Ашуккина, указ. соч., стр. 367; Эд. Вартаньян, указ. соч., стр. 121—122.

<sup>64</sup> A. R o z a n, Les animaux dans les proverbes, I, стр. 233—234 (год издания книги не указывается, примерно 1910).

<sup>65</sup> Н. С. Ашуккин, М. Г. Ашуккина, указ. соч., стр. 587.

<sup>66</sup> Б. Шварцкопф, Калиф на час, «Р. яз. в нац. шк.», 1970, 1, стр. 88.

<sup>67</sup> Подробнее см.: V. M o k i j e n k o, Píje jako holandr nebo jako Holandr?, «Naše řeč», 1973 (в печати).

Доказательство моделируемости того или иного сочетания, как кажется, является в конечном итоге надежным лингвистическим критерием и при выявлении случаев ложной омонимии, закрепившейся в результате калькирования (тип *быть не в своей тарелке*),

Разумеется, исследование заимствований и калек, и особенно идентификация литературных источников фразеологии, имеют немало специфических аспектов. И все же их лингвистической доминантой является раскрытие первичной образности (или ее отсутствия) фразеологизма, иными словами, выявление его исходной модели.

Способность этой модели широко варьироваться и подвергаться различным ложноаналогическим трансформациям должна быть серьезным предупреждением против построения этимологий на отдельных этнографических фактах, без учета языковых свойств устойчивого сочетания. Само по себе обращение к этнографическим фактам при этимологическом анализе фразеологизмов вполне оправдано: большинство из устойчивых сочетаний имеет экстралингвистическую основу. Однако при атомарном лингвистическом подходе момент случайности (или неслучайности) таких фактов остается невыявленным. Поэтому исходным моментом этимологического анализа фразеологии следует считать наблюдения за синонимическими, структурными и вариационными потенциями определенного фразеологического поля. Такие наблюдения, требующие привлечения огромного фактического материала, прежде всего диалектного, позволят реконструировать исходную структурно-семантическую модель устойчивого сочетания, которая позволит затем обратиться к этнографическому материалу, а он в свою очередь покажет достоверность проделанной реконструкции, либо вызовет необходимость ее пересмотра. Решение дилеммы «этнография или лингвистика?» в области исторической фразеологии, следовательно, означает: «лингвистика и этнография».

---

Э. В. СЕВОРТЯН

**К ИСТОЧНИКАМ И МЕТОДАМ ПРАТЮРКСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЙ**

В последние десятилетия в СССР заметно расширяется круг исследований по истории тюркских языков; практически трудно найти тюркологический коллектив в республиках, где среди ведущихся работ не было бы историко-лингвистических тем. О дальнейшем углублении работ в этой области можно судить по возрастающему интересу тюркологов к разысканиям сравнительно-исторического порядка. В Москве и Ленинграде стали привычными симпозиумы и конференции, посвященные проблемам сравнительно-исторической фонетики и грамматики тюркских языков. Опубликованы первые крупные работы в этой области. Развернулись систематические исследования по сравнительно-исторической морфологии тюркских языков. Понятно поэтому внимание советских тюркологов к публикациям на сравнительно-исторические темы, которые появляются за рубежом. Одна из них — обстоятельная рецензия Г. Дёрфера<sup>1</sup> на книгу А. М. Щербака «Сравнительная фонетика тюркских языков»<sup>2</sup>.

Статья Г. Дёрфера содержит известный круг принципиальных (методологических) и методических вопросов, относящихся к сфере исторической тюркологии. Все эти вопросы, естественно, ориентированы на сравнительно-историческую фонетику, как того требует объект рецензии, но по существу значение поставленных Г. Дёрфером вопросов шире, так как они затрагивают основы тюркологических сравнительно-исторических исследований вообще. Как указывает сам автор, в его рецензии «речь идет... о расхождениях (Gegensätze) методического или во всяком случае весьма общего порядка» (стлб. 326) с автором «Сравнительной фонетики тюркских языков».

В качестве центрального выдвигается принципиальный вопрос о том, можно ли по данным одних лишь современных тюркских языков реконструировать фонетические архетипы слов. «По одним лишь современным тюркским языкам, — отвечает на этот вопрос Г. Дёрфер, — нельзя реконструировать пратюркский язык...» (стлб. 332). Однако же, отмечает автор, метод прямого возведения современных тюркских языков к пратюркскому без промежуточных ступеней «в советской тюркологии широко распространен (ср., например, „Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков“, М., 1955—1962, где этот метод проведен почти сплошь)» (стлб. 331). «Это все одно, — продолжает, автор, — что строить историческую грамматику русского языка на одних лишь современных русских диалектах без обращения к древнерусскому языку (и древнему церковнославянскому)» (там же).

Отметим сразу, что «Исследования» к рассматриваемому вопросу отношения не имеют, и ссылка Г. Дёрфера на эту работу — плод недоразумения. Дело в том, что в отечественной тюркологии существовало и еще

<sup>1</sup> G. D o e r f e r, Bemerkungen zur Methodik der türkischen Lautlehre, «Orientalische Literaturzeitung», 66, 7/8, 1971 (далее цитируется в тексте с указанием стлб.).

<sup>2</sup> А. М. Щ е р б а к, Сравнительная фонетика тюркских языков, Л., 1970.

сейчас употребляется два термина: сравнительно-исторический (например, сравнительно-историческая грамматика, по-немецки *vergleichende Grammatik*, по-французски *grammaire comparée*) и сравнительный (метод, аспект), имеющий в виду синхронно-сравнительное описание современных тюркских языков или их ареальных групп<sup>3</sup>. Указанные выше «Исследования» относятся к этому последнему типу работ<sup>4</sup>, хотя местами они не лишены элементов историзма.

Что же касается разысканий исторического и тем более сравнительно-исторического характера, то советская тюркология, как и остальное языковедение, применяет сравнительно-исторический метод и потому при реконструкции исходных фонетических архетипов лексических основ или грамматических форм пользуется с о в о к у п н ы м и показаниями письменных памятников, современных языков и диалектов (говоров), стремясь с их помощью воссоздать всю фонетическую эволюционную цепь в развитии данного слова или грамматической формы. Тот, кто внимательно следит за сравнительно-историческими разысканиями в советской тюркологии, легко найдет целый ряд подтверждений сказанному.

Каково фактическое положение с источниками в исторической тюркологии? В отношении письменных памятников тюркские языки находятся в совершенно ином положении, нежели индоевропейские языки с их непрерывной письменной традицией, начиная с эпохи раннего средневековья. Это касается, прежде всего, славянских и германских языков; у других индоевропейских языков, например, у современных романских непосредственные письменные памятники появились позднее, чем у германских, однако они располагают многочисленными и многовековыми памятниками латинского языка, к территориальным диалектам и говорам которого восходят романские языки. Из тюркских языков лишь три — турецкий, азербайджанский и узбекский — располагают непрерывными памятниками, начиная с XIV (возможно, с XIII) в.; отдельные тюркские языки имеют памятники, датируемые не ранее, чем XV—XVI вв.; огромное же большинство тюркских языков документировано не ранее XIX, а в отдельных случаях — XVIII в.

Богатой сокровищнице древнеиндоевропейских языков (санскритскому с его разновидностями, древнеперсидскому, тохарскому, раннедревнегреческому и т. д.) в тюркологии противостоят, хотя и весьма ценные, но в общем немногочисленные и не столь уж ранние (не ранее VI—VII вв. н. э.) древнетюркские памятники, язык(и) которых не имеют прямых связей с современными тюркскими языками<sup>5</sup>. Не выяснены пока также связи языка/языков целого ряда староқыпчакских памятников с современными конкретными кыпчакскими языками.

При таких условиях трудно поверить в то, что «в тюркологии мы находимся в счастливом положении для ведения работ в историческом плане» (стлб. 327).

<sup>3</sup> В последние годы термин «сравнительный» иногда заменяют термином «сопоставительный», который, однако, более уместен при межгенеалогических сравнениях. В редких случаях термин «сравнительный» применяется в советской тюркологии в значении «сравнительно-исторический», как это мы видим в названной выше книге А. М. Щербака.

<sup>4</sup> См. «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. 1 — Фонетика, М., 1955, стр. 7.

<sup>5</sup> Предположение ученых конца прошлого и начала текущего века (В. В. Радлов, П. М. Мелиоранский, позднее В. Банг и другие) об исторической связи между языком или языками названных памятников и турецким или огузскими языками все еще нуждается в основательных доказательствах. Трудно принять также сближение языка рунических памятников с новоуйгурским (A. v. G a b a i n, *Alttürkische Grammatik*, Leipzig, 1950 [далее — Gabain], стр. 2).

В связи со сказанным уместно вспомнить, что еще в начале текущего века П. М. Мелиоранский в строгом соответствии с принципами нефилологического (младogramматического) языкознания второй половины XIX в. сформулировал положение, согласно которому «... главным материалом для исследования истории языка все-таки являются различные писанные источники — рукописи, надписи, монетные легенды и пр.»<sup>6</sup>. Правда, в начале XX в. тюркология располагала лишь несколькими обстоятельными описаниями живых тюркских языков и самыми первыми, ограниченными материалами по тюркской диалектографии, которые не могли играть существенной роли в историко-тюркологических разысканиях.

В настоящее время тюркское языкознание имеет в своем распоряжении обширные и все возрастающие материалы по диалектам и говорам подавляющего большинства тюркских языков, что коренным образом меняет положение вещей. По мере развертывания разысканий в историко-тюркологической области становится все более очевидным, что при сложившемся положении вещей последнее слово при решении конкретных вопросов исторической эволюции фонетики, лексики и грамматики тюркских языков остается в целом ряде случаев за показаниями диалектов или живых языков.

Принципиальная важность показаний современных тюркских языков и их диалектов в историко-лингвистических исследованиях вытекает из того, что вследствие неравномерности и разной направленности фонетического развития тюркских языков в них, а еще больше — в их диалектах и говорах сохраняются более старые, подчас реликтовые состояния фонетических явлений<sup>7</sup>. Именно по этой причине материалы чувашского и якутского языков давно стали справочными в исследованиях сравнительно-исторического характера. В последние десятилетия к этим языкам присоединился тувинский; этот список может быть значительно пополнен диалектами туркменского и турецкого языков, саларским и лобнорским языками и некоторыми другими.

Таким образом, при всем значении памятников тюркской письменности и внимании к их свидетельству самоочевидна обязательность самого тщательного учета материала всех диалектографических и диалектологических описаний для сравнительно-исторических работ в тюркском языкознании. Более того. Вследствие довольно частого отсутствия необходимых данных в памятниках пратюркскую реконструкцию ряда важнейших фонетических явлений в тюркском языкознании неоднократно приходилось строить на показаниях одних лишь современных языков. Таким способом были восстановлены, например, пратюркские этимологически долгие гласные, которые для автора «Forstudier»<sup>8</sup> были смелым допущением и лишь в последние годы О. Н. Туна<sup>9</sup>, А. М. Щербак<sup>10</sup> и некоторые другие стремились подкрепить данные современных языков показаниями памятников. Подобных примеров в истории тюркологии немало. Уместно напомнить, что и современное индоевропейское сравнительно-историческое языкознание не отказывается от прямых реконструкций на основании показаний современных языков и их диалектов.

<sup>6</sup> П. М. М е л и о р а н с к и й, Араб Филолог о турецком языке, СПб., 1900, стр. II.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> V. G r ø n b e s c h, Forstudier til tyrkisk lydhistorie, København, 1902 (подробное изложение см.: KSz, IV, 1903).

<sup>9</sup> О. Н. Т у н а, Köktürk yazılı belgelerinde ve Uygurcada uzun vokaller, «Türk Dili araştırmaları yılığ. Belleten», Ankara, 1960.

<sup>10</sup> А. М. Щ е р б а к, указ. соч., стр. 53—54; см. также его более ранние публикации.

Заметим, что сам Г. Дёрфер, на словах решительно возражая против прямых пратюркских реконструкций по данным современных языков, на деле широко пользуется этим способом в своих работах<sup>11</sup>. Для таких реконструкций он привлекает в качестве опорного материала наряду с тюркскими также и современный монгольский язык. Последнее вызывает лишь недоумение и вот почему.

Дело в том, что Г. Дёрфер не упускал, кажется, случая, чтобы не заявить о своем несогласии с теорией родства алтайских языков, указывая, что алтайские языки не родственны<sup>12</sup>, что нельзя говорить об алтайской теории, но лишь о гипотезе<sup>13</sup>. Привлекаемые им монгольские параллели к тюркским формам Г. Дёрфер объявляет тюркизмами, принадлежащими некоему пра- или прототюркскому диалекту<sup>14</sup>. Однако лингвистического обоснования этой своей гипотезы Г. Дёрфер не приводит, довольствуясь лишь априорными соображениями. А в результате при реконструкции многие фонетические архетипы тюркских форм у Дёрфера приобретают явно прамонгольский облик. Например, прототюркская реконструкция общетюркского *biŋ* «тысяча» произведена в виде *\*biŋan* — с опорой на монг. *miŋan*; прототюркская реконструкция общетюркского *kōk* «голубой» — в виде *\*k'ōk'ā* при монг. *kōke*; *\*ägä* «гнуть» восстановлено на основании монг. *e'ge*<sup>15</sup>. Аналогичные реконструкции нередки и в «Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen».

В связи с общими вопросами сравнительно-исторических штудий в тюркских языках, поднятыми в рецензии Г. Дёрфера, необходимо остановиться еще на одном принципиальном моменте, который всегда прини-

<sup>11</sup> G. D o e r f e r, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, I, Wiesbaden, 1963; II — 1965; III — 1967. См. также: е г о ж е, Zur Verwandtschaft der altaischen Sprachen, IF, 71, Hf. 1—2, 1966; е г о ж е, Homologe und Analoge Verwandtschaft, IF, 72, Hf. 1—2, 1967; е г о ж е, Zwei wichtige Probleme der Altaistik, JSFOu, 69, 4, 1968; Г. Д ё р ф е р, Можно ли проблему родства алтайских языков разрешить с позиции индоевропеистики?, ВЯ, 1972, 3; G. D o e r f e r, W. H e s c h e, H. S c h e i n h a r d t, S. T e z s a n, Khalaj materials, Bloomington — The Hague, 1971.

<sup>12</sup> G. D o e r f e r, Türkische und mongolische Elemente, I, 63.

<sup>13</sup> Там же. Впрочем, в своих последних работах Г. Дёрфер уже изменил позицию. «Конечно, — пишет он, — доказательства Рамштедта в большинстве своем ошибочны, но его правила по большей части как раз верны (только часто их надо толковать по-иному)» (стлб. 344). Но ведь прежде всего в этих правилах заключено конкретное содержание алтайской теории родства! Еще яснее отход автора от позиции категорического отрицания алтайской теории в его статье, опубликованной в журн. «Вопросы языкознания» (1972, 3): «... теория, которой я придерживаюсь, является как бы синтезом старой гипотезы, гласящей, что алтайские языки родственны, и точки зрения Клоусона, утверждающего, что, когда речь идет о тех общих словах в тюркском и монгольском, которые обозначаются как „алтайские“, следует разуметь под ними сравнительно новые ... тюркские заимствования в монгольском» (Г. Д ё р ф е р, указ. соч., стр. 54). И в то же время дальше в девяти пунктах (там же, стр. 60—64) доказывается мысль об «изначальной разобщенности алтайских языков» (стр. 60). Какому же из этих взаимоисключающих утверждений следует верить? К тому же Г. Дёрфер в настоящее время занят тем, что пишет (или: уже написал?) с р а в н и т е л ь н о - и с т о р и ч е с к у ю фонетику и морфологию алтайских языков (стлб. 332); Г. Д ё р ф е р, указ. соч., стр. 62.

<sup>14</sup> Этот диалект в работах Г. Дёрфера не имеет определенной лингвистической характеристики и именуется то прототюркским («Türkische und mongolische Elemente», I, стр. 53), то протобулгарским («Khalaj materials», стр. 270). Кроме того, автор называет еще два неких пра- или прототюркских диалекта, в одном из которых сохранился начальный *h-*, в другом — нет («Türkische und mongolische Elemente ...», I, стр. 103 и в последующих работах). Положение о пра- или прототюркских тюркизмах в монгольском в одной из последних статей автора заменено признанием «сравнительно новых (дагируемых VI в. н. э.) тюркских заимствований в монгольском» (Г. Д ё р ф е р, указ. соч., стр. 54). В последнем же из заявлений Г. Дёрфера об общих тюрко-монгольских словах полностью отменяется все то, что он утверждал до этого: «При ближайшем рассмотрении в алтайских языках нельзя найти ясных критериев для разграничения заимствованных и изначально родственных слов» (Г. Д ё р ф е р, указ. соч., стр. 62).

<sup>15</sup> «Khalaj materials», стр. 270, 291.

мается во внимание в советской тюркологии, — на методологическом требовании всестороннего учета всех связей и опосредований при изучении языкового явления как в синхронии, так в диахронии. Составной и неотделимой частью этого методологического требования является максимальная полнота и разносторонность сведений, привлекаемых при изучении языкового явления, не сплошное, а дифференцированное рассмотрение таких сведений.

К примеру, еще в 30-х годах XX в. неоднократно предпринимались разыскания для реконструкции эволюции начального  $n- > \phi- > \varphi- > 0$  (нуль звука) в алтайских языках<sup>16</sup>. К уже известным в науке данным Г. Дёрфером были добавлены лексические основы с начальным  $\varphi-$  из группы халаджских говоров (или диалектов) в Центральном Иране (стлб. 326) — в соответствующих основах из других тюркских языков  $\varphi-$  в анлауте отсутствует. Установив для нескольких семантически одинаковых и фонетически близких слов в халаджском и монгольском языках совпадение начальных  $\varphi-$ , автор по одним лишь этим данным реконструирует прототюркские архетипы этих слов уже с начальным  $*n-$  (стлб. 326).

Если разделять позицию автора, то совпадение анлаута в тюркских и монгольских словах ничего не доказывает, поскольку общие слова тюркских и монгольских языков, по мнению автора<sup>17</sup>, все равно тюркизмы древнейшего происхождения.

Однако еще существеннее то обстоятельство, что автором оставлен без внимания обширный материал из других тюркских языков — турецких диалектов<sup>18</sup>, кумыкского, туркменского и гагаузского, где начальный  $\varphi-$  во многих случаях является вторичным и нередко фигурирует в заимствованиях, не имевших в языке-источнике начального  $\varphi-$ . Приведем лишь часть этого обширного материала. В к у м ы к с к о м: *хайва* «айва», *хайыл* (из арабск.) «ум», *хаймут/хайрумт* (из перс.) «груша», *хайлде* «глупый», *хай* — усилительная частица, *хайран* «едва», *хайсыз* (из арабск.) «наглец», *хайшык* (из арабск.) «влюбленный», *хайкун* — «каяться», *хайтин* — «порываться», *хайз* «линия; черта»; в т у р к м е н с к о м: *хайла* — «быть открытым настежь» (ср. *ай* «зияющий»). *хайзет* (из арабск.) «уважение»,

<sup>16</sup> Из наиболее систематических работ последних десятилетий, в которых наряду с другими освещен и данный вопрос, см.: G. R a m s t e d t, Einführung in die altaische Sprachwissenschaft. I — Lautlehre, Helsinki, 1957; N. P o p p e, Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen. Tl. I — Vergleichende Lautlehre, Wiesbaden, 1960.

<sup>17</sup> Г. Дёрфер в последних работах уже не дифференцирует общие тюрко-монгольские лексические основы на тюркизмы и нетюркизмы. Ссылка на то, что в монгольском языке имеется не более пятидесяти древнейших тюркизмов (стлб. 334), ничем не подкреплена, да и просто не проиллюстрирована. Оказывается таким образом, что все пласты пратюркских заимствований в монгольском представлены всего лишь этими 50 словами.

<sup>18</sup> Приводимые здесь примеры из турецких диалектов извлечены из кн.: «Türkiyede halk ağzından söz derleme dergisi», I—VI, İstanbul, 1939—1957 (далее — DD), страницы указаны арабскими цифрами в тексте. Ниже использованы также следующие сокращения: TS — «XIII. yüzyıldan beri Türkiye Türkçesiyle yazılmış kitaplardan toplanan tanıklariyle tarama sözlüğü», I—IV, Ankara, 1963—1969; DS — «Türkiyede halk ağzından derleme sözlüğü», I—III, Ankara, 1963—1968; TDAY — «Türk Dili araştırmaları yıllığı. Belleten», Ankara; Houtsma — M. Th. H o u t s m a, Ein türkisch-arabisches Glossar, Leiden, 1894; Zenker — J. T h. Z e n k e r, Dictionnaire turk-arab-persan, I, Leipzig, 1866; Abû H. — A. C a f e r o ğ l u, Abû Hayyân, Kitâb al-Idrâk li-lisân al-Atrâk, İstanbul, 1931; KW — «Codex Cumanicus» по изд.: K. G r o n b e c h, Komanisches Wörterbuch. Türkischer Wortindex zu Codex Cumanicus, København, 1942; T (I, II, III...) — «Türkische Turfan-Texte», I — X, Berlin, 1929 — 1959; ДТС — «Древнетюркский словарь», Л., 1969; Чадамба — З. Б. Ч а д а м б а, Толжинский диалект тувинского языка. Канд. диссерт., Кызыл, 1969 (автореф. канд. диссерт., Новосибирск, 1970); ТМС — Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков (составленный тунгусо-маньчжурами алтайского сектора Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР, в печати); DSf — Диалектологическая картотека Турецкого языковедческого общества.

фовлы (заимствование) «двор»; в г а г а у з с к о м : *хайва* «айва», *хадет* (из арабск.) «обычай», *хайгыр* «жеребец», *хамбар* «амбар», *хармут* (из перс.) «груша», *хен* — усилительная частица, *хоруч* (из перс.) «пост»; в т у р е ц к и х д и а л е к т а х — (все примеры из DD II) *hanik-* «быть готовым» (701), *haraç/harıl/arış* «внутренняя сторона ляжек», ср. *arış-* «стоять, широко расставив ноги» (702), *harın* «открытый» (703), *hirkala-* «качать; трясти» (730), *hinci/hincik/hindi* «теперь» (736), *homtu/homtuucu* «пугало» (741), ср. *umacı*; *hotak* «летнее пастбище в горах» (747), *hoyek* «яма; впадина» (748), *höğüç* «двухлетний баран» (751), ср. в том же значении *ögeç*; *hökün-* «умолять» (751), *höleke* «веретено» (752), ср. *oreke* в крымско-татарском и других языках в том же значении; *hötür-* «иметь понос» (756). Часть относящегося сюда материала привел в своем сообщении о диалекте мендели (Ирак) С. Булуч на I лингвистическом съезде Турецкого языковедческого общества (Türk Dil Kurumu) в Анкаре 27—29 X 1972: *halav* (из перс.) «пламя», *hateş* (из перс.) «огонь», *hormek* «вязать», *hölmeç* «умирать» и др. Как показывает приведенный материал, при распространенности *h-* (или *x-*) протезы возможны совпадения в разных языках. Но еще больше случаев, где таких совпадений не происходит, и, следовательно, общеалтайское \**n-* здесь не восстанавливается.

Начальный *ç-* или его коррелят *x-* встречается не только в тюркских языках кавказского, передне-, средне- и центральноазиатского регионов, но и далеко за их пределами<sup>19</sup>. Например, в тоджинском диалекте тувинского языка: *хары* «пчела», *хинелик* (ср. в других тюркских языках *игнелик*) «стрекоза», *хөкпе* «легкие», *хөреме* «сливки» и др. (Чадамба 88).

Протетический *ç-* или *x-* возник в тюркских языках — по крайней мере в огузских, например, в турецком, — по-видимому, давно, о чем можно судить по таким данным, как старотурецк. *haluç* наряду с *aluç* TS III<sup>1896</sup> «алыча» (XVIII — XIX вв.), *havlı* наряду с *avlı* TS III<sup>1903</sup> (вероятно, из греч.) «двор» (XVI в.), *hayva* TS III<sup>1907</sup> «айва» (XIV — XV вв.), *höbek*<sup>20</sup> TS III<sup>1928</sup> «холм; бугор» (XVI в.), *höl* TS III<sup>1928</sup> «сырость; влажность» (XVII в.).

Начальный *h* в половецком «Кодексе» является скорее всего субституцией анлаутного арабского айна: *haqyl/aqyl* (أَقْلُ, *aklun*) «ум; мудрость», KW<sub>101</sub> (кумыкск. и др. *қакыл*), *hazyz* (حَزْزِزْ, *aziz*) «дорогой» KW<sub>102</sub>.

Ясно, что без учета всех вышеприведенных и аналогичных материалов, без специального изучения природы аспирированного анлаута<sup>21</sup> в тюркских языках, без дифференциации различных пластов внутри групп слов с начальным *ç-* и отдельного их изучения невозможно решить вопрос о преломлении закона Рамстедта — Пеллио в тюркских языках. А это значит, что нельзя решить и другие, связанные с вышесказанным вопросы, как,

<sup>19</sup> Следовательно, отпадает утверждение об ограниченности территории распространения начального *ç-* в тюркских словах (стлб. 336).

<sup>20</sup> Таким образом, версия о том, что старолитературные языки вытесняли из употребления основы с протетическим начальным *ç-* (стлб. 336), в отношении турецкого языка не обоснована.

<sup>21</sup> Вопрос об аспирированном анлауте тесно связан с другим вопросом — о тех различных типах инкурсии в артикуляции начальных гласных, которые представлены в некоторых тюркских языках. В частности, к этому вопросу имеет отношение такое явление, как гортанная смычка при артикуляции гласных в газантешском диалекте турецкого языка (Ö. A. A k s o y, *Gaziantep ağzı*, III, Istanbul, 1946), хотя здесь нельзя естественно, исключать влияния сирийских диалектов арабского языка. В этом же аспекте должна, вероятно, рассматриваться и гортанная смычка вместо начального *k-* в касимовском говоре татарского языка (см.: Л. Т. М а х м у т о в а, Особенности касимовского говора татарского языка. Автореф. канд. диссерт., Л., 1952; «Татар теленең диалектологик сүзлеге», Казан, 1969 [далее — ТТДС], и др.). Напомним, что в свое время предположение о гортанной смычке при инкурсии гласных высказал В. Банг, когда им рассматривался вопрос о первичности причастных форм *-ан* или *-ган*.

например, вопрос о древнейших тюркских фонетических архетипах с начальным *ɣ*- или вопрос о том, является ли архаичным тюркский язык, если в нем имеются общие тюрко-монгольские слова с указанным аспирированным началом.

Дифференцированный подход к словам с начальным *ɣ*- разного происхождения необходим, по-видимому, и для тунгусо-маньчжурских языков. Возьмем к примеру эвенк. *һуклэ́*-, *укла-* ~ *укло-*, *һуглэ́*-, *һуглэ́*- «лежать; валяться; спать», сол. *у'гла-* «лечь», эвенк. *һуклэ́*-, *һукла-*, *уклэ́*- «спать; ложиться спать», негид. *хублэ́*-, *хуглэ́*- «спать; лежать; валяться» (ТМС). В перечисленных языках производящая основа глагола *һуклэ́*- этимологически не разъясняется. В тюркских же языках она ясна, так как глагол этот — тюркский по происхождению: ср. туркм. *у:кла*-, узб. *ухлэ́*-, уйг. *ухли-*-, кирг. *укта-* — все из *у:кыла-* ~ *уқыла-* ~ *ухыла-* и т. д., где *у:кы* ~ *уқы* «сон» < *у:* ~ *у* «сон» + *-кы* (Gabain, стр. 62) или *\*у:k* ~ *\*у:k* «спать» (ср. турецк. диалектн. *üğ-üü-DSf* то же) + *-ы*. Таким образом, *һуклэ́*- и пр. — тюркское заимствование в тунгусских языках, и начальный *x-/ɣ-* в них — вторичный.

При распространенности аспирации начальных гласных в тюркских языках возможны схождения с аналогичными словами в монгольских и даже в тунгусо-маньчжурских языках. Квалифицировать все такие схождения как случайные или, наоборот, как генетические вряд ли правомерно. Случай типа тюрк. *ен* ~ *ин* ~ *им* и т. д. «надрез (на ухе животного), метка (на ухе животного)» и эвенк. *һим* (*им*, *имнэ́*) «метка; тамга, клеймо (разрез на ушах животных)» (ТМС), если только здесь нет заимствования, или тюрк. *ас-* «вешать», монг. *аса-* «прилипать; приставать», ороц. *хаси-* «повесить(ся)», орок. *паци-* то же, маньчж. *фаси-* «повисать; повесить(ся)» свидетельствуют о древнейшем фонде алтайских языков.

Необходимо подчеркнуть, однако, что несравненно бóльшая масса тюркских слов с начальным *ɣ*- не имеет соответствий в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках.

Другой пример неполноты использованного материала (а следовательно, и малообоснованности конечных выводов) можно видеть в тех случаях, когда на основании разрозненных транскрипционных записей тюркских слов (в том числе — географических названий) в летописях, хрониках или в старых описаниях путешествий предпринимаются попытки установить периодизацию фонетической эволюции, в частности — эволюции вокалической системы татарского языка. Опираясь на формы татарских слов, представленные в русских летописях XVI в. и в путевых записях путешественников XVIII в., некоторые тюркологи приходят к выводу, что в XVI в. татарский вокализм еще совпадал с общетюркским, а в XVIII в. уже наметился переход к вокализму современного татарского языка (см. табл. 329—330).

Однако все такие записи делались обычно из уст носителей одних татарских диалектов или говоров, в то время как материал других говоров, дающий картину иного состояния татарского вокализма до XVIII в., в летописи не попал. Г. Дёрфер вслед за П. М. Мелиоранским верно замечает, что «нельзя же незарегистрированность формы смешивать с ее реальным существованием» (стлб. 335). Поэтому все записи подобного рода не могут быть признаны достаточно надежным свидетельством хода фонетической эволюции всей системы татарских гласных и периодизации этого процесса.

Классический тюркский вокализм и сегодня еще представлен в татарских диалектах, хотя уже в записях XVIII в. он не отражен. Примеры: *олан* «дитя» (ТТДС 326), *оргу* «размножаться» (327), *ошаулы* «похожий» (330), *уйан* «бодрствующий» (453), *инэш* «закат (солнца)» (146), *при* «суп из кру-

пы» (149), ср. *үгре* то же; *ирәнү* «брезговать» (151), *истәү* «хотеть» (152), *ишү* «слышать» (156), *элек* «решето» (531), *эру* (554) и *өрү* (554) «зажигать», ср. *өрт* «пожар (степной, лесной)»; *эт* «мясо» (535), *үлешү* «раздавать по частям» (558), *үмә* «коллективная помощь» (558), *үмә* «груда; куча» (558), ср. турецк. *küte* то же; *үшән* «лентяй» (562), *өрпәк/өрфәк* «взынанный платок» (554), *өрү* «раздуваться (о животе)» (554) и большое число других форм. При таком положении вещей нет достаточных оснований приурочивать к XVIII в. перестройку татарского вокализма, так как этот процесс мог начаться гораздо раньше, но не получить отражения в случайных записях летописей и других нетюркских источников.

Вне всяких сомнений важность записей тюркских слов в иноязычных источниках для историко-тюркологических исследований отдельных слов, звуков, может быть, даже форм. Но основывать на отрывочных, одиночных, часто неточных записях тюркских слов в летописях, путевых заметках и т. д. суждения о фонетических или иных процессах, фазах, ступенях, тенденциях, строить исходя из них периодизацию языковых процессов вряд ли возможно. Для этих целей оказываются недостаточными также отрывочные записи даже в самих тюркских источниках.

Едва ли, например, кто-либо отважился бы утверждать, что позиционное соответствие *-л- ~ -д-* сложилось еще до эпохи Махмуда Кашгарского, как это можно было бы заключить из формы *ödüş* «влажный» Т VII<sub>94</sub> (ср. туркм. *өл* «влага»). Точно так же вряд ли возможно датировать XIV в. и даже XIII в. завершение формирования фонетических переходов, которые в дальнейшем стали характерными чертами современной казахской фонетики: общетюрк. *ш* > казах. *с*, общетюрк. *ч* > казах. *ш*, ссылаясь при этом на зафиксированные в памятниках тюркской письменности формы *بَسْبَرْمَقْ basbarmaq* (в других списках *bašbarmaq*) «большой палец» Abū H. (стр. 31 арабского текста), *باقِرْشِي baqırşı* «медник» Houtsma<sub>60</sub>, *شَاری šeri* «войско» (там же, 79), *شوربا šorba/šurba* «бульон» (там же, 80), *كِرْشَاKeršek* «истина» (там же, 97) и т. п.

Но историк языка вправе утверждать, что, например, переходы *-r/-z-* (и часто *-k/-k-*) > *-š-*, а также > *-e/-e°-* как фонетический процесс (а не как разрозненные случаи), как фонетическая фаза наметились в некоторых языках в XI—XIII вв. — это следует из более или менее регулярных данных, которые можно наблюдать в письменных памятниках различных языков, например, в «Диване» Махмуда Кашгарского, половецком «Кодексе» (условно) печенежских памятниках<sup>22</sup>. Например, в «Диване»: *iyin* < *ikın* «задыхаться» Kāšg. D<sub>222</sub>, *kow* < *koğ* «гнать» (там же, 350), *kowurtaç* < *koğurtaç* «поджаренная пшеница» (там же, 351) и др.; у Houtsma (12) *أَيْنَ ejin* < *egin* «плечо», *يُيْتِ juit* < *jigit* «молодой парень», *يُنَا ijne* < *(j)igne* «иголка». Та же эволюция в других тюркских языках, например в османском, обозначилась, по-видимому, позднее — в XVI в., о чем можно судить по систематическим данным в транскрипционных записях живой речи высших слоев Стамбула XVI в. у Филиппо Ардженти<sup>23</sup>. Даже еще в середине прошлого века Ю. Т. Ценкер отмечал недостаточную устойчивость перехода *-z- > -š-* в османском литера-

<sup>22</sup> См.: J. Kémetz, Die Inschriften des Schatzes von Nagy-Szent-Miklós, Budapest — Leipzig, 1932, стр. 55.

<sup>23</sup> A. Lombasi, «La Regola del parlare Turcho» di Filippo Argenti, Napoli, 1938, стр. 20, 25, 29, 31, 33, 35.

турном языке, часто приводя рядом обе формы — с *-z-* и *-j-*, например, *begenmek* и *begenmek* «нравиться» (Zenker I<sub>208</sub>), *pişegen* и *pişegen* «быстро варящийся» (там же, 199), хотя предпочтительной считал, кажется, форму с *-z-*.

На неполных, а в некоторых случаях — отрывочных или единичных данных строится в рецензии Г. Дёрфера целый ряд других утверждений, формулировок, решений и заключений по важнейшим вопросам исторической фонетики тюркских языков. Так, автор реконструирует систему пратюркских гласных, состоящую из кратких, долгих (монофтонгических) гласных без движения тона и долгих [дифтонгических (полифтонгических?)] гласных с движением тона (стлб. 327)<sup>24</sup>. Такая система гласных, по мнению автора, существует в халаджской группе тюркских говоров. Других тюркских языков с подобной вокалической системой автор не называет. И одних фактов из халаджских говоров оказывается достаточно в его работах для прямой реконструкции пратюркского вокализма по образцу халаджских долгих гласных.

Уместно заметить, что ограниченность и подчас выборочный характер опубликованных до настоящего времени халаджских материалов пока еще не дает возможности составить достаточно полное и объективное представление о долгих гласных в этих говорах.

Во всяком случае, то, что уже имеется в научной литературе, как и прослушивание магнитофонной записи халаджской речи<sup>25</sup> с ее иранизированной мелодикой, создает впечатление, что халаджские долгие гласные подверглись сильной иранизации, что в них переплелись персидские долгие с долгими гласными тюркского происхождения. Отметим также, что нечто схожее можно найти в системе гласных огузских говоров хорезмских диалектов узбекского языка по данным Ф. А. Абдуллаева<sup>26</sup>. К исследованию не привлечен внушительный материал экспериментально-фонетического описания туркменских гласных.

Фонологическую значимость всех трех видов гласных автор в рецензии не рассматривает. Это сделано в «Khalaj materials» (стр. 239), где приводятся фонологические оппозиции, которые строятся, однако, на данных разных языков (халаджских говоров, западных диалектов турецкого языка<sup>27</sup> и языка «Дивана» Махмуда Кашгарского)<sup>28</sup>. При такой методике в стороне остается неперемutable условие фонологических оппозиций, согласно которому фонологические противопоставления — в частности, противопоставления гласных по количественному признаку — действительны лишь в рамках фонологической системы одного языка, одного диалекта. Как невозможна единая фонологическая система всех современных тюркских языков или их ареальных групп (огузской, кыпчакской и т. д.), так невозможна единая фонологическая система халаджских говоров, западнотурецких диалектов и языка «Дивана». Поэтому оппозиции, построенные указанным способом, недействительны и, следовательно, бездоказательны.

Что касается фактической стороны того же вопроса, то можно отметить, что в опубликованных доселе халаджских материалах не приво-

<sup>24</sup> См. также: «Khalaj materials», стр. 235; Г. Дёрфер, указ. соч., стр. 57.

<sup>25</sup> Г. Дёрфер демонстрировал такую запись на I лингвистическом съезде Турецкого языковедческого общества (Türk Dil Kurumu) 27—29 сентября 1972 г. в Анкаре, на котором довелось побывать автору этих строк.

<sup>26</sup> См.: Ф. А. Абдуллаев, Фонетика хорезмских говоров, Ташкент, 1967, стр. 45—49.

<sup>27</sup> В качестве источника использована работа: Z. K o g k m a z, Batı Anadolu şırlarında aslı vokal uzunlukları hakkında, TDAY — Belleten, Ankara, 1953.

<sup>28</sup> Ср.: Г. Дёрфер, О состоянии исследования халаджской группы языков, ВЯ, 1972, 1, стр. 94.

дидлись реальные образцы оппозиций: халаджский долгий без движения тона : халаджский долгий с движением тона, или наоборот.

Гипотеза автора о системе пратюркских долгот еще нуждается в основательной проработке, а квалификация халаджских говоров как архаических (автор называет эту группу говоров «новым аргу»<sup>29</sup>) по признаку имеющихся в них долгот<sup>30</sup> преждевременна.

Еще пример. Автор воссоздает переходы пратюрк. \**ä* > чуваш. *a* и пратюрк \**e* > чуваш. *i* на основании всего лишь одной чувашской формы *kil-* «приходить» (стлб. 341). Этот единственный пример автора может быть подвергнут сомнению, так как гласный в указанной основе, например, в турецком представлен по крайней мере двумя типами: типом современного межтюркского *-e-* (в Стамбуле и западных диалектах турецкого языка) приблизительно такого же качества, как в кумыкском, казахском, киргизском и т. д., и более открытого *-e-* (в Анкаре и в Центральной Анатолии вообще). В азербайджанском же рассматриваемый гласный является еще более открытым: *гал-*. Эти данные препятствуют реконструкции пратюркской формы \**kel-*.

Вместе с тем реконструкция пратюрк. \**e* > чуваш. *i* не может быть исключена, так как в ее пользу свидетельствует ряд примеров, оставшихся за пределами внимания автора. Однако в не меньшем числе случаев чуваш. *и* соответствует открытому *э* других тюркских языков, например: чуваш. *иксёл-* ~ азерб. *эксил-* «убывать», чуваш. *имген-* «надрывать» и *ингек* «беда» ~ азерб. *омэк* «труд», чуваш. *ирёк* «свобода; воля» ~ азерб. *эрк*, туркм. *ерк*; чуваш. *ирёл-* ~ азерб. *эри-* «таять», чуваш. *кимёл-* ~ азерб. *кэм*, туркм. *кем* «мало», чуваш. *кипек* «шелуха» ~ азерб. *кәпәк* «отруби», чуваш. *тив-* ~ азерб. *дэй-* «касаться», чуваш. *кимё* ~ туркм. *гә:ми* «судно», чуваш. *тимёр-* «беситься» ~ азерб. *дәли*, туркм. *дә:ли* «безумный», чуваш. *тимёр* ~ азерб. *дәмир* «железо». Даже эти, далеко не полные данные могут свидетельствовать о сложности путей исторического формирования чувашского корневого *и*, а это делает неприемлемым поспешное и упрощенное решение проблемы.

В другом месте автор пишет, что он не мог найти никаких доказательств тому, что *й* является диалектным (стлб. 340: автор имеет в виду чередование *a* ~ *ы*). Но это чередование широко представлено в самых разных тюркских диалектах<sup>31</sup>. Соотношение *a* ~ *ы* составляет всего лишь отдел в чередовании широких и узких. Следовательно, оно подчиняется единой закономерности, обеспечивающей соотносительность широких и узких гласных. При неизученности данного явления естественны, конечно, различные предположения. Однако гипотеза о происхождении *a* и *i* из прототюркской фонемы \**ë*<sup>32</sup> у автора ничем не подкреплена.

<sup>29</sup> «Khalaj materials», стр. 171—174; G. D o e r f e r, Das Chaladsch — eine archaische Türkische Sprache in Zentralpersien, ZDMG, 118, 1, 1968, стр. 107. Из сорока с лишним слов из языка аргу, отмеченных в словаре Махмуда Кашгарского (ДТС 644—648), одно или два слова встретились автору и в халаджских говорах, и это оказалось достаточным, чтобы возводить халаджские говоры к языку аргу.

<sup>30</sup> «Das Chaladsch — eine archaische Türkische Sprache ...», стр. 101 (п. 7).

<sup>31</sup> См., например: К. Ш а м ы р а д о в, Түркмен дилиниң ёмут диалектиниң гүн-батар геплешигинде чекимли фонемаларың айратынлыгы, «Труды Института языка и литературы [АН ТуркмССР]», II, 1957, 133—155; Х. Б а г ы е в, Түркмен дилиниң олам диалектинде чекимли селер, «[А. М. Горький адындакы Түркмен дөвлет университети] Ылмы язгылар», XXIX, 1964, стр. 17—24; А. Г. В е л и е в, Некоторые фонетические особенности переходных говоров азербайджанского языка, «Вопросы диалектологии тюркских языков», II, Баку, 1960, стр. 112—117; ТТДС, стр. 167, 179, 217, 220, 379, 434, 511, 518, 577, 580 и сл.; по турецкому языку: TS — I<sub>166</sub>, 246, III<sub>1965</sub>, 1979; DSf; DS I<sub>408</sub>, II<sub>468</sub>, 499, 660, 661, 662, 672 и т. д.

<sup>32</sup> «Khalaj materials», стр. 276.

Таким образом, ясно, что при современном состоянии изученности важнейших вопросов сравнительно-исторической фонетики тюркских языков и, в частности, систем гласных, согласных и т. д. в конкретных тюркских языках, при ограниченности разработок в области сравнительно-исторической фонетики тюркских языков поспешные и категорические утверждения, формулировки и выводы оказываются преждевременны. Можно поэтому присоединиться к мнению Г. Дёрфера, согласно которому «положение вещей в тюркском языкознании требует дальнейших исследований» (стр. 336).

В советской тюркологии ведутся многочисленные исследования по основным разделам синхронической и диахронической тюркологии. Приходится сожалеть, что из большого фонда уже имеющихся научных разработок многое остается за пределами внимания зарубежных ученых, которые в тюркологических работах, выходящих у нас в стране, по старой традиции порою ищут больше фактический материал (так сказать — сырье), чем научные разработки.

Но это — досадный анахронизм. Чем скорее он будет преодолен, тем эффективнее станет действовать в тюркском языкознании важнейший фактор его дальнейшего прогресса — живой обмен научными идеями и теоретическими концепциями, сопоставление и борьба научных взглядов и представлений; тем глубже будет разработана почва для создания больших фундаментальных трудов по основным вопросам синхронической и исторической тюркологии, без чего невозможно обеспечить переход современной тюркологии на новые научные рубежи.

---

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. Г. АДМОНИ

ТИПОЛОГИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
И ЛОГИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Типология предложения становится одной из важных областей теоретической грамматики. В предложении пересекаются все сферы, в которых существует язык, все функции, которые им выполняются. Отсюда необычайное многообразие тех форм, в которых существует предложение, т. е. его типов или моделей<sup>1</sup>. В огромном большинстве грамматик самых различных языков эти типы или модели в большей или меньшей степени учитываются, но разрозненно и без раскрытия связи между ними. Однако в языкознании на его нынешнем этапе, при все растущем стремлении к широкому, многоаспектному охвату языковой действительности, все чаще делаются попытки осмыслить это многообразие типов предложения, установить их систему, их стратификацию. (В той или иной степени при этом нередко высказываются идеи, уже выдвигавшиеся некогда в других формулировках, но обычно без прямой преемственности.) Задача этой статьи — осветить некоторые наиболее общие проблемы, которые встают при стремлении осознать стратификацию предложения, т. е. наметить систему типов предложения. Мы хотим также более подробно рассмотреть одну из сторон этой системы, представляющуюся нам исключительно важной. К полноте обзора теорий по этой проблематике мы стремиться не будем. Да это было бы и невозможно в рамках одной статьи.

Общим для многих современных концепций типологии предложения является установка на учет как формальной, так и содержательной стороны рассматриваемых типов. Но конкретный подход к объекту исследования бывает при этом различным. Здесь возможна как такая трактовка типологии предложения, при которой исходным моментом является содержательно-функциональная сторона предложения, так и трактовка, при которой исходным моментом оказывается его формальная сторона. На первый взгляд может показаться, что это различие касается скорее процедуры грамматического анализа, чем конечных результатов исследования. Ведь при внимательном и точном анализе, отправляясь от содержательно-функциональных моментов, можно прийти ко всем тем формальным структурам, которые могут быть обнаружены при их непосредственном анализе, и наоборот — отправляясь от формальных структур, опять-таки при внимательном и точном анализе, в конечном счете можно прийти ко всем тем содержательно-функциональным моментам, которые берутся за основу при предоставлении приоритета плану содержания. Но на самом деле положение здесь более сложное. Выбор исходного пункта, как правило, отнюдь не безразличен для конечных результатов конкретного исследования, создавая особый ракурс, под которым начинает рассматриваться вся

<sup>1</sup> См.: В. Г. Адмони, Типология предложения, «Исследования по общей грамматике», М., 1968.

система типов предложения. Впрочем надо оговориться, что в чистом виде оба эти подхода, конечно, не могут быть осуществлены, как это вообще свойственно грамматическим исследованиям. Какие-то представления о системе форм должны обязательно иметься как некая предпосылка при любом содержательном подходе к исследованию, так же как какие-то представления о содержании и о функциях при любом формальном подходе<sup>2</sup>. Но все же чрезвычайно существенно, какой из этих моментов оказывается исходным в рамках данной теории.

В языкознании наших лет преобладает первый, т. е. содержательно-функциональный подход к типологии предложения, что проявляется как в развернутых, эксплицитных концепциях, так и имплицитно. А именно, на передний план выдвигаются обычно общие функции предложения или основные стороны выражаемого им содержания, на основе которых и устанавливаются различные стороны (аспекты) предложения как конкретной структуры со своими наборами типов предложения. Естественно, что при таком обращении к основным функциям и значениям предложений сторон (аспектов) предложения как конкретной структуры оказывается очень немного — обычно две или три.

Так, одно время было чрезвычайно распространено выделение в предложении двух сторон: актуального (смыслового) членения предложения, принадлежащего к речи и выявляющего его конкретное коммуникативное задание, и грамматического членения, принадлежащего к языку и выявляющего устойчивое конструктивное строение предложения<sup>3</sup>. Соотношением этих двух сторон в некоторых концепциях исчерпывалась вся основная суть предложения, и все конкретные разновидности типов предложения либо рассматривались как подчиненные этим двум его сторонам, либо вовсе не замечались, оставаясь в тени. Иногда при этом ощущалась тенденция придавать решающее значение одному из этих аспектов, а именно аспекту актуального членения, — в нем видели единственно живую, динамическую сторону в конституировании предложения, так что даже предикативность начинала рассматриваться как явление, целиком относящееся к сфере актуального членения предложения<sup>4</sup>, а сам термин «предложение» оказывался применимым только к единицам «уровня актуального членения» («коммуникативно-синтаксического уровня»), в то время как те же наборы слов, взятые только на уровне «грамматического явления» («конструктивно-синтаксическом уровне», или «уровне синтаксического конструирования») рассматриваются уже не как предложения, а как «синтаксические конструкции»<sup>5</sup>. Противопоставление актуального и грамматического членений предложения как решающее для структуры предложения иногда прямо обосновывается тем, что они являются двумя непересекающимися функциональными планами существования предложения в соответствии с наличием у языка двух основных функций — функции выражения мысли и функции сообщения<sup>6</sup>. Вариациями концепций, противопоставляющих актуальное членение грамматическому членению, являются концепции, усматривающие в структуре предложения ре-

<sup>2</sup> См.: В. Г. А д м о н и, Основы теории грамматики, М.—Л., 1964, стр. 3—4.

<sup>3</sup> См.: V. M a t h e s i u s, O tak zvaném aktualním členění větném, сб. «Čeština a obecný jazykozpyt», Praha, 1947; К. Г. К р у ш е л ь н и ц к а я, К вопросу о смысловом членении предложения, ВЯ, 1956, 5; И. П. Р а с п о п о в, Актуальное членение предложения, Уфа, 1964.

<sup>4</sup> См., например: О. А. К р ы л о в а - С а м о й л е н к о, О предикативности, ФН, 1965, 1.

<sup>5</sup> См.: И. П. Р а с п о п о в, Актуальное членение и коммуникативно-синтаксические типы повествовательных предложений в русском языке. Автореф. докт. диссерт., М., 1964, стр. 9—12.

<sup>6</sup> Там же, стр. 9.

зультат взаимодействия двух основных сторон (уровней) языка и речи. Такова, например, концепция, противопоставляющая потенциально-синтаксический и актуально-синтаксический уровни языка <sup>7</sup>, и концепция, в которой выделяются синтаксический и логико-грамматический уровни языка <sup>8</sup>. В последней концепции особый упор делается на том, что актуальное членение предложения получает развернутое формально-грамматическое выражение — в частности, в некоторых языках с помощью ряда предикативных показателей и т. п., — и служит, таким образом, грамматической реализацией субъектно-предикативной структуры соответствующей мысли, что и служит основанием для присвоения данному уровню наименования «логико-грамматический» <sup>9</sup>.

В генеративной грамматике предложение, по сути дела, тоже рассматривается в двух основных измерениях. Поверхностная структура предложения, т. е. та его форма, которая дана непосредственно в речи, противопоставляется его глубинной структуре, т. е. так называемому ядерному предложению, которое выражает в наиболее прямой и краткой форме семантическое содержание поверхностных структур. Правда, поверхностными структурами в генеративной грамматике оказываются не только предложения, как они непосредственно существуют в речи, но также и предложения некоторых конструктивных типов, взятые безотносительно к своей речевой форме (например, пассивные предложения). Кроме того, ядерные предложения противопоставляются здесь не только «поверхностным предложениям», но и словосочетаниям и даже компонентам сложных слов <sup>10</sup>. Таким образом, противопоставление «поверхностных предложений» и «ядерных предложений» не может быть сведено к противопоставлению речевого и языкового уровней. Скорее оно может быть понято как противопоставление языковых (в самом широком смысле этого слова, включая и речь как форму существования языка) структур структурам логическим. По крайней мере, в этом направлении идут те представители генеративной грамматики, которые подчеркивают универсальный характер глубинных структур и считают несущественным конкретное языковое оформление этих структур в конкретных языках. Но при всем том выделение двух основных сторон или форм в структуре предложения является решающим для этого грамматического течения.

Широкое обращение к двоичной системе при стратификации предложения в современном языкознании, конечно, не является случайным. В системе значений и форм предложения действительно существуют и не могут не существовать какие-то сферы (стороны, уровни, аспекты), которые отражают и выражают две основные функции языка, а также одновременную органическую причастность предложения как к сфере языка, так и к сфере речи. Вместе с тем, ни одна из выдвинутых двоичных концепций в своем теперешнем виде не дает объяснения всей совокупности типов предложения, не сумела построить полную типологию предложения какого-либо языка как органически взаимосвязанную систему. Эти концепции справедливы в самом общем виде, в своем стремлении связать структуру предложения с общими функциями и условиями существ-

<sup>7</sup> См.: И. Ф. В а р д у л ь, Очерки потенциального синтаксиса японского языка, М., 1964.

<sup>8</sup> См.: В. З. П а н ф и л о в, Грамматика и логика, М.—Л., 1963; е г о ж е, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971, стр. 227—230.

<sup>9</sup> В. З. П а н ф и л о в, Грамматика и логика, стр. 39.

<sup>10</sup> См., например: Н. Х о м с к и й, Синтаксические структуры, сб. «Новое в лингвистике», III, М., 1962, стр. 444—445, 468; З. С. Х э р р и с, Совместная встречаемость и трансформация в языковой структуре, сб. «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 626—630.

ования языка, но они несправедливы в своей конкретной трактовке форм предложения.

Все дело в том, что как основные функции языка, так и противопоставление языка и речи отражаются в предложении не прямо и однолинейно, не в бинарно противопоставленных друг другу рядах типов. Каждая из функций и форм существования языка может находить свое выражение в двух или нескольких типах предложений, причем в одном и том же типе предложений может совмещаться выражение разных сторон, функций и разных форм существования языка, не говоря уже о том, что в типологии предложения реализуется и такая функция языка, как выражение эмоционального состояния говорящего, а также представлены разные виды организации предложения как единицы речевой цепи<sup>11</sup>.

Показательным примером сложности и взаимосцепленности выражения в одном ряду типов предложения разных функций и «уровней» языка может служить тот ряд типов, в который входят предложения, различающиеся по степени своей полноты. В этот ряд входят следующие типы: 1) полные нераспространенные предложения, включающие в себя только необходимые компоненты предложения, но включающие их комплектно; 2) распространенные предложения, включающие в себя, помимо необходимых компонентов, еще факультативные, структурно необязательные; 3) эллиптические предложения, в которых отсутствует один или несколько необходимых компонентов предложения; 4) распространенно-эллиптические предложения, являющиеся комбинацией второго и третьего типов, т. е. лишенные одного или нескольких или даже всех необходимых компонентов, но содержащие один или несколько факультативных, структурно необязательных компонентов предложения. В основе такого различия типов предложения лежит как будто чисто структурный момент, связанный с закономерностями организации предложения — с соотношением необходимых и дополнительных компонентов в составе предложения. Но одновременно здесь выражается и определенное мыслительное содержание, которое мы называем логико-грамматическим. Разного вида сочетания необходимого и дополнительного составов предложения грамматически фиксируют в обобщенном виде отражение в человеческом сознании разного рода связей между теми отношениями вещей, явлений и т. д., которые даны в необходимых компонентах предложения, с теми вещами, явлениями и т. д., которые даны в его факультативных компонентах: например, связь между процессом, исходящим от субъекта, и его локальной приуроченностью (*Он работает на заводе*).

Нам кажется целесообразным строить систему типологии предложения, исходя из тех несводимых друг к другу типологических рядов, которые обнаруживаются в языковой действительности, устанавливая каждый раз как формальные, так и содержательные, функциональные, композиционные стороны каждого типа этих рядов. Те принципы, по которым объединены эти ряды, мы назовем аспектами (сторонами) предложения. Они оказываются, таким образом, значительно более дробными, чем аспекты, стороны, уровни в ранее рассмотренных концепциях, но зато они соответствуют реальным явлениям языковой системы, а кроме того, их выделение отнюдь не означает отказа от установления у предложения и более обширных общих сторон, которые, однако, сами по себе не могут раскрыть конкретную стратификацию предложения.

Поскольку постулируемые нами аспекты предложения устанавливаются на базе конкретных формальных различий между типами предложений,

<sup>11</sup> См.: В. Г. А д м о н и, Композиция предложения в современном немецком языке, сб. «Структура предложения и словосочетания в современном немецком языке», Л., 1971.

разные языки могут, в принципе, обладать разными аспектами предложения. Вместе с тем, насколько мы можем судить, существует огромная близость между системами аспектов предложения в очень многих языках. Это объясняется тем, что и эти более дробные аспекты все же складываются как выражение в высшей степени типичных моментов языковой действительности и случаев их взаимодействия.

Так как нам неоднократно приходилось намечать систему аспектов предложения для современного немецкого языка, то я ограничусь здесь их перечислением (применительно к немецкому языку)<sup>12</sup>: 1) аспект логико-грамматических типов предложения (подробнее о нем см. ниже); 2) модальный аспект (включающий в себя, с нашей точки зрения, и аффирмативность, т. е. противопоставление утвердительных и отрицательных предложений); 3) аспект полноты предложения; 4) аспект синтаксической соотнесенности между предложениями в речи (предложения самостоятельные, главные, подчиненные и т. д.); 5) аспект познавательной установки говорящего (актуального членения предложений); 6) аспект коммуникативной задачи, стоящей перед предложением (повествовательные, побудительные, вопросительные предложения); 7) аспект эмоциональной насыщенности предложения (различение эмоционально нейтральных и эмоционально повышенных предложений). Подчеркиваем еще раз, что эта система аспектов непосредственно намечена нами на основании конкретных фактов системы современного немецкого языка, так что мы отнюдь не утверждаем, что она в этой своей форме подходит для всех языков мира.

Как мы уже отмечали, эта система аспектов предложения не совпадает с системами, в которых типология предложения строится как противопоставление двух его основных сторон, уровней. Но при внимательном рассмотрении нашей системы обнаруживается, что входящие в нее аспекты тяготеют к двум полюсам: с одной стороны, к выражению логико-грамматического содержания, т. е. такого мыслительного содержания, которое выступает как грамматически зафиксированное отражение в человеческом сознании отношений объективной действительности, с другой стороны, к выражению разного рода содержаний, которые связаны с самим процессом коммуникации и, в частности, со складывающимся в процессе речи внутренним отношением говорящего (учитывающим позицию слушающего) к содержанию своего высказывания. Если первый полюс непосредственно дан в самом аспекте логико-грамматических типов предложения, то второй не имеет единого, исчерпывающего выражения, а намечается во взаимодействии ряда аспектов, — прежде всего, трех, стоящих последними в нашем списке. А некоторые аспекты расположены между этими полюсами — например, аспект полноты предложения, о котором уже была речь.

Впрочем, этот полевой характер типологии предложения вполне соответствует общей тенденции грамматических явлений к полевой структуре<sup>13</sup>, а тот факт, что полюсами в системе типов предложения оказываются логико-грамматический аспект и аспекты с четким коммуникативно-грамматическим характером, вполне соответствует тому, что грамматические категории вообще делятся в первую очередь на категории логико-грамматические и коммуникативно-грамматические (по терминологии А. М. Пешковского, впервые выдвинувшего такую классификацию грамматических категорий: объективные и субъективно-объективные)<sup>14</sup>. Вместе с тем, надо

<sup>12</sup> Там же, стр. 21—44.

<sup>13</sup> См.: В. Г. Адмони, Основы теории грамматики, стр. 47—51.

<sup>14</sup> А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, М., 1956, стр. 89—90.

отметить, что полевая структура у типологии предложения носит весьма своеобразный характер и во многом отличается, например, от полевой структуры частей речи<sup>15</sup>.

Вернемся к логико-грамматическим типам предложения. Уточним, что мы понимаем под этими типами. Это — типы, различающиеся по форме и обобщенному содержанию необходимых компонентов предложения в их взаимосоотнесенности. (Под формой здесь разумеется морфологическая форма, но в некоторых языках — прежде всего, в изолирующих — и синтаксическая форма, создаваемая порядком слов и просодическими средствами.) Необходимым условием при определении логико-грамматических типов предложения в каком-либо языке является установление необходимых компонентов предложения, их отграничение от дополнительных, факультативных компонентов. Такое отграничение должно проводиться в условиях максимального устранения воздействий ситуации и контекста, т. е. в состоянии «синтаксического покоя»<sup>16</sup>, и заключаться в экспериментальном вычеркивании в конкретных предложениях различных компонентов, без которых соответствующие предложения все же не производят впечатления грамматической незавершенности (метод «вычеркивания»). Полученные таким образом минимальные составы предложений должны быть расклассифицированы по своим формальным различиям и определены в своем обобщенном грамматическом значении. Естественно, что в каждом языке набор логико-грамматических типов предложения должен определяться, исходя из реальных особенностей его грамматической структуры. Такие попытки фактически уже неоднократно делались в применении к различным языкам<sup>17</sup>. Как и у всякой грамматической структуры, обобщенное грамматическое значение логико-грамматических типов предложения может обладать значительной сложностью и противоречивостью: в зависимости от лексического наполнения у некоторых видов предложений, обладающих одной и той же формой, обобщенное грамматическое членение может варьироваться в значительных размерах, в чем сказывается полевая структура грамматических форм.

Так, предложения, формально характеризующиеся наличием номинативного подлежащего, переходного глагола и прямого дополнения в вин. падеже, обнаруживают обобщенное грамматическое значение: «производитель действия + действие + объект действия». Но во многих языках такая формальная схема предложения — на основе специфической конкретной семантики глагола — служит и для выявления иных значений: значения состояния (иногда даже с пассивным субъектом-подлежащим), значения существования (наличия) чего-либо и т. д. Например, *Он получил письмо; Сосуд вмещает десять литров* и т. п. Ср. в немецком: *Er hat einen Brief erhalten; Das Faß enthält zwei Hektoliter*<sup>18</sup>.

В некоторых случаях, когда конструкции с переходными глаголами, не означающими подлинного действия, направленного на объект, полу-

<sup>15</sup> См.: В. Г. А д м о н и, Полевая природа частей речи (на материале числительных), сб. «Вопросы теории частей речи (на материале языков различных типов)», Л., 1968.

<sup>16</sup> См.: О. В е h a g h e l, Die Herstellung der syntaktischen Ruhelage im Deutschen, IF, XIV, 1903.

<sup>17</sup> Краткий обзор опытов описания логико-грамматических типов предложения на материале разных языков был дан нами в кн.: «Введение в синтаксис современного немецкого языка», М., 1955, стр. 105—106. Там же дан обзор логико-грамматических типов предложения в немецком языке (стр. 102—162) и введен этот термин, впервые намеченный нами в середине 30-х годов. См. также: В. Г. А д м о н и, Типология предложения, стр. 237—264.

<sup>18</sup> Н. В r i n k m a n n, Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung, 2. Aufl., Düsseldorf, 1971, стр. 412.

чают особенно широкую сочетаемость и когда возникают некоторые особенности в оформлении других компонентов предложения (подлежащего или прямого дополнения), здесь образуются даже особые разновидности логико-грамматических типов предложения. Но это никак не противоречит тому, что сочетание «именительный падеж субъекта + переходный глагол + аккузативное дополнение» в общем виде, если этому не препятствует конкретная семантика глагола или формально-смысловые особенности именных (или местоименных) компонентов предложения, обозначает соотношение между производителем действия и объектом действия, реализующееся в действии. Именно это значение и является тем обобщенным грамматическим значением, которое привносится данной структурой всюду, где она применяется, и которое заставляет видеть его оттенок до известной степени даже там, где оно не совпадает с конкретной семантикой глагола.

Характерно, что у многих переходных глаголов в их конкретном употреблении обнаруживается целый «веер» оттенков значения, простирающийся от более или менее настоящей «действенности» до полной пассивности. Так, в предложении *Он пошел на почту и получил письмо* глагол получает возможность выявлять определенную активность субъекта, которая уже значительно снижается в предложении *Он получил письмо*, лишенном контекста типа *(Он) пришел и...* Еще более велика пассивность субъекта в предложении *Он получил пощечину; Он получил нахлобучку*. Таким образом, обусловленный конкретным лексико-семантическим наполнением отход от обобщенного грамматического значения данного логико-грамматического типа предложения имеет много градаций, так что случаи резкого несовпадения между обобщенным и конкретным значением предложений этого типа и случаи их совпадения соприкасаются и не могут быть резко отграничены друг от друга. Характерно, что полным противопоставлением предложению *Он получил письмо*, окончательно снимающим всякий оттенок активности лица, в русском языке будет предложение другого логико-грамматического типа с пассивной глагольной формой, в котором подлежащим выступает уже не лицо, а предмет: *Им получено письмо* или — с использованием другого глагола — *Ему прислано (пришло) письмо* или же неопределенно-личная конструкция *Ему прислали письмо*.

Что же касается создания на базе структуры данного логико-грамматического типа разновидностей с другим обобщенным грамматическим значением, то это происходит лишь при наличии устойчивых особенностей в оформлении тех или иных компонентов конструкции. Так, в немецком языке в конструкции «номинативное подлежащее + *haben* + прямое дополнение», выражающей наличие чего-либо (в том числе и каких-либо ощущений, переживаний и т. д.) у кого-либо, характерно употребление при именах нарицательных в качестве дополнения неопределенного артикля, даже если они обозначают конкретные, единственно возможные в данном контексте (или вообще) предметы и лица. Например, *Ich habe einen Vater* «У меня есть отец»<sup>19</sup>. А конструкция *Es gibt Regen* «Идет (падает) дождь», выражающая существование предмета (явления), обозначенного аккузативным дополнением, становится особой разновидностью логико-грамматических типов предложения благодаря наличию в предложении безличного *es*<sup>20</sup>. Снятие обобщенно-грамматического значения объектности

<sup>19</sup> Л. П. Суздальская, Развитие структуры предложения со значением состояния в немецком языке. Автореф. канд. диссерт., Л., 1969; W. G. Admoni, *Der Deutsche Sprachbau*, 2. Aufl., Leningrad, 1966, стр. 130—131, 134, 240.

<sup>20</sup> См.: Н. Вринкманн, указ. соч., стр. 450; W. G. Admoni, *Der deutsche Sprachbau*, стр. 134, 140.

и обособление в специальные разновидности логико-грамматических типов предложения совершается в данных конструкциях путем закрепления грамматических сдвигов в их построении.

Таким образом, и логико-грамматические типы предложения обладают полевой структурой, для которой характерно наличие определенной периферии, состоящей из таких конструкций, в которых конкретное лексическое значение не совпадает с обобщенным грамматическим значением данной грамматической формы. Но этим отнюдь не опровергается существование логико-грамматического типа предложения как единства определенной структуры и определенного обобщенного значения.

Проблема наличия у логико-грамматических типов предложения обобщенного грамматического значения является, конечно, лишь частью общей проблемы обобщенных грамматических значений грамматических форм. Те трудности и противоречия, которые возникают при попытках последовательного установления таких значений для языков флективного типа, общеизвестны. Они были отчетливо выражены уже в грамматической концепции А. А. Потебни, который, рассматривая грамматическую категорию прежде всего как особую мысль и определяя грамматическую форму как «элемент значения слова»<sup>21</sup>, т. е. ставя во главу угла при грамматическом анализе — по современной терминологии — именно установление обобщенных грамматических значений грамматических форм, приходит к двум крайностям: либо (в общем плане) считает наличие особого обобщенного значения, независимо от наличия или отсутствия звукового выражения этих значений, достаточным основанием для выделения особой грамматической категории (так выделяется, например, ряд падежей в русском твор. падеже)<sup>22</sup>, либо (при анализе атрибутивных конструкций) полностью подчиняет конкретные лексические значения сочетающихся слов обобщенному грамматическому значению всей конструкции. Приведем пример *цветы ... такой цены и красоты*, Потебня говорит: «Для нас родительные падежи в *цветы такой цены* и пр. суть названия предметов, которым принадлежат цветы; на субстанциальность их указывает, между прочим, именно отсутствие всякого согласования с главным словом и их косвенный падеж»<sup>23</sup>.

Думается, что выход из этого противоречия может быть найден при признании сложного, градуированного состава обобщенного грамматического значения грамматических категорий и форм, при выявлении переходных случаев между четким (полным) и лишь частичным проявлением того обобщенного значения, которое преобладает в данной категории или форме, т. е. при признании их полевой структурой. Во всяком случае, трудности анализа не могут быть причиной отказа от обращения к обобщенному грамматическому значению при исследовании любых грамматических категорий, в том числе и логико-грамматических типов предложения. Ведь обобщенное грамматическое значение есть реально существующий момент у большинства грамматических категорий и форм<sup>24</sup>, и отказ от обращения к обобщенному грамматическому значению повел бы при анализе этих форм к обеднению и к искажению всей языковой действительности. Об этом свидетельствует хотя бы неудача тех крайних направ-

<sup>21</sup> А. А. П о т е б н я, Из записок по русской грамматике, I—II, М., 1958, стр. 39.

<sup>22</sup> Там же, стр. 431—516.

<sup>23</sup> Там же, стр. 107.

<sup>24</sup> Обобщенным грамматическим значением не обладают чисто формальные разряды слов, а также конструкции, служащие лишь для обеспечения «портативности» синтаксических единиц. См.: W. G. A d m o n i, Der deutsche Sprachbau, § 2; В. Г. А д м о н и, О «портативности» грамматических структур, сб. «Морфологическая структура слова в языках различных типов», М.—Л., 1963.

лений в структурализме, которые хотели исключить грамматическое значение из сферы рассмотрения грамматической теории.

Установление системы логико-грамматических типов предложения для какого-либо языка не означает отказа от выделения в предложении его традиционных членов — в частности, подлежащего и сказуемого. Эти члены предложения лишь конкретизируются в компонентах, из которых строятся логико-грамматические типы. Особенно важно это для номинативного подлежащего, которое дифференцируется. Оно расслаивается на подлежащее, от которого исходит процесс (как действие, так и состояние), выраженный в непереходном глаголе (в двусоставном глагольном предложении), на подлежащее, обозначающее предмет, который выявляется как часть более общего понятия, выраженного в предикативе, или отождествляется с этим понятием (в предложениях с предикативом-существительным) и т. д.

Тот факт, что некоторые логико-грамматические типы предложения лишь ограниченно участвуют в образовании некоторых типов (аспектов) предложения, не должен быть интерпретирован в том смысле, что предложения, входящие в эти логико-грамматические типы, вообще нейтральны по отношению к данным аспектам, как бы не участвуют в них. В каждом предложении присутствуют все аспекты предложения, существующие в соответствующем языке, хотя бы их нулевые немаркированные типы, — например, присутствует аспект полноты предложения (скажем, в форме отсутствия каких-либо отклонений от необходимого состава того или иного логико-грамматического типа), присутствует аспект связи с другими предложениями (хотя бы в форме отсутствия этих связей у простого самостоятельного предложения), присутствует аспект актуального членения предложения (хотя бы в форме отсутствия противопоставленности «данного» и «нового», т. е. в форме одночленности фразы, по терминологии Л. В. Щербы)<sup>25</sup> и т. д.

Именно потому, что при выделении логико-грамматических типов предложения обращение к обобщенному грамматическому значению соответствующих структур предложения необходимо, мы считаем и терминологически необходимым выявить в самом наименовании данных типов их специфическое содержание. В данном случае момент терминологический, сам по себе второстепенный и условный, приобретает существенное значение. Нам представляется, что как раз термин «логико-грамматический» выражает специфичность рассматриваемого нами типа предложения наилучшим образом.

Слово «логический» («логико-») несомненно весьма многозначно. Но со времен Гегеля понятие «логика» перерастает свое прежнее содержание, сводившееся к науке о правильности суждений и умозаключений, и логика начинает трактоваться как наука о формах мысли, соотносящихся с явлениями действительности. Именно в этом плане, но как отражение в фигурах логики реальных отношений действительности, трактуется логика марксизмом. А стремительное развитие логики как науки за последнее столетие, создание новых видов логики означает не только все более формализующийся («логицистический») характер логики, но и расширение ее содержательного понимания. В частности, развивается и логика отношений, превращающая, по сути дела, в объект логики такие языковые конструкции (логико-грамматические типы предложения), которые по своей структуре не совпадают с суждением в его классической форме, выражая иное отношение объективной действительности.

<sup>25</sup> См.: Л. В. Щ е р б а, Фонетика французского языка, 4-е изд., М., 1953, стр. 123—124. См. также: В. Г. А д м о н и, Двучленные фразы в трактовке Л. В. Щербы и проблема предикативности, ФН. 1960, 1.

На основании всего этого мы придаем термину «логический» в грамматике значение мыслительного содержания категорий и форм, сформулированного в терминах понятий вещей и отношений между вещами реальной действительности. Конечно, эти вещи и отношения выражаются в языковых формах не непосредственно, а лишь пройдя через мышление, отразившись в понятиях и отработанных связях между понятиями в человеческом мышлении. Но поскольку основная цель речевой коммуникации — это сообщение именно об отношениях между вещами и поскольку в сфере грамматических форм выражению подлежат чрезвычайно общие разряды вещей, явлений и т. д. и отношения между вещами, то представляется вполне возможным, как это давным-давно и практикуется в грамматике, при описании обобщенного грамматического значения пользоваться терминами реальной действительности (например, говорить об обобщенном значении предметности или субстанциональности при характеристике существительного). Поэтому те типы предложения, которые различаются между собой по форме своих необходимых компонентов и по обобщенному грамматическому значению этих компонентов в их взаимосвязи, т. е. по своему логическому (в вышеоговоренном смысле этого слова) значению, могущему быть обозначенным наименованиями реальных вещей и их отношений, мы считаем возможным именовать логико-грамматическими типами предложения. Когда речь идет, например, о типе предложения, образованном путем сочетания им. падежа — подлежащего с транзитивным глаголом и прямым дополнением, то характеристика обобщенного грамматического значения этой структуры как соотношения между производителем действия, действием и предметом действия (объектом) является логической характеристикой (опять-таки в том смысле, который мы выше придали слову «логический»), а весь этот тип точнее всего может быть обозначен как определенный логико-грамматический тип предложений.

Именно тот факт, что в типах предложения, которые мы называем логико-грамматическими, отразились — через посредство мышления — основные отношения объективной действительности, и является причиной того, что существует далеко идущая близость между наборами основных логико-грамматических типов в языках самого различного строя. Логика действительности, с которой человек неуклонно сталкивался в своей практической деятельности, отражалась в его сознании и запечатлевалась в структуре предложения несравненно раньше, полнее и шире, чем она получала теоретическое осмысление в человеческой науке о формах мышления. Да и само это теоретическое осмысление, т. е. развитие логики как науки, в немалой мере совершалось с непосредственной опорой на языковые, грамматические структуры, а именно на логико-грамматические типы предложения.

В современном языкознании весьма сильна, однако, тенденция вообще заменять классификацию типов предложения, учитывающую характер его необходимых членов, классификацией, целиком опирающейся на формальную схему синтаксической зависимости одних компонентов предложения от других. Идя по этому пути, так называемая «грамматика зависимостей» усматривает в предложении лишь один главный член — глагол, сочетательные потенции (валентность) которого и определяет формальные разновидности предложения<sup>26</sup>. Тем самым оказывается возможным обойтись без семантической характеристики типов (схем) предложения, т. е. без установления логико-грамматических типов предложения.

<sup>26</sup> См., например: L. Tesnière, *Éléments de syntaxe structurale*, Paris, 1959; Б. А. Абрамов, *Синтаксические потенции глагола (Опыт синтаксического описания глаголов современного немецкого языка как системы)*. Автореф. канд. диссерт., М., 1968.

Но такое сведение системы логико-грамматических типов предложения к правилам сочетаемости спрягаемого глагола резко противоречит природе предложения, вообще конкретным языковым фактам даже в тех языках, в которых есть глагол как четко оформленная морфологическая категория. Здесь должно быть учтено, по крайней мере, следующее:

1. Едва ли не во всех языках (в том числе индоевропейских, за пределы которых мы в данной статье выходить не будем) существуют логико-грамматические типы предложения, в которых глагол отсутствует. При этом отсутствие глагола является здесь не результатом эллипсиса, опирающегося на особые условия ситуации или контекста, а представляет собой закономерное, устойчивое явление. Наибольшее значение тут имеют два типа, представленные и в русском языке; бессвязочные предложения со значением тождества или включения более частного понятия в понятие более общее (*Он студент*) и предложения, оформленные существительными в им. падеже, со значением существования (односоставные номинативные бытийные предложения: *Ночь. Тишина*).

В отношении первого типа в применении к древнему состоянию индоевропейских языков Э. Бенвенист выдвинул весьма аргументированную концепцию, согласно которой бессвязочные предложения являются не усеченной формой связочных предложений, а особым типом, выражающим значения тождества, между тем как связочный тип выражает значение переменного признака<sup>27</sup>. Однако и независимо от проблемы генезиса бессвязочного типа предложений с именным предикативом в высшей степени существенно, что в системе современных индоевропейских языков возможны такие типы предложения, в которые нельзя включить связку. Конечно, и эти типы предложения в более широком плане существуют на фоне общей глагольности предложения, а отсутствие связочного глагола здесь можно истолковать как наличие нулевой связки, которая показывает исходные формы во временной системе (настоящее время) и в системе наклонений (изъявительное наклонение), о чем блестяще писал А. М. Пешковский<sup>28</sup>. Но в сфере синтаксиса есть также функции, которые вообще не могут быть выполнены нулевыми формами. Синтаксические единицы и особенно предложение как основная реальная единица речевой коммуникации, а в предложении его каркас, состоящий из необходимых компонентов предложения, должны быть построены как четко организованные, динамические структуры, обладающие устойчивостью и способные служить надежной опорой для наращиваемых на основной каркас предложения его второстепенных компонентов. Очевидно, что никакая нулевая, т. е. не получившая звукового выражения, форма служить такой реальной опорой для второстепенных компонентов предложения и вообще участвовать в построении конкретного каркаса предложения не может. Если рассматривать предложение с точки зрения языка как системы построения<sup>29</sup>, то считать в предложениях с нулевой связкой эту нулевую связку господствующим компонентом всего предложения попросту невозможно. Реальный структурный каркас предложения в рассматриваемых здесь бессвязочных структурах создается взаимоустремленными друг к другу подлежащим и предикативом. Конечно, при поддержке соответствующей интонации.

Столь же невозможным представляется нам примысливание какой-либо нулевой глагольности как момента, организующего предложение,

<sup>27</sup> E. Benveniste, La phrase nominale, «Problèmes de linguistique générale», Paris, 1966.

<sup>28</sup> А. М. Пешковский, указ. соч., стр. 259 и сл.

<sup>29</sup> См.: В. Г. Адмони, Основы теории грамматики, М.— Л., 1964, стр. 23—33.

к им. падежу, являющемуся необходимым (и часто единственным) компонентом в односоставных номинативных бытийных предложениях.

2. Взгляд на предложение как на структуру, целиком организуемую глаголом, и на все неглагольные компоненты предложения как на такие, которые зависят от глагола, приводит к полной «уравниловке» остальных компонентов предложения — в частности, им. падеж подлежащего оказывается всего лишь одним из «актантов» глагола<sup>30</sup>. Но в реальной структуре предложения роль им. падежа подлежащего фактически несопоставима с ролью других именных падежей, непосредственно связанных с глаголом. Формально и семантически не завися от глагола, даже вызывая, напротив, формальные сдвиги в форме глагола и предикатива (согласование по числу и по роду), этот падеж, вместе с тем, не абсолютен, а вводится в предложение именно для того, чтобы устремиться к глаголу (вообще к сказуемому, которое в свою очередь устремлено к подлежащему — естественно, в тех типах и разновидностях предложения, в которых вообще имеется подлежащее). Поэтому подлежащее и глагол (сказуемое), как это впервые было убедительно показано И. Рисом<sup>31</sup>, структурно равноправны, связаны как два «взаимоприсписываемые» друг другу компонента предложения, которые в своем соотношении и образуют (в тех типах, в которых оба они представлены) структурную основу предложения. Но нельзя ставить на одну доску и ряд других «актантов», в разных функциях сочетающихся с глаголом или связкой. Так, особое значение для образования предложения как коммуникативно завершеного единства имеет предикатив. Характерно, что предикатив в системе Л. Теньера к актантам не причисляется, но другие представители грамматики зависимостей рассматривают такую позицию как непоследовательную<sup>32</sup>. Кроме того, в своем стремлении к последовательности они считают и вспомогательный глагол господствующим над глагольными именами в сложных глагольных формах<sup>33</sup>. Таким образом, сведение структуры предложения к системе зависимостей, в центре которой стоит глагол, обедняет и искажает реальное положение вещей в структуре предложения. Если такое сведение может быть допущено при осуществлении каких-либо специальных задач исследования или прикладных задач языкознания, то как прием для познания подлинной природы структуры предложения такое сведение себя совершенно не оправдывает.

Структура предложения в своем основном, самом глубинном аспекте, где она предстает как структура, оформленная использованием необходимых для завершенности предложения словоформ разного вида, не может трактоваться как система формально-синтаксических зависимостей одних словоформ от других. Она может быть раскрыта в своем подлинном существе лишь как ряд конструкций, каждая из которых обладает особым сочетанием необходимых словоформ и возникающим из этого сочетания особым обобщенным грамматическим значением, т. е. она может быть раскрыта лишь как ряд логико-грамматических типов предложения, которые в каждом языке в своем построении соотносены друг с другом и опираются друг на друга, но все же не могут быть полностью сведены один к другому.

<sup>30</sup> См.: L. Tesnière, указ. соч., стр. 5.

<sup>31</sup> J. Ries, Was ist ein Satz?, Praga, 1931, стр. 64 и сл.

<sup>32</sup> G. Helbig, W. Schenkel, Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben, Leipzig, 1969, стр. 42—44.

<sup>33</sup> Там же.

Р. ЛЕРМИТ

О РАЗВИТИИ НОМИНАТИВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

1. В современном русском литературном языке имеются двусоставные предложения без связки, которые, согласно французской лингвистической традиции, удобно называть номинативными (именными) предложениями<sup>1</sup>. Имеются в виду предложения, построенные по схеме «подлежащее — отсутствующая связка — сказуемое, выраженное именем»<sup>2</sup>.

Известно, что одной из своеобразных черт синтаксического строя русского языка является регулярное употребление именного предложения в соответствии с предложением связочного типа в романо-германских и большинстве славянских языков; ср.: *Я профессор — Je suis professeur* — польск. *Jestem profesorem*; *Он болен — англ. He's ill* — серб.-хорв. *On je bolestan*; *Мы — французы — нем. Wir sind Franzosen* — чеш. *Jsmе Francouzi* и т. п.

Сопоставление таких русских высказываний с теми же предложениями в прошедшем или в будущем времени позволяет считать, что в них в настоящем времени представлена «нулевая связка» (*signe zéro*. О подразумеваемой глагола или его эллипсе здесь речи нет)<sup>3</sup>; правда, в этой форме иногда употребляется связка *есть*, а еще реже *суть*<sup>4</sup>, но такое употребление диктуется обычно стилистическими соображениями. Можно считать поэтому, что в русском языке существует корреляция, «неотмеченным» членом которой является предложение без связки, а «отмеченным» членом предложение со связкой. Противоположное положение наблюдается, например, во французском языке, в котором «неотмеченным» членом является предложение со связкой (*Je suis malade; Il est ingénieur*), а «отмеченным» — предложение без связки (*Moi malade?, Lui ingénieur?*).

В русском языке такая же корреляция наблюдается и в таких двусоставных предложениях, где сказуемое указывает на место, в котором находится субъект, ср.: *Где ты?*; *Мой сын в Москве* и под. Такие предложения также выступают в качестве «неотмеченного» члена корреляции; «отмеченным» членом можно считать предложение с глаголами *бывать, оставаться, проживать* или *сидеть, стоять, лежать* и под.

Следует отметить и те случаи, когда указывается лишь на существование субъекта. Употребление формы *есть* входит здесь в две корреляции: с одной стороны, в корреляцию *есть — нет*, основанную на семантическом противопоставлении, а с другой в корреляцию *есть — нулевая форма глагола*, основанную прежде всего на стилистической дифференциации.

2. Генетическое родство русских форм *есть* и *суть* с соответствующими формами в других индоевропейских языках побуждает обратиться к анализу названных русских номинативных предложений в диахроническом плане. Эти формы представляют собой остатки парадигмы спряжения

<sup>1</sup> В русской лингвистической традиции под номинативными предложениями обычно понимаются односоставные предложения. См.: О. С. А х м а н о в а, Словарь лингвистических терминов, М., 1969; J. M a r o u s e a u, Lexique de terminologie linguistique, Paris, 1951 (русск. перевод: Ж. М а р у з о, Словарь лингвистических терминов, М., 1960).

<sup>2</sup> Ср.: Ch. G u i r a u d, La phrase nominale en grec, Paris, 1962, стр. 15—16.

<sup>3</sup> См.: Ch. B a l l y, Copule zéro et faits annexes, BSLP, XXIII, 1, 6, 1922.

<sup>4</sup> См.: «Грамматика русского языка», 1, М., 1953, стр. 577.

глагола *быти* в настоящем времени (др.- русск. *есмь, еси, есть, есмь, есте, суть, есве, еста*)<sup>5</sup>. Современное предложение без связки с этой точки зрения как будто бы является результатом утраты форм настоящего времени глагола *быти* (за исключением *есть* и *суть*). Так ли это было?

Гипотезы о происхождении предложений без связки в русском языке можно разделить на три группы:

а) А. А. Шахматов, Г. О. Винокур, Л. А. Булаховский считают, что предложение с нулевой связкой характерно для всех индоевропейских языков<sup>6</sup>. По А. А. Шахматову, например, в древнейших языках индоевропейской семьи предложения со связкой относились к действительному настоящему времени, а предложения без связки употреблялись тогда, когда высказывание не имело временного значения (гномическое настоящее время). Если следовать этой теории, современный русский язык как будто сохранил архаическую черту, а употребление форм *есть* и *суть* в нем следует отнести за счет влияния старославянского языка.

б) Согласно гипотезам второго типа, развитие предложений без связки — относительно недавнее явление, результат действия внутриязыковых факторов. В. Пизани, А. И. Ефимов считают, что утрата связки прежде всего произошла там, где связка играла роль вспомогательного глагола, т. е. в перфекте<sup>7</sup>; это время, заменив аорист, потеряло свое результативное значение и стало единственной формой прошедшего времени в русском спряжении. Следуя за Ф. И. Буслаевым, А. И. Соболевский возводит утрату связки к возрастающему употреблению личных местоимений<sup>8</sup>. Я. А. Спришчак устанавливает соотношение между отсутствием связки и наличием форм, отмеченных по роду и числу (местоимения, прилагательные, причастия)<sup>9</sup>. В. И. Борковский считает, что отсутствие форм *есть* и *суть* в качестве связки являлось нормой для древнерусского языка; употребление форм 1 и 2-го лица диктовалось необходимостью указать на лицо<sup>10</sup>. П. С. Кузнецов пишет о том, что связка становится лишней в 3-м лице, где подлежащее чаще всего имеет морфологическое выражение<sup>11</sup>. Т. П. Ломтев синтезирует эти объяснения: «Во-первых, связка 3-го лица настоящего времени при наличии подлежащего, выраженного именем, первоначально употреблялась не систематично; во-вторых, связка настоящего времени во всех трех лицах систематически употреблялась первоначально только при неназванном подлежащем; в-третьих, в более позднюю эпоху личные местоимения стали более широко употребляться при личных формах глагола; это создало возможность падения личных форм вспомогательного глагола при причастии прошедшего времени на *-ль*; данная возможность превратилась в действительность под влиянием аналогии со стороны соответствующих конструкций с именем в подлежащем; следовательно, основная причина падения личных форм вспомогательного

<sup>5</sup> Воспроизводим здесь эту парадигму так, как она дается в исторических грамматиках русского языка.

<sup>6</sup> А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, ч. 1, Л., 1941, стр. 179—180 и сл.; Г. О. Винокур, Русский язык, М., 1945, стр. 15; А. А. Булаховский, Исторический комментарий к русскому литературному языку, Киев, 1958, стр. 445.

<sup>7</sup> V. Pizani, Zum russischen Nominalsatz, IF, 49, 1931, стр. 47—51; А. И. Ефимов, К истории форм прошедшего времени русского глагола, «Уч. зап. Пермск. гос. пед. ин-та», 2, 1937.

<sup>8</sup> А. И. Соболевский, Лекции по истории русского языка, М., 1905—1907, стр. 258 и сл.

<sup>9</sup> Я. А. Спришчак, Очерк русского исторического синтаксиса, Киев, 1960, стр. 63—66.

<sup>10</sup> В. И. Борковский, Синтаксис древнерусских грамот, 1, Львов, 1949, стр. 188 и сл.

<sup>11</sup> В. И. Борковский, П. С. Кузнецов, Историческая грамматика русского языка, М., 1963, стр. 283, 323—324, 332 и сл.

глагола при причастии на *-ль* состоит в распространении личных местоимений в функции подлежащего, а затем уже и во влиянии соответствующих конструкций»<sup>12</sup>.

в) Еще в начале нашего века французский языковед Р. Готье обратил внимание на сходство русского и финно-угорского языков центральной и северо-восточной России в широком употреблении предложений без связки<sup>13</sup>. В. Вондрак и Э. Леви объясняли это сходство или древними контактами между этими языками, или вероятным смешением древнерусской и финно-угорской народностей<sup>14</sup>. Недавно В. Венкер также отнес эту особенность синтаксического строя русского языка к тем чертам, в которых с некоторой степенью вероятности прослеживается финно-угорское влияние на русский язык<sup>15</sup>.

3. Столь разные объяснения побуждают обратиться к данным самой истории русского языка. Для этого мною было предпринято систематическое обследование древне- и старорусских текстов. Прежде чем приступить к такому анализу, пришлось ответить на некоторые предварительные вопросы.

Вопрос о *corpus'e* привлекаемых данных — их объеме и составе — решался таким образом, чтобы по возможности отвести факты старославянского влияния. Были исключены переводы с греческого языка, религиозные тексты. Подбор текстов ограничился летописями и грамотами до середины XVI в. Язык летописей довольно разнообразен, в них иногда воспроизводится речь персонажей, что дает сведения о 1 и 2-м лицах. Преимущество грамот состоит в их документально подтвержденной отнесенности к различным территориям. Было обследовано также «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, в котором отражается в известной степени живой русский язык конца XV в.

При подборе данных регистрировались все предложения с формами настоящего времени глагола *быти* и все предложения с нулевой степенью этого глагола, за исключением тех предложений, где представлен явственный «эллипс» глагола *быти* (например, в повторениях).

Для выявления подлинных предложений с нулевой связкой мы прибегали к ряду приемов: а) сопоставление с фразами одинакового содержания, имеющими форму настоящего времени глагола *быти*. На основе такого сопоставления, например, сделан вывод, что в предложении *Лучше умерети* имеется нулевая связка, поскольку в Синодальном списке Новгородской летописи мы находим под 1204 г.: *да лучше ны есть умрети*; б) сопоставление с фразами, где представлены формы прошедшего времени или будущего времени глагола *быти*; в) сопоставление с данными старославянского и других славянских языков. Можно, например, говорить о нулевой форме настоящего времени *быти* в предложениях с «самостоятельными предикативами» (категория состояния) на основании сопоставления со ст.-слав. *нѣжда есть, нелѣпо есть*, серб.-хорв. *hladno je*, чеш. *škoda je*.

Бывают, однако, случаи, когда однозначно судить о структуре предложения нет возможности; примером этого служат фразы типа *Се градъ*

<sup>12</sup> Т. П. Ломтев, Очерки по историческому синтаксису русского языка, М., 1956, стр. 60.

<sup>13</sup> R. G a u t h i o t, La phrase nominale en finno-ougrien, «Mémoires de la Société de Linguistique de Paris», 15, стр. 201—227; см. также: BSLP, 52, XIII, 1904, стр. XXVI—XXVII.

<sup>14</sup> W. V o n d r a k, Slavische Grammatik, II, Göttingen, 1928, стр. 431; E. L e v y, Betrachtung des Russischen, ZfslPh, II, стр. 415—437.

<sup>15</sup> W. V e e n k e r, Die Frage des finnougriischen Substrats in der russischen Sprache, Bloomington, 1967, стр. 109—117. В. Кипарский в своей рецензии на этот труд высказывает сомнения в возможности финно-угорского влияния на развитие такого типа предложения («Annales Academiae Scientiarum Fennicae», Helsinki, 1969).

*мои*. Можно видеть в слове *се* или указательное местоимение — тогда речь идет о фразе с нулевой связкой (ср. совр. *Это мой город*), или частицу (ср. *Вот мой город*) — в последнем случае предложение находится вне круга интересующих нас явлений. Подобным же образом фразы с *иже*, *яже*, *еже* допускают двойное толкование: или эти слова — относительные местоимения, и тогда это предложение с нулевой связкой, или это кальки греческого члена. Вопрос усложняется тем, что в старославянских текстах греческое предложение переводится двойко. Ср., например, Ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, которое переводится *Отъць вашъ иже в небесе/хъ* (Марк. XI, 26) и *иже есть на небесехъ* (Матф. XXIII, 9).

Анализ собранных данных проводился следующим образом. Исходя из принципиального различия, существующего между 1 и 2-м лицами, с одной стороны, и 3-м, с другой<sup>16</sup>, мы разделили данные на две соответствующие группы. Затем в соответствии с семантикой и функциональным значением глагола *быти* данные были распределены на пять групп: 1) предложения, в которых *быти* играет роль связки; 2) предложения, в которых *быти* является вспомогательным глаголом, т. е. употреблено в перфекте; 3) предложения, в которых *быти* указывает на местонахождение подлежащего; 4) предложения, в которых *быти* выражает существование подлежащего; сюда были включены и посессивные предложения, т. е. предложения, в которых подлежащее обозначает предмет обладания, а существительное или местоимение, указывающее на владельца, стоит в дат. падеже или входит в словосочетание с предлогом *у* (*мне ...*, *у меня есть*); 5) предложения, впоследствии давшие начало категории состояния.

Параллельно с этим данные были распределены и по временному признаку: было установлено три периода — до начала XII в., XII—XIV вв., до середины XVI в. Для каждого из этих периодов в соответствии с намеченными пятью группами был подсчитан процент употребления форм настоящего времени глагола *быти* и соответственно процент данных с нулевой формой этого глагола.

4. При анализе «языка летописей» использовались данные четырех текстов: «Повести временных лет», Устюжского летописного свода, Новгородской летописи и Галицко-Волынской летописи<sup>17</sup>. Что касается территориальной отнесенности летописей, то вне зависимости от места происхождения отдельных рукописей мы условно относили каждую летопись к той области, на территории которой происходили описываемые события. При отнесении летописей или их частей к выделяемым хронологическим периодам мы исходили из следующей рабочей гипотезы. Летописцы обычно писали о событиях немедленно после того, как они происходили; переписчики вносили потом в тексты поправки или изменения прежде всего орфографического или морфологического, а не синтаксического порядка. Эта гипотеза подтвердилась в ходе нашего исследования — с течением времени резко возросло употребление перфекта (в связи с утратой имперфекта и аориста).

Таким образом, данные «Повести временных лет» были отнесены целиком к первому периоду; данные Устюжского летописного свода и данные

<sup>16</sup> См., например: E. Benveniste, Structure des relations de personne dans le verbe, BSLP, XLIII, 1, 1946; е г о ж е, La nature des pronoms, «For Roman Jakobson», La Haye, 1956; е г о ж е, De la subjectivité dans le langage, «Journal de psychologie», juillet — août 1958. Подчеркнем, что если отсутствие связки в 3-м лице наблюдается как частное явление во многих языках, то оно почти не отмечено в 1 и 2-м лицах.

<sup>17</sup> «Повесть временных лет», М.—Л., 1950; «Устюжский летописный свод», М.—Л., 1950; «Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов», М.—Л., 1950; см. соответствующий текст в Ипатьевской летописи («Полное собрание русских летописей», II, 2-е изд., СПб., 1908).

Новгородских летописей были разделены на три группы по хронологическому признаку. Текст Галицко-Волынской летописи был отнесен ко второму периоду (он охватывает время от 1201 по 1290 г. в Ипатьевской летописи).

Выбор «Хожения за три моря» Афанасия Никитина объясняется тем, что своим содержанием этот памятник отличается от современных ему текстов, он принадлежит перу одного лишь автора (если не принимать в расчет возможные интерполяции) и, следовательно, представляет довольно много данных, относящихся к одному лицу. Из трех версий, воспроизведенных в издании 1958 г.<sup>18</sup>, была подвергнута анализу третья.

Отнесение грамот к определенному периоду и географической группе определялось годом и местом происхождения. Первую группу составляли северо-западные грамоты: 348 из них принадлежат сборнику Новгородских и Псковских грамот<sup>19</sup>; из шести томов с 485 грамотами на бересте, найденными при раскопках в Новгороде, полезный нам материал дали лишь 85<sup>20</sup>; к этой группе были отнесены шесть грамот из сборника Археографической экспедиции<sup>21</sup>, которые не были помещены в сборнике 1949 г., и грамоты, следующие за Новгородской первой летописью в Комиссионном списке.

Западную группу составили восемь Смоленских грамот XIII—XIV вв.<sup>22</sup>, две грамоты из Полоцка, взятые из «Актов Археографической комиссии», и 13 грамот, происходящие из городов, находящихся теперь на территории Белорусской ССР и Латвийской ССР (хотя эти грамоты помещены в двух сборниках украинских грамот)<sup>23</sup>.

Более 200 грамот происходят из Центральной России; они взяты из сборника Археографической комиссии. Самая древняя из них восходит к 1361 г., следовательно, подавляющее их большинство относится к третьему периоду.

В юго-западную группу вошли некоторые договоры, заключенные киевскими князьями (и несмотря на это, помещенные в Комиссионном списке вслед за Новгородской летописью), и грамоты из тех украинских сборников, о которых речь шла выше. Большинство из этих грамот происходило из Киева, Больни и Галиции, но некоторые из них относились к местностям, которые ныне находятся на румынской и польской территориях.

5. Всего было собрано 11 512 фактов: 7775 из грамот, 3328 из летописей и 409 из «Хожения за три моря». Анализ этих фактов был проведен с трех точек зрения: функциональной, семантической, временной и географической.

Вот результаты этого анализа.

**Ф у н к ц и я с в я з к и , 1 и 2-е л и ц а .** В нашем распоряжении было лишь 269 фактов, относящихся к этим лицам, т. е. 3% всех данных:

<sup>18</sup> «Хожение за три моря Афанасия Никитина», М., 1958.

<sup>19</sup> «Грамоты Великого Новгорода и Пскова», М.—Л., 1949.

<sup>20</sup> А. В. А р ц и х о в с к и й, М. Н. Т и х о м и р о в, Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951 г.), М., 1953; А. В. А р ц и х о в с к и й, Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952 г.), М., 1954; А. В. А р ц и х о в с к и й, В. И. Б о р к о в с к и й, Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953—54 гг.), М., 1958; А. В. А р ц и х о в с к и й, В. И. Б о р к о в с к и й, Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956—57 гг.), М., 1963; А. В. А р ц и х о в с к и й, В. И. Б о р к о в с к и й, Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1958—61 гг.), М., 1963.

<sup>21</sup> «Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи Археографической экспедицией Императорской Академии Наук», СПб., 1836.

<sup>22</sup> «Смоленские грамоты XIII—XIV вв.», М., 1963.

<sup>23</sup> «Українські грамоти», Київ, 1928; «Українські грамоти 15 ст.», Київ, 1965.

187 из летописей, шесть из «Хожения» и 76 из грамот. На северо-западе процент употребления связки остается очень высоким по трем установленным периодам: 85, 69, 95; сходное положение наблюдается и на юго-западе: 81, 74, 94; в центре, наоборот, наблюдается резкий спад: 60,—, 32 (нет данных для второго периода). Тот факт, что связка почти всегда употребляется в 1 и 2-м лицах в текстах северо-запада и юго-запада, свидетельствует о консервативном характере языка в этих областях, тогда как язык центра оказался в большей мере подверженным инновациям.

3-е л и ц о. Связка употребляется относительно часто в первом периоде (в 66% случаев на северо-западе и на юго-западе, лишь в 42% случаев в центре). Затем процент употребления связки падает до нуля (если пренебречь несколькими исключениями) в центре (быстро) и на северо-западе (медленно), но остается довольно высоким на юго-западе: 40% для второго периода и даже 60% для третьего; этот подъем объясняется началом второго югославянского влияния и польским влиянием.

Ф у н к ц и я в с п о м о г а т е л ь н о г о г л а г о л а ; 1 и 2-е л и ц а. Исследование текстов показывает стабильность употребления вспомогательного глагола (свыше 70%). Поскольку три четверти всех данных, относящихся к этой категории, принадлежит грамотам, то постоянное употребление форм *есмь*, *еси* можно объяснить прежде всего повторением стереотипных, шаблонных формул.

3-е л и ц о. Утрата форм *есть* и *суть* в качестве вспомогательного глагола шла быстрым темпом. Если в первом периоде процент употребления этих форм колеблется между 54 (на северо-западе) и 18 (в центре) (36 на юго-западе), то он равняется нулю уже во втором периоде в центре и в третьем периоде на северо-западе.

Тексты юго-западного происхождения — несмотря на спад процента, который все-таки никогда не доходит до нуля — имеют относительно консервативный характер.

Ф у н к ц и я у к а з а т е л я м е с т о н а х о ж д е н и я. Это почти исключительно предложения с глаголом в 3-м лице. Процент употребления глагола *быти* остается значительным, что соответствует современному положению в «отмеченных» предложениях. Однако и при этой функции глагола проявляется языковая консервативность юго-запада; даже в третьем периоде процент употребления формы *есть* в памятниках этой области превышает 70.

Ф у н к ц и я у к а з а т е л я с у щ е с т в о в а н и я (и у п о т р е б л е н и я г л а г о л а в п о с е с с и в н ы х о б о р о т а х). Форма *есть* не исчезает полностью, что соответствует современному состоянию. В 3-м периоде отмечается лишь 6% случаев употребления *есть* на северо-западе и 13% в центре, в то время как на юго-западе эта форма представлена в 86% случаев.

О б о р о т ы, и з к о т о р ы х р а з в и л а с ь « к а т е г о р и я с о с т о я н и я ». На эту группу приходится 21,4% всех данных, так как сюда входят предложения долженствования с инфинитивом плюс дат. падеж. *Есть* полностью отсутствует в текстах центра уже во втором периоде, а в текстах северо-запада — в третьем. Процент употребления формы *есть* в памятниках юго-запада почти не изменяется от первого к третьему периодам (колеблется между 15 и 11%).

6. И так, получается довольно противоречивая картина: в 3-м лице русский язык очень быстро пришел к тому состоянию, которое преобладает и в наше время — к отсутствию связки и вспомогательного глагола; в случаях, когда *быти* сохраняет конкретное значение, его употребление соответствует теперешним нормам, т. е. противопоставлению «отмеченных» и «неотмеченных» предложений. Употребление формы *есть* в оборотах,

из которых развивалась категория состояния (довольно редкое), в древнейших памятниках следует рассматривать как старославянизм.

В то же время в 1 и 2-м лицах язык остался очень консервативным: в качестве вспомогательного глагола *быти* употребляется в текстах XVI в. еще в 75% случаев; употребление *быти* в качестве связки (правда, собрано мало данных) резко сокращается в Центральной России, но положение остается почти неизменным в других областях.

Действительно ли было так? Или это противоречие относится лишь к письменному языку? Чтобы ответить на эти вопросы, мы решили сопоставить полученные результаты с данными текстов XVII в. — сочинений Аввакума и писем из фонда А. И. Безобразова<sup>24</sup>.

Результаты сопоставления показательны. У Аввакума, как правило, отсутствует вспомогательный глагол в 1-м лице ед. числа (442 сл.) и мн. числа (972 сл.). Во 2-м лице он употребляется редко: в 10% случаев в ед. числе (71 сл.) и в 20% случаев во мн. числе (20 сл.) — и при этом всегда в стилистических целях, например: «Што опечалися еси?», «пался еси великъ, а не всталъ» и т. д. Связка же отсутствует в 70% случаев в 1 и 2-м лицах, а там, где она употребляется, можно легко убедиться в ее стилистическом назначении, например: «То выблядки, а не сынове есте», «яко бы еси Христость», «какогого духа еста вы», «иесь есмь язъ» и т. д. Такое употребление глагола *быть* является старославянизмом (что доказывается присутствием таких слов, как *яко*, *язъ*, *сынове*). Данные памятников народно-разговорного языка еще более показательны. Из всех 677 случаев, относящихся к 1 и 2-му лицам, мы нашли только один случай употребления формы настоящего времени глагола *быть*: «Се яз... Алексей Тимофеев... да аз Исак Иванов... выручили есми...», причем в составе стереотипной юридической формулы.

Нельзя предполагать, что язык так резко изменился за несколько десятилетий; нам приходится прийти к заключению, что довольно высокий процент употребления форм настоящего времени глагола *быть*, представленный в грамотах первой половины XVI в., свойствен лишь письменному языку, что речь идет только об архаизмах, о шаблонных оборотах. Можно утверждать, что отсутствие форм 1 и 2-го л. настоящего времени глагола *быти* уже давно было фактом живого русского языка, даже если оно и произошло после утраты связки и вспомогательного глагола в 3-м л.

7. В заключение вернемся к тем гипотезам, о которых говорилось в начале этой статьи, и рассмотрим их в свете полученных результатов.

Первая гипотеза (номинативный строй предложения в русском языке является индоевропейским наследием). Никакому другому индоевропейскому языку — древнему или современному — не свойственно представленное в русском регулярное отсутствие форм настоящего времени глагола *быть* 1 и 2-го лиц. Если видеть в современном состоянии русского языка древнюю особенность, то надо отнести ее к какому-то неизвестному периоду истории индоевропейских языков. В древнейших русских текстах отсутствие формы настоящего времени глагола *быти* было очень редким даже и в 3-м лице. Это не соответствует индоевропейской гипотезе. Если же рассматривать употребление форм настоящего времени глагола *быти* в этих текстах как старославянизм, то как в таком случае объяснить тот факт, что только русский язык — среди всех индоевропейских языков и среди всех славянских языков — сохранил это гипотетическое праязыковое индоевропейское состояние?

<sup>24</sup> П р. А в в а к у м, Житие, челобитные к царю, переписка с боярыней Морозовой, Париж, 1951; «Памятники русского народно-разговорного языка XVII ст. (из фонда А. И. Безобразова)», М., 1965.

Вторая гипотеза (о роли внутриязыковых факторов в утрате настоящего времени *быти* в русском языке). Рассмотрим эти факторы. Могло ли отсутствие формы глагола в 3-м лице распространиться на другие лица? И по значению, и по функционированию 3-е лицо резко отличается от других лиц. Кроме того, во всей индоевропейской семье наблюдается как раз генерализация употребления связки в 3-м лице, т. е. наблюдается картина, обратная эволюции русского языка.

Далее, могло ли употребление личных местоимений вызвать утрату форм настоящего времени глагола *быти*, ставших ненужными? В ряде языков, например во французском, английском, немецком и других, употребление личных местоимений стало обязательным в совокушности со спрягаемыми формами глаголов, утраты форм настоящего времени глаголов *être, to be, sein* при этом не происходило.

Результаты наших исследований показали, что трудно установить какую-либо закономерность относительно употребления местоимений и при отсутствии форм настоящего времени глагола *быти* и, наоборот, употребления таких форм при отсутствии местоимений. Иногда наблюдается наличие обоих слов, причем придать этой «избыточности» какое-либо стилистическое значение не удается. Отметим, что в произведениях Аввакума и в текстах фонда Безобразова нередко отсутствуют и местоимение, и глагол. Можно утверждать, что не генерализация употребления местоимений вызвала утрату форм настоящего времени глагола *быть*, а наоборот, утрата этих форм сделала употребление местоимений обязательным.

Что касается объяснения, согласно которому замена аориста и имперфекта перфектом повлекла за собой утрату вспомогательного глагола, так как в этих временах употреблялись простые формы, то его тоже следует признавать малоубедительным. В других славянских языках — например в польском, чешском — также имела место утрата аориста и имперфекта и замена их перфектом. Однако формы глагола *był, był* продолжали употребляться.

Объяснение утраты форм настоящего времени глагола *быти* вследствие фонетической редукции, которая стала возможной благодаря их энклитическому характеру, противоречит фактам. В наших исследованиях мы не обнаружили никаких следов такой редукции. Кроме того, в тех языках, в которых подобная редукция наблюдалась, формы настоящего времени глагола *быть* все же сохранились. В польском языке, например, фонетическая редукция (вследствие которой формы настоящего времени глагола *był* иногда редуцировались до одной фонемы) вызвала образование новой парадигмы на основе *jest*. Подобное явление имело место и в сербскохорватском языке, в котором сосуществуют две парадигмы настоящего времени глагола *быти* — одна под ударением, другая энклитическая.

Остается третья гипотеза (о действии внешелингвистических факторов, т. е. о влиянии финно-угорского субстрата). Можно полагать, что обрусевшее финно-угорское население сохранило некоторые лингвистические «автоматизмы», в числе которых был и «номинативный» строй предложения<sup>25</sup>; в ходе метизации такие особенности могли распространиться и среди исконно славянского населения, особенно при наличии лингвистических структур, формально совпадавших с этими особенностями. Примером такой структуры может служить возможное отсутствие связки в 3-м лице, встречавшееся в древнеславянском языке и вообще в древних индоевропейских языках. Тот факт, что изучаемое явление раньше всего и быстрее всего развивалось в Центральной России, повышает ве-

<sup>25</sup> О распределении финно-угорских языков на основе развития номинативного предложения см. мою статью «La phrase nominale en russe et les constructions voisines dans les langues finno-ougriennes» («Studia Slavica Hung.», XVII, 3—4, 1971).

роятность этой гипотезы, но ее принятие в свою очередь ставит новые вопросы. Что известно об этом древнем финно-угорском населении? Если имелось влияние какого-то финно-угорского субстрата, то оно, вероятно, оставило и другие следы в русском языке. Но какие?

Финно-угорское население Центральной России когда-то занимало территорию, более широкую, чем сегодня. Средневековые летописи, например «Повесть временных лет», дают названия финно-угорских народностей, живших в конце I тысячелетия н. э. на этой территории. Археологические, антропологические, топонимические — особенно гидронимические — данные подтверждают эти указания<sup>26</sup>. Можно считать доказанным тот факт, что в I тысячелетии н. э. финно-угорские народности занимали всю территорию от Балтийского моря до Урала. П. Н. Третьяков пишет: «Последние века I тыс. н. э. были временем проникновения славян также и в Волго-Окское междуречье, и не только в его западные и центральные области, куда еще раньше проникло балтийское население, но и в восточные и южные области, принадлежавшие финно-угорским племенам — мере, муроме и северным мордовским группировкам. По течению Волги вплоть до района Ярославля распространились поселения Кривичей (с длинными курганами). В область Средней Оки и в смежные местности в эти же столетия продвигались верхнеокские Вятичи, потеснившие на Оке многочисленное мордовское население. С севера по водным путям, соединяющим Балтийский бассейн с Поволжьем, спускались группы населения из Приильменя. Мощная волна колонизации, охватившая восточные финно-угорские области Волго-Окского междуречья — будущие Ростово-Суздальскую и Муромскую земли, — относится к X—XII вв... В последующие столетия здесь развернулся процесс ассимиляции мерянского, муромского и другого финно-угорского населения, завершившийся лишь к XIV—XV вв. н.э.»<sup>27</sup>.

На второй вопрос можно ответить, ссылаясь на те труды, в которых постулировалось возможное влияние финно-угорского субстрата на развитие русского языка, и прежде всего его фонетики<sup>28</sup>, и особенно на книгу В. Веенкера. В этой книге особенности русского языка, которые можно объяснить финно-угорским влиянием, делятся на три группы: 1) особенности, для которых такое объяснение достоверно; 2) особенности, для которых оно вероятно; 3) особенности, для которых оно возможно. К первой группе он относит аканье, номинативное предложение, способы выражения пассивности (замена глагола *имѣти* оборотами типа *у меня, у тебя ... есть*) (для литературного языка); переход от *о* к *ѡ*, *е* к *ѣ*, цоканье, ударение на первом слоге, употребление морфемы сравнения с именами существительными, предложения типа *земля пахать*, употребление некоторых аффиксов (для диалектов).

Итак, даже отказавшись видеть в субстрате нечто вроде *dei ex machina*, можно считать гипотезу о роли финно-угорского субстрата в развитии номинативного предложения в русском языке одной из убедительных.

<sup>26</sup> См.: Е. И. Горюнова, Этническая история Волго-Окского междуречья, М., 1962; «Происхождение и этническая история русского народа», М., 1962 (здесь указывается на то, что с антропологической точки зрения мордва ближе финно-угорскому населению Прибалтики, чем другим финно-угорским народностям); В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев, Лингвистический анализ гидронимов верхнего Поднепровья, М., 1962; П. И. Третьяков, Финно-Угры, Балты и Славяне на Днестре и Волге, М.—Л., 1966.

<sup>27</sup> П. Н. Третьяков, указ. соч., стр. 305.

<sup>28</sup> Р. И. Аванесов, Очерки русской диалектологии, ч. 1, М., 1949, стр. 35; П. Я. Черных, Историческая грамматика русского языка, М., 1954, стр. 136; В. И. Лыткин, Еще к вопросу о происхождении русского аканья, ВЯ, 1965, 4.

Г. Н. АКимова

РАЗМЕР ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАК ФАКТОР СТИЛИСТИКИ  
И ГРАММАТИКИ

(На материале русского литературного языка XVIII в.)

0.1. Изучение размера предложения (РП), начатое почти одновременно на материале различных языков, связано прежде всего с развитием статистических методов исследования<sup>1</sup>. РП на материале русской художественной и научной прозы XIX в. исследовались М. В. Карпенко и Г. А. Лесским. В работах как отечественных, так и зарубежных исследователей основное внимание обращается на стилистический аспект проблемы. Было установлено, что научные и художественные тексты различаются средними РП и это различие является устойчивым жанровым показателем, превосходящим возможные авторские отклонения, которые обычно не выходят за границы внутрителивых различий. В чисто стилистические исследования включался и диахронический аспект. На различных хронологических отрезках (от 50—60 лет до полутора столетий) показано изменение РП в разных письменных стилях литературных языков в сторону их уменьшения<sup>2</sup>. Это диахроническое наблюдение подается также обычно в стилистическом плане и чаще всего объясняется влиянием разговорной речи на те или иные функциональные стили письменных литературных языков.

0.2. Наиболее отчетливо противопоставляется преимущественно стилистическому подходу точка зрения на качественный и количественный методы в работах В. Г. Адмони, настойчиво подчеркивающего, что в грамматических исследованиях важны поиски именно грамматических, языковых, системных отношений, связанных с количественной стороной<sup>3</sup>. Сочетая оба метода, В. Г. Адмони в своей монографии показал изменения в объеме предложения в различных жанрово-стилистических разновидностях немецкого литературного языка в исторической перспективе и обычно стоящие за этим изменения в словосочетаниях. В подобном же духе выполнены работы, посвященные более частным синтаксическим проблемам: например, РП рассматривается в связи с изучением синтаксической слож-

<sup>1</sup> Библиографию см.: В. Г. Адмони, Развитие структуры предложения в период формирования немецкого национального языка, Л., 1966; а также: К. Г. Павлова, Проблема объема предложения (словосочетания) в лингвистической литературе, «Ин. яз. в шк.», 1971, 2.

<sup>2</sup> См., например: О. Б. Сиротина, Некоторые жанрово-стилистические изменения советской публицистики, «Развитие функциональных стилей современного русского языка», М., 1968; Н. В. Крачук, К вопросу о количественном исследовании размера предложения, «Материалы XIX научно-теоретической конференции [Миинского педин-та иностр. языков]. Языкознание», 1967.

<sup>3</sup> В. Г. Адмони, Качественный и количественный анализ грамматических явлений, ВЯ, 1963, 4; е го ж е, Размер предложения и словосочетания как явление синтаксического строя, ВЯ, 1966, 4; е го ж е, Еще раз об изучении количественной стороны грамматических явлений, ВЯ, 1970, 1.

ности предложения<sup>4</sup>. Следует, однако, отметить, что жанрово-стилистический аспект все-таки всегда остается в поле зрения синтаксистов даже при большом внимании к собственно грамматической, т. е. качественной стороне проблемы.

1.0. Представляется, что изучение длины предложения стоит на особом месте сравнительно со статистическим обследованием других сторон синтаксической системы языка. Если наблюдения над «статистическим поведением», например, видов простого предложения, обособленных конструкций, сложных предложений и т. д., так или иначе сводятся к частотности употребления уже известных конструкций в определенных речевых ситуациях (т. е. к стилистическому плану), то РП представляет как бы самостоятельную и новую проблему, имеющую стилистический аспект, но значительно больше повернутую к грамматике. В самом деле, из скольких слов может состоять предложение? Очевидно, это зависит прежде всего от грамматики, т. е. видов синтаксических структур, где на крайних точках возможны одно- и двусловные предложения и большие сложные конструкции, включая различные формы периода. Распространенность как простого, так и сложного предложения также связана с грамматическим фактором — видами словосочетаний, различной способностью к развертыванию или расширению синтагм в зависимости от категориальных свойств слов и их валентности. Выбор же конструкций, степень их расширения зависят от задач коммуникации, которые непосредственно проявляются в жанрово-стилистических разновидностях языка. «Однако даже для возможности использования расширения в стилистических или экспрессивных целях необходимо существование некоторого среднеграмматического потенциала данной синтаксической модели»<sup>5</sup>.

1.1. Интерес к объему предложения именно на материале языка XVIII в. объясняется тем, что синтаксические конструкции различных письменных жанров этой эпохи, особенно относящиеся к высокому слогу, производят впечатление тяжелых, громоздких, предложения представляются чрезвычайно большими. Нами обследованы размеры предложения в языке М. В. Ломоносова, крупнейшего поэта и ученого, нормализатора русского литературного языка, оставившего большое и разнообразное наследие. Были сделаны выборки из произведений основных жанров, представленных в творчестве Ломоносова<sup>6</sup>: научная проза («Древняя российская история», сокращенно — ДРИ, т. 6—3 выборки; «Слово о явлениях воздушных», сокращенно — Сл. о я. в., т. 3—2 выборки), деловая проза («Краткая история о поведении академической канцелярии», т. 10), письма (т. 10), ораторская проза («Слово похвальное Елизавете Петровне 1749 г.» [Слово Е. П.], «Слово похвальное памяти Петру Великому 1755 г.» [Слово П. В.], «Слово благодарственное Елизавете Петровне 1760 г.» и «Слово благодарственное на освящение Академии художеств 1764 г.» [Слова благ.]<sup>7</sup> т. 8), оды (т. 8). Для сравнения были привлечены произведения других авторов середины XVIII в.: А. П. Сумароков<sup>8</sup> — научная проза («Первый и главный стрелецкий бунт», т. 6), ораторская проза (6 похвальных слов, т. 2),

<sup>4</sup> Г. Я. Мартыненко, Статистическое исследование синтаксической сложности предложения (на материале болгарского языка), сб. «Информационные вопросы семиотики, лингвистики и автоматического перевода», 1, М., 1971.

<sup>5</sup> В. Н. Ярцева, Пределы развертывания синтаксических структур в связи с объемом информации, «Инвариантные синтаксические значения и структура предложения», М., 1969, стр. 174.

<sup>6</sup> Использовано Полн. собр. соч. в 10 томах, изд. АН СССР, 1950—1959.

<sup>7</sup> «Слова благодарственные» объединены прежде всего потому, что они близки по времени написания и синтаксическому строю, кроме того, они составляют одну выборку по объему (30 тыс. знаков).

<sup>8</sup> Использовано Собр. соч. в 10 т., изд. Новикова, М., 1781—1787 г.

Таблица 1

Автор	$\bar{n}$	$\bar{n}_s$	$\bar{n}_c$	$\bar{n}_{so}$	M	$\bar{C}$	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>
I. Научная проза												
Ломоносов, ДРИ	20,5	12,9	25,9	9,9	58,1	2,62	4,3	3,8	50	7,1	6,6	86,3
Ломоносов, Сл. о я. в.	26,4	13,6	29,8	9,5	78,5	3,13	1,6	2	74,9	2,1	2,7	95,2
Тредьяковский	23	13,1	29,9	10,1	59,2	2,95	5,9	8,9	44,4	10	15	75
Сумароков	31,4	21,1	36,5	10,4	66,6	3,50	7,8	12,8	46	11,7	19,6	68,7
Крашенинников	32,4	16,4	34,9	8,7	86,4	4	0,7	6,7	79	0,8	7,8	91,4
Лепехин	25,1	14,5	29	9,5	72,5	3	2,2	8,3	62	3	11,3	85,7
II. Деловая проза												
Ломоносов	29,8	14,6	34,7	10,3	76,6	3,3	0,6	6	70	0,7	7,9	91,4
III. Письма												
Ломоносов	25,8	13,9	31,4	10,2	68,3	2,9	1,1	2,8	64,4	1,6	4,1	94,3
IV. Ораторская проза												
Ломоносов, Слово Е П	33,9	17,5	44,6	12,4	61	3,45	7,9	9,3	43,8	12,9	15,2	71,9
Ломоносов, Слово П В	22,3	12,3	33,4	10,7	47,2	3	9,2	3,4	34,6	19,7	7,2	73,1
Ломоносов, Слова благ.	26,2	19,6	31,1	11,6	56,1	2,4	4,4	1,1	50,6	8,5	2,1	89,4
Сумароков	21,7	13,4	25,2	8	69,3	3,1	13,2	14,4	41,7	18,9	20,6	60,5
V. Оды												
Ломоносов	16,4	9,1	22,7	7,8	52,8	2,9	15,2	7,2	30,4	28,7	13,7	57,6
Сумароков	18,3	12	21,5	6,7	67	3,2	30,8	9,2	27	45,6	13,7	40,7

оды (т. 2); В. К. Тредьяковский<sup>9</sup> — научная проза («Рассуждение о варягах-россах», т. 3); «Описание земли Камчатки» С. Крашенинникова, т. 1<sup>10</sup>; «Дневные записки путешествия Ив. Лепехина по разным провинциям российского государства», ч. 1<sup>11</sup>. Объем выборки исчислялся в печатных знаках, всего было сделано 17 выборов, в каждой — 30 тыс. печ. знаков.

Обследованный материал охватывает далеко не все жанровые разновидности русского литературного языка XVIII в., а только такие, которые представлены в творческом наследии Ломоносова. Однако и обследованные разновидности литературного языка XVIII в., относящиеся в основном к высокому и среднему слогу, достаточно разнообразны и позволяют сделать как грамматические, так и стилистические наблюдения.

1.2. Какие количественные характеристики существенны и наиболее приняты для определения РП? Обычно используют понятие среднего размера, причем предложение часто рассматривается недифференцированно относительно его структуры. Такое предложение В. Г. Адмони называет «цельным предложением». Средний размер цельного предложения имеет прежде всего существенное значение для стилистической характеристики текста, ибо читательское восприятие синтаксической сложности, легкости/громоздкости текста в значительной степени основывается на длине цельного предложения.

<sup>9</sup> Использовано Собр. соч. в 3 т., изд. Смирдина, СПб., 1849.

<sup>10</sup> Использовано изд. АН, СПб., 1755.

<sup>11</sup> Использовано изд. АН, СПб., 1795.

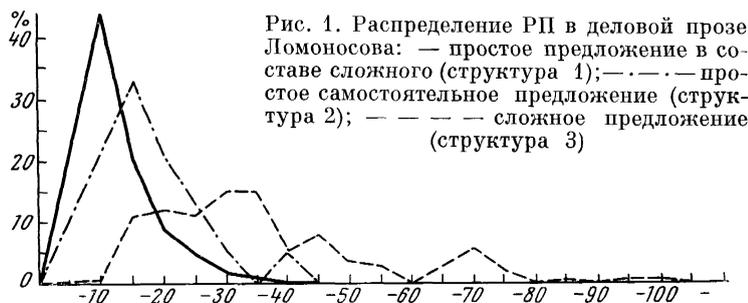
Средний размер цельного предложения в исследуемом материале представлен в табл. 1. Минимальное предложение — 1 слово, максимальное — 226 слов (Слово Е. П.). По данным средних размеров цельного предложения можно сделать лишь самые приблизительные, ориентировочные стилистические наблюдения. Для более углубленного стилистического и грамматического анализа следует рассмотреть РП в зависимости от грамматического статуса самих предложений. Совершенно очевидно, что простые и сложные предложения должны различаться своим средним объемом и что соотношение простых и сложных предложений в тексте (так называемый коэффициент сложности) чрезвычайно тесно связано со средним размером цельного предложения. Однако на средний размер влияют и другие факторы грамматического порядка. В целях выявления грамматического фактора в характеристике РП рассмотрены отдельно предложения простые и сложные, употребленные самостоятельно, простые предложения в составе сложных и в процентах указаны разновидности сложных предложений (бессоюзные, сочиненные, подчиненные). В табл. 1 для удобства сравнения приняты обозначения, предложенные Г. А. Лесским<sup>12</sup>:  $\bar{n}$  — средний размер цельного предложения;  $\bar{n}_s$  — средний размер простого самостоятельного предложения;  $\bar{n}_c$  — средний размер сложного предложения;  $\bar{n}_{so}$  — средний размер простого предложения в составе сложного;  $M$  — коэффициент сложности (процент сложных предложений в тексте);  $M_1$ ,  $M_2$ ,  $M_3$  — процент бессоюзных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений относительно всех предложений текста;  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  — процент бессоюзных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений относительно количества всех сложных предложений текста;  $C$  — средняя сложность сложного предложения, полученная делением количества простых предложений в составе сложных на количество сложных предложений.

1.3. Данные табл. 1 наглядно демонстрируют известную закреплённость среднего размера трех основных грамматических структур: простого самостоятельного предложения, сложного предложения и простого в составе сложного. В среднем по всем жанрам сложное предложение крупнее простого самостоятельного примерно в два раза, причем это не зависит от средней сложности ( $C$  в среднем равна 3). Дело в том, что простое предложение в составе сложного в среднем в полтора раза меньше простого самостоятельного предложения. Этот факт можно объяснить тем, что наибольший процент придаточных в сложноподчиненных предложениях составляют присловные (изъяснительные и определительные), т. е. восполняющие определенную незанятую позицию в составе главного предложения. Таким образом, если принять средний размер простого предложения в составе сложного за 1, то соотношение с простым самостоятельным и сложным предложением будет выглядеть как 1 : 1,5 : 3. Это соотношение наиболее отчетливо в прозаических, особенно нехудожественных стилях (научном, деловом, эссеистическом). В одах и отчасти ораторской прозе соотношение между размером простого предложения в составе сложного и сложным остается тем же, но соотношение между простыми предложениями в самостоятельном и несамостоятельном употреблении, например, у Ломоносова, нарушаются — 1 : 1,2 : 3, что связано с большим процентом бессоюзных и сложноподчиненных предложений в художественных жанрах и большим количеством сочинительных групп в составе простых самостоятельных предложений. Наиболее отчетливо видны различия в раз-

<sup>12</sup> Г. А. Л е с с к и с, Некоторые статистические характеристики простого и сложного предложения в русской научной и художественной прозе XVIII—XX вв., «Р. яз. в нац. шк.», 1968, 2.

мерах трех основных синтаксических конструкций, представленные на рис. 1, где показано распределение РП в деловой прозе Ломоносова. На оси  $x$  отмечено количество слов (класс-интервалы включают по пять слов), на оси  $y$  — распределение предложений в процентах. Подобное распределение РП проведено по всему обследуемому материалу и имеется в виде графиков.

Структуры (1) (простое предложение в составе сложного) обладают наибольшей компактностью, наибольшей высотой эксцесса (до 50%) и острым левоскошенным углом. Наиболее частотный размер структуры (1) варьируется в небольших пределах (4—7 слов), и это устойчиво у всех авторов и во всех жанрах. Правый склон в распределении структуры (1)



более пологий и обычно плавно идет на скос. Структура (2) (простое самостоятельное предложение) располагается в других интервалах — правее, эксцесс меньше (не превышает 40%). В среднем наиболее частотный размер самостоятельного простого предложения по всем жанрам 8—14 слов. Структура (2) обладает меньшей компактностью, левая ветвь часто протяженнее, чем в структуре (1). Структура (3) (сложное предложение) еще более сдвинута вправо. Наиболее частотный размер сложного предложения в среднем располагается в интервале от 15 до 30 слов. Распределение размеров сложного предложения менее компактное, чем в структурах (1) и (2). Эксцесс малый (максимум 25%). В графическом изображении структуры (3) возможны точки обрыва и часто вправо тянется «хвост». Линия структуры (3) часто имеет не одну моду, а две или несколько, т. е. заметна тенденция к полимодальности.

Наблюдения над распределением РП приводит к следующим общим выводам: 1) средний РП всегда расходится с наиболее частотным и с модой, причем всегда в одном направлении ( $\bar{X} > Mo$ ). Для структур (1) и (2) это объясняется левоскошенным углом, для структуры (3), кроме того, и частым длинным «хвостом» вправо, тенденцией к полимодальности; 2) чем меньше по объему синтаксическая конструкция, тем компактнее, тем меньше варьируются ее средний и наиболее частотный размеры. Именно в сложном предложении, где вариации объединения простых предикативных единиц чрезвычайно разнообразны как с качественной, так и с количественной стороны, интервал колебаний в наиболее частотных размерах более значителен, точные количественные границы более зыбки. В известной мере это согласуется с вычисленным Г. А. Лесским средним квадратичным отклонением на материале научной и художественной прозы XVIII — XX вв.: в научной прозе для трех рассматриваемых структур  $\sigma$  составляет соответственно 0,29; 0,61; 1,07, для художественной прозы — 0,15; 0,27; 1,08<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Г. А. Л е с с к и с, указ. соч., стр. 76.

1.4. Характеристикой синтаксической структуры является и размер определенных предикативных единиц в составе сложного предложения. На табл. 2 представлены средние размеры различных простых предложений в составе сложного. Обращает на себя внимание сопоставление следующих данных: простые предложения в составе бессоюзных и сложносочиненных обычно короче главных в составе сложноподчиненных. Это различие наблюдается почти у всех авторов, в том числе и в тех жанрах, где бессоюзные и сложносочиненные предложения составляют значительный процент, например, в ораторской прозе и одах. Исключение составляют научная проза Тредьяковского и «Слово о явлениях воздушных» Ломоносова. Традиционное представление о сравнительной самостоятельности частей бессоюзных и особенно сложносочиненных предложений и их близости к самостоятельному простому предложению должны были бы выразиться в обратном соотношении. Очевидно, подобное представление ошибочно. Небольшие объемы простых предложений в составе бессоюзных и сложносочиненных связаны с меньшей развернутостью, распространенностью данных конструкций, что должно войти в характеристику сложных предложений этих типов, по крайней мере для исследуемой эпохи.

Своими количественными параметрами обладают и вводные предложения: они представлены самыми малыми размерами. Это, по-видимому, специфично для языка XVIII в., в котором вводные предложения употребляются в незначительном количестве, а вставных конструкций, столь распространенных и достигающих значительных размеров в современном синтаксисе, особенно научном и деловом, практически в нашем материале нет. Этот факт является одним из показателей высокой связности, синтетичности сложного предложения в исследуемый период, отсутствия в нем заметных черт аналитизма.

Характеристика объема частей сложноподчиненного предложения довольно сложна, однако можно выявить определенные закономерности. Не все виды придаточных одинаковы по количеству слов, что связано, видимо, с их грамматической семантикой. По убывающим средним размерам придаточные могли бы быть расположены в следующем порядке: цели, уступительные, причинные, изъяснительные, определительные-2 (повествовательные-распространительные), придаточные следствия, степени, относительные, времени, условия, сравнительные, определительные-1 (выделительные), придаточные места. Порядок этот несколько условен в отдельных звеньях. Различная устойчивость среднего размера у различных авторов и в разных жанрах связана с двумя обстоятельствами: средним размером предложения и частотой его употребления. Чем меньше конструкция и чем чаще она встречается, тем надежнее средняя величина и меньше разницей у разных авторов. Чем конструкция крупнее и при этом реже встречается (например, целевые, уступительные), тем больше колебаний в ее размерах. Наиболее отчетливо различие в размерах двух видов определительных предложений. Это является дополнительной грамматической характеристикой этих типов предложений, имеющих и другие существенные грамматические различия<sup>14</sup>. Бóльший объем определительных-2 свидетельствует о бóльшем количестве информации, вмещаемой этой конструкцией. От определительных-2 отличаются в отношении объема так называемые относительные предложения, во многом похожие на определительные-2, однако в силу своей общей семантики (вывода, оговорки, небольшого попутного замечания) обладающие меньшими информативными возможностями

<sup>14</sup> См.: Г. Н. А к и м о в а, Структурно-смысловые типы придаточных определительных в современных восточнославянских языках, сб «Slavistické štúdie», Bratislava, 1969.

Таблица 2

Автор	Виды предложений																	
	простое в бессо и сл. соч.	главное	опр. 1	опр. 2	изъяясн.	прич.	целев.	усл.	уступит	относит.	след.	степ.	врем.	места	сравн.	препозит. придат.	интерпо- зит. придат.	вводи. предл.
I. Научная проза																		
Ломоносов, ДРИ	9,2	11	7,2	10,5	11,2	11,7	13,8	7,9	9,6	7,4	10,3	8,2	8,6	—	9,7	8,6	6,8	4
Ломоносов, Сл. о я. в.	10,4	5,5	8	8,4	11,4	12,2	11,2	12	8,5	7,6	9	—	10,1	8	7,5	10,7	7,5	3,3
Тредьяковский	10,5	9,2	7,3	9,6	12,6	10,6	19,1	5	10,2	12,3	6	10	7,8	—	9,8	9,3	9	5
Сумароков	9,4	12,7	9,7	10,6	10	11	22	8	10,3	6,6	—	—	10	4	8,8	8,7	5,5	4,8
Крашенинников	9,5	10,6	5,5	8,8	8,3	7,7	11,2	6,7	7,8	8	7,5	8,5	5,8	4	5,3	6,3	4,6	3,3
Лепехин	10,5	10,7	6,5	9,8	9	10,3	8,7	11	8,5	9,2	9,5	11,3	6,6	—	8,5	7,4	6,3	3,4
II. Деловая проза																		
Ломоносов	9,8	12,2	8,5	8,6	10,2	12,4	9,1	8,2	14,5	8	17	12	10	—	—	8,4	8	—
III. Письма																		
Ломоносов	8,2	11,7	8,4	10	11,3	9,6	11,8	7,2	20	10,3	8	8	6	5	10,5	8	5,8	5
IV. Ораторская проза																		
Ломоносов, Слово Е. П.	11,6	12,1	13,6	13,5	14,4	9,6	—	12,7	11,9	—	—	9	7,7	—	17,9	13,2	9,2	—
Ломоносов, Слово П. В.	8,2	11,1	9,5	11,4	13	16,4	10,8	9,1	11	10	17	9	13,6	—	4,2	13,8	8,4	8
Ломоносов, Слова благ.	8,6	12,5	6,1	16,3	13	11,8	—	8	8	12	—	—	19,2	—	4,4	8	3	—
Сумароков	7,3	8,8	7,4	11,5	7,8	9	11,7	5,8	10,5	6	—	—	6,6	—	7	8,6	5,2	2,5
V. Оды																		
Ломоносов	7,2	7,8	4,1	9,3	9,7	5,5	8,7	6	—	—	—	—	5,1	4	7,5	11	5,6	—
Сумароков	6,8	7,7	4,8	9	5,5	—	10,2	8	8,5	—	—	—	5,9	2,7	5	7	5,2	3,6
Среднее	9	10,2	7,6	10,5	10,5	10,6	12,6	8,2	10,7	8,8	10,5	9,5	8,8	4,6	8,1	9,2	6,4	4,3

ми. Крупные придаточные — причины, уступительные, следственные, целевые — свойственны именно научному, деловому стилю, а также жанрам высокого слога и именно в этой сфере и олицетворяют развернутость, распространенность синтаксических структур. В противоположность им, предложения времени, места, условия, степени, определительные-1, сравнительные, свойственные самым различным жанрам как письменной, так и устной речи, характеризуются меньшими средними размерами. Придаточные изъяснительные, свойственные также всем жанрово-стилевым разновидностям литературного языка XVIII в. и составляющие большой процент среди союзных придаточных, представляют сравнительно крупную структуру, и довольно устойчиво крупную. Значительный объем придаточного изъяснительного связан с его семантикой: соединяясь с главной частью при помощи синтаксического союза, придаточное изъяснительное по своей структуре довольно самостоятельно и во многом напоминает отдельное простое предложение.

1.5. Отмечается зависимость «объемного поведения» отдельных видов придаточных от их позиции относительно главной части. Постпозиция придаточных представляет норму для большинства их видов или во всяком случае для наиболее частотных (определятельных и изъяснительных) и в нашем материале составляет 78%. Наиболее заметно уменьшение всех видов придаточных в интерпозиции, что в какой-то мере сближает интерпозитивные придаточные с вводными. Находясь внутри главного, придаточное как бы сжимается в объеме, все избыточное из него удаляется. Факт прерывности синтаксической конструкции, затрудняющей ее восприятие, Н. Хомский называет «самовставлением»: «Так, неоднократно отмечалось, что существует тенденция избежать нарушения непрерывности, если вторгающийся элемент длинен или сложен»<sup>15</sup>. Менее выражено уменьшение РП в препозиции, оно характерно для придаточных, располагающихся обычно постпозитивно. Не изменяются в объеме придаточные, часто находящиеся в препозиции (условные, уступительные, времени). Свойство наиболее частотных придаточных сокращаться в препозиции, а особенно в интерпозиции, связано с особенностью человеческой памяти более крупные, тяжелые и сложные части располагать в конце конструкции. Это положение отмечено в синтаксической литературе в связи с гипотезой глубины В. Ингве<sup>16</sup>. Гипотеза Ингве в свою очередь уточняет и подтверждает закон О. Бехагеля о «нарастающих» членах предложения<sup>17</sup>. Хотя данные положения высказаны по поводу структуры простого предложения, но они применимы и к структуре сложного. Например, изъяснительные предложения, которые обычно объемнее своих «главных» (часто отмечается соотношение 3 : 17, 2 : 14 и даже 5 : 67!), попадая в начало предложения, резко сокращаются, за счет чего уменьшается, очевидно, глубина всего предложения. Учитывая обычное постпозитивное положение и общий объем сравнительно с главными таких придаточных, как изъяснительные, определительные-2, причинные, следственные, степени, цели, а также высокую частотность употребления изъяснительных и определительных-2, можно объяснить отмечаемую в большинстве случаев в сложно-подчиненном предложении тенденцию к увеличению объема его частей. Придаточные, располагающиеся обычно (или часто) перед главным (условные, времени, подлежащие), обычно менее объемны, чем их главные части,

<sup>15</sup> Н. Хомский, О понятии «правило грамматики», «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 48—49.

<sup>16</sup> В. Ингве, Значение исследований в области машинного перевода, НТИ, 1965, 7, стр. 45.

<sup>17</sup> См. об этом: И. Б. Долнина, Гипотеза «глубины» и проблема «громоздкости» предложения, «Инвариантные синтаксические значения ...», стр. 89.

и общая тенденция к нарастанию объема в сложноподчиненном предложении не нарушается. Исключение составляют уступительные придаточные, нарушающие отмеченную перспективу количественного нарастания. Но эта разновидность придаточных вообще стоит, по-видимому, на особом месте<sup>18</sup>. В языке XVIII в. отмечается постановка подчинительного союза не в начале придаточного (только в случае препозиции последнего). См.: «Атмосферу кометы *хотя* по долготе хвоста и по широте сияния, которое голову окружает, мерить невозможно, как то в следующем упоминается, однако нет ни единого сомнения, что...» (Ломоносов); «За все сие *ещели* не отмщу и конечной пагубы не пресеку казнию, уже вижу наперед площади, наполненные трупов, расхищаемы дома...» (Ломоносов); «Отменная красота, изобилие, важность и сила еллинского слова *коль* высоко почитается, о том довольно свидетельствуют словесных наук любители» (Ломоносов). Такое положение союза связано с разными синтаксическими причинами, на которых мы здесь не останавливаемся, однако существенны два момента. Во-первых, предложение, не начинающееся союзом, строится сначала как самостоятельное, оно не имеет синтаксических обязательств в ограничении объема, и только с появлением союза начинают действовать эти обязательства, связанные с оперативной памятью человека. Во-вторых, наиболее частыми среди подобных придаточных являются именно уступительные (кстати, они возможны и в современном литературном языке). Наличие «крупных» препозитивных придаточных, превосходящих по объему свои главные предложения, находим обычно в жанрах высокого слога — в ораторской прозе Ломоносова и в одах, что и создает впечатление тяжеловесности.

2.0. Анализируя самые ведущие жанровые разновидности, представленные в наследии Ломоносова, мы прибегали к сравнению с другими авторами XVIII в. особенно широко в области научной прозы, родоначальником которой можно назвать великого ученого и которая составляет большую часть его наследия. Канцелярский жанр, имеющий, в противоположность научному, большую традицию в русской письменности, занимает в наследии Ломоносова также существенное место. Письма Ломоносова, дошедшие до нас, довольно многочисленны, однако представляют деловую, преимущественно канцелярскую, и отчасти научную переписку. Художественные жанры представлены ораторской прозой и одами, как ведущим и наиболее ярким поэтическим жанром Ломоносова. Здесь проводится сопоставление с А. П. Сумароковым, выдающимся поэтом XVIII в., современником Ломоносова и его противником как по идеологической линии, так и по своим эстетическим и филологическим воззрениям<sup>19</sup>. Таким образом, исследуемый материал представляет собой иные жанрово-стилистические противопоставления, чем те, которые чаще всего отмечаются в работах, посвященных РП (художественная и научная проза).

2.1. Противопоставление жанров идет как бы в двух различных направлениях: 1) прозаические и поэтические жанры, 2) художественные и нехудожественные<sup>20</sup>. Именно эти два типа противопоставлений обнаружива-

<sup>18</sup> Распределяя средства связи в многосоставном сложном предложении по рангам, Е. В. Падучева определяет союз *хотя* как связку самого высокого ранга, т. е. подчиняющую себе связки более низкого ранга независимо от расположения (см. ее «О структуре многосоставных сложных предложений в русском языке», «Лингвистические исследования по общей и славянской типологии», М., 1966, стр. 159).

<sup>19</sup> См.: П. Н. Берков, Ломоносов и литературная полемика его времени, М.—Л., 1936, гл. III.

<sup>20</sup> См., однако, мнение В. Д. Левина о литературном языке середины XVIII в.: «Вообще разграничения художественной и нехудожественной речи по языковому материалу не существует в письменности этого периода» («Очерки стилистики русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в.», М., 1964, стр. 13). См. также:

ются при анализе данных, связанных с РП. Если самые большие предложения принято отмечать в научной прозе, то в языке Ломоносова по средним размерам предложения жанры распределяются в следующем порядке: ораторская проза, деловая, письма, научная проза, оды. На рис. 2 показано распределение РП в различных жанрах произведений Ломоносова. Особенно отчетливо выделяются размеры в одах — все линии на графике сдвинуты влево, эксцесс больше. РП в ораторской прозе имеет меньше отличий, но и он тоже заметен и выражается в меньшем эксцессе, максимальной сдвинутой рисунка вправо и длинном «хвосте», особенно в

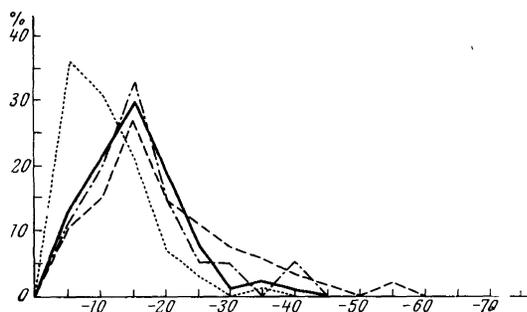


Рис. 2

Рис. 2. Распределение размеров простых самостоятельных предложений в различных стилях языка Ломоносова: — научный (Слово о я. в.); — — — — деловой; — — — — ораторская проза (Слово Е. П.); ..... оды

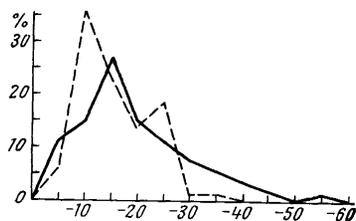


Рис. 3

Рис. 3. Распределение размеров простых самостоятельных предложений в ораторской прозе: — Ломоносов (Слово Е. П.); — — — — Сумароков

распределении сложных предложений. Ораторская проза Ломоносова воплощает на практике его идеологические и эстетические установки, изложенные в филологических трудах писателя и особенно в «Риторике». Вот образец предложения из «Слова похвального Елизавете Петровне»: «Всяк видит, всяк в уме своем изображает, что так Великий Петр обращал свои очи, взирая на обновляющуюся Россию; так произносил свой голос, укрепляя воинство и ободряя к трудам подданных; так простирал свою руку, учреждая художества и науки, повелевая устроить полки ко брани и выходить флоту в море; так возносил главу, въезжая в побежденные грады и поширая поверженное неприятельское оружие; толь бодро шествовал, осматривая свои начинающиеся стены, строящиеся корабли, исправляющиеся суды и среди моря со дна восстающие пристани и крепости; не представляю внешних монархии нашей достоинств, но внутренние душевные токмо изобразить потщусь ее дарования, которых лику предходит любезное богу, любезное человеком благочестие: крепкое утверждение государств, красота венцев царских, непостыдная надежда во брани, неразрывное соединение человеческого общества».

Выразительную оценку построениям такого рода дал Г. А. Гуковский: «Ломоносов строит целые колоссальные словесные здания, напоминающие собой огромные дворцы Растрелли; его периоды самым объемом своим, самым ритмом производят впечатление гигантского подъема мысли и пафоса»<sup>21</sup>. Наибольшая пышность и пафос отмечаются в «Слове похвальном Елизавете Петровне», так как здесь, в отличие от «Слова похвального па-

В. П. В о м п е р с к и й, *Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трех стилей*, [М.], 1970, стр. 174.

<sup>21</sup> Г. А. Г у к о в с к и й, *Русская литература XVIII в.*, М., 1939, стр. 110.

мяти Петру Великому», написанного с большей искренностью, Ломоносов старался соблюсти форму «витиеватых речей».

Научная и деловая проза, а также письма Ломоносова в целом принадлежат так называемому среднему слогу, однако в деловом стиле можно отметить тенденцию к несколько большим РП во всех трех структурах, чем в научном стиле, что, очевидно, является данью традиции деловой письменности.

Противопоставление художественных и нехудожественных жанров находит свое отражение прежде всего в различном соотношении гипотактических и паратактических средств, а также коэффициента сложности в тексте. Кроме того, в силу «украшенности» художественная речь имеет больше сложных синтаксических конструкций с нарушением количественной синтаксической перспективы (см. средние размеры препозитивных и интерпозитивных придаточных в языке Ломоносова). Удлинение пре- и интерпозитивных придаточных в объеме или неуместное, непривычное местоположение придаточного по отношению к главному было такой же принадлежностью синтаксиса высокого слога, как и запутанный порядок слов. Близость таких проблем, как порядок слов (шире — синтагм) и длины предложения, отмечалась В. В. Виноградовым: «Порядок слов — это был большой вопрос синтаксиса русской литературной речи XVIII в. С ним соединялся вопрос о составе и протяжении предложения, о длине периода»<sup>22</sup>.

2.2. Сопоставление РП в языке различных произведений Ломоносова с РП в языке других авторов XVIII в. нагляднее всего при учете жанровой однородности материала. Сравнение РП в научных текстах пяти авторов выявляет наибольшую близость структуры (1) — размеров простого предложения в составе сложного. Структуры (2) и (3) дают больше различий, и Ломоносов по этим параметрам отличается от других авторов тенденцией к несколько меньшим РП. Синтаксическая система русской научной прозы имела по крайней мере три источника: синтаксис высокого слога (с его церковнославянскими и латино-немецкими традициями), синтаксис новолатинского языка, который был практически языком науки на протяжении многих веков, и канцелярский стиль, оказавший большое влияние на все жанры письменной речи в XVIII в. Для создания синтаксической системы научного языка Ломоносова имели значение все три источника, но лингвистическое чутье, большой научный и писательский опыт, общая нормализаторская направленность деятельности Ломоносова позволили именно ему в области синтаксиса, так же, как и в области научной терминологии, найти более четкие и лаконичные формы научного изложения, которые не имели ни «украшений» ораторской прозы с их длинными периодами, ни излишеств в изложении и запутанности канцелярского слога. Разумеется, элементы и высокого слога, и латинского языка, и отчасти канцелярского стиля имеются и в научной прозе Ломоносова, однако в целом синтаксис его научного стиля проще, что находит выражение и в РП. Большие РП у других авторов, как и больший процент применения гипотактических средств, связаны, видимо, с традицией деловой письменности, что сближает научную прозу этих авторов с канцелярским стилем Ломоносова. Наиболее неустойчивые РП, выражающиеся в больших средних  $\bar{n}_s$  и  $\bar{n}_c$  (табл. 1) в сочетании с тенденцией к полимодальности, отмечаются в языке Сумарокова. Не можем полностью согласиться с мнением Н. И. Булича, будто в языке Сумарокова сама «наука не завертывалась в жрече-

<sup>22</sup> В. В. Виноградов, Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв., М., 1938, стр. 112.

скую мантию и не становилась на треножник, она говорила просто и ясно»<sup>23</sup>. Действительно, научные труды Сумарокова лишены словесных украшений, но РП и все изложение близко к канцелярскому слогу. Ср.: «За сие получил он (Сунбулов) потом от царевны чин думного дворянина, хотя он и боярства чаял, и обманувся сею надеждою, постригся и в монастыре Чудове был монахом, которого увидев некогда царь Петр Алексеевич бывша уже в монашестве, в соборной церкви оногo монастыря, оставша по литургии и не пошедша к антидору и спросив около стоящих, ради чего этот монах нейдет ко антидору, и известився, что это Сунбулов, подозвав его к себе, спросил, ради чего он нейдет к антидору, который объявил ему, что он Сунбулов и что он со трепетом на лице Его Величества взирает и не только пройти мимо прогневанного собою государя смел, но ниже возвести на него страднические глаза свои: таковы были его слова; ибо он уже покаялся и принял образ ангельский, не получив в образе дьявольском ожидаемого награждения» (Сумароков, Первый и главный стрелецкий бунт).

В ораторской прозе сопоставлялись Ломоносов и Сумароков. Различие средних размеров  $\bar{n}_s$ ,  $\bar{n}_c$  и  $\bar{n}_{so}$ , а также  $P_3$  в похвальных словах обоих авторов очень заметно. Это подтверждается и данными распределения. Рис. 3 демонстрирует более левое размещение РП, отсутствие «хвостов» вправо, большую компактность в «Словах» Сумарокова сравнительно с Ломоносовым. В этом различии сказываются принципиально разные эстетические воззрения и поэтика двух больших авторов середины XVIII в. Известна ожесточенная полемика между ними в трактовке вопроса о «парении», об украшении поэтического слова, о принципе художественности. Поэтика Ломоносова была выражением не только эстетических, но и идеологических установок писателя. Она возникла не сразу<sup>24</sup> и опирается на два основных источника, которыми прекрасно владел Ломоносов и которыми не мог пользоваться в силу своего иного образования Сумароков, — «книги церковные» и античная и новолатинская традиция. Писатели сумароковской школы, как отмечает В. В. Виноградов, стремятся создать более короткую, непринужденную фразу, синтезируя в русской литературной речи французский синтаксис и русский разговорный язык<sup>25</sup>.

В отличие от ораторской прозы в одах обоих поэтов РП чрезвычайно близки во всех трех синтаксических структурах, в том числе и в сложном предложении. Очевидно, версификационные причины не позволили Ломоносову увеличить РП, хотя в его одах ярко проявляются другие особенности поэтики (пышные метафоры, тропы, неожиданные сравнения и т. п.). В связи с синтаксическими особенностями стихотворной речи интересно замечание К. С. Аксакова: «Период и конструкцию, вообще синтаксис языка латинского, более нежели в других сочинениях Ломоносова, находят в его похвальных Словах, где, конечно, более, нежели где-нибудь, является в своей силе органическая речь. Итак, обратим внимание наше преимущественно на эти Слова, как и вообще на другие его прозаические сочинения; прозаические, ибо стих не может дать вполне места синтаксическому развитию слова»<sup>26</sup> (разрядка наша. — Г. А.).

<sup>23</sup> Н. Н. Булич, Сумароков и современная ему критика, СПб., 1854, стр. 170 (цит. по кн.: В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 137). И. И. Ковтунова отмечает заметные колебания в синтаксисе Сумарокова, отражающие средний стиль, который «то возвышался, то падал» (см. ее «Порядок слов в русском литературном языке XVIII — первой трети XIX в.», М., 1969, стр. 132—133).

<sup>24</sup> И. З. Серман, Поэзия Ломоносова в 1740-е годы, сб. «XVIII век», 5, М. — Л., 1962, стр. 58, 62.

<sup>25</sup> В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 155.

<sup>26</sup> К. С. Аксаков, Ломоносов в истории русской литературы и русского языка, Полн. собр. соч., II, М., 1875, стр. 298.

2.3. Исследование РП в диахроническом плане на материале русского языка было проведено Г. А. Лескисом, а также группой саратовских исследователей во главе с О. Б. Сиротининой<sup>27</sup>. В художественной и публицистической речи отмечается уменьшение размеров цельного предложения и уменьшение среднего квадратичного отклонения. Изменения РП в научном языке выражены не так отчетливо.

Сопоставление данных, представленных в табл. 1, с наблюдениями других авторов позволяет сделать вывод, что наибольших размеров достигали предложения в прозаических жанрах высокого слога либо в канцелярском стиле.

Таким образом, диахронический взгляд на проблему РП, несомненно, связан со стилистическим аспектом: с историей литературного языка, его жанровых разновидностей, историей функциональных стилей. Общее впечатление уменьшения протяженности предложения, связанное прежде всего с восприятием длины цельного предложения в тексте, чрезвычайно зависит от коэффициента сложности ( $M$ ) и средней сложности ( $\bar{C}$ ). По-видимому, именно эти показатели в первую очередь уменьшаются с течением времени, и притом не только в художественном, но отчасти и в научном, и даже в деловом языке. В первую очередь сокращается цельное предложение за счет сокращения сложного. Что касается простых предложений как в самостоятельном употреблении, так и в составе сложного, их объем меняется меньше, однако именно в XVIII в. средние размеры и этих двух структур были больше, чем в современном языке, что имеет свои историко-литературные и стилистические причины. Несомненно, существенную роль для РП играет синтаксическое строение самого простого предложения и его частей. С длиной предложения связано развитие средств осложнения простого предложения как в подчинительной форме (различного рода обособленные и необособленные структуры), так и сочинительной (ряды однородных компонентов). Однако возможность развертывания и расширения основных, конституирующих компонентов предложения и соотносительность развертывающих и расширяющих компонентов с различными видами сложных конструкций (например с придаточными предложениями), по-видимому, различны для разных видов простых предложений. Поскольку все эти явления влияют на объем предложения и подвержены историческим изменениям, они должны стать предметом специального изучения для более полного представления о грамматическом аспекте такого синтаксического показателя, как РП.

---

<sup>27</sup> О. Б. Сиротинина, С. А. Бах и др., Изменения в языке публицистики, «Вопросы стилистики», 3, Саратов, 1969.

В. В. ОДИНЦОВ

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
АВТОРЕДАКТИРОВАНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ

Анализ работы писателя над текстом художественного произведения важен и для текстологии, и для стилистики. Для глубокого понимания стиля писателя необходимо (на что указывали Л. В. Щерба и В. В. Виноградов) учитывать не только те языковые средства, которые используются в произведении, но и то, от чего писатель отказывается, чего он избегает. Если для стилистики вообще большое значение имеет эксперимент, то в случае авторедактирования он особенно выразителен, ибо осуществляется самим автором.

В результате анализа правки писателя стилист нередко приходит к выводу о том, что писатель занимается подбором синонимов, выбирает наиболее яркое слово, устраняет стилистическую неловкость, приближается к живой разговорной речи (в особенности в диалоге). Между тем в подобных суждениях много спорного и противоречивого. При таком подходе обычно не учитывается структурная целостность текста, литературное произведение рассматривается в общеязыковом или общестилистическом плане<sup>1</sup>, тогда как оно должно изучаться прежде всего как художественное создание.

В связи с этим особенно плодотворным представляется разработанный В. В. Виноградовым метод стилистического анализа правки писателя с учетом общей структуры «образа автора». Именно таким образом анализировал В. В. Виноградов, например, правку А. С. Пушкиным повести «Станционный смотритель». Он показал, что каждое изменение углубляло и наполняло новым содержанием повествовательную структуру и образ

<sup>1</sup> Наблюдения лингвистов бывают порой весьма интересны сами по себе, однако они не связываются с художественной задачей писателя. Во многих работах сравниваются только отдельные пары слов или предложений в отрыве от структуры целого текста. Например, С. А. Колтаков при анализе правки М. А. Шолохова сопоставляет диалектное слово и его литературный синоним, ограничиваясь лишь общей стилистической характеристикой их и ничего не говоря о функции этих элементов. Поэтому основное положение о том, что правка М. А. Шолохова заключалась «в отборе тех синонимов, которые наилучшим образом выражают авторскую мысль», остается не раскрытым (С. А. Колтаков, Работа М. А. Шолохова над языком романа «Тихий Дон», РЯШ, 1965, 2, стр. 19). Анализируя правку А. С. Пушкина, М. И. Фомина говорит, например, о замене славянских форм (*пред, единый* и др.) русскими, но остается неясным, почему славянизмы сохраняются в других случаях. О многих других заменах (в частности, *знакомы на известны, нужные известия на нужные сведения, удалиться на ушла, позвала на кликнула* и др.) говорится, что они могут быть объяснены «поисками более точного синонима», но вне широкого контекста невозможно понять, почему слово *сведения* точнее, чем *известия* (М. И. Фомина, Из наблюдений над приемами авторедактирования А. С. Пушкина, М., 1966, стр. 18 и сл.). Не свободны от этих недостатков и некоторые работы, весьма интересные в других отношениях (см., например: А. Ф. Дружинин, Работа А. Н. Толстого над языком романа «Петр I», «Уч. зап. МОПИ», 100, Труды кафедры русского языка, 6, 1961; А. А. Трасова, Из творческой лаборатории М. Горького М., 1964).

главного героя<sup>2</sup>. Б. М. Эйхенбаум в предисловии к книге Б. В. Томашевского «Писатель и книга» писал: «Меняя текст произведения, писатель движется не от плохого к хорошему (такого рода изменения составляют ничтожную часть его работы), а от одних решений к другим...»<sup>3</sup>.

Тем более нельзя видеть в правке писателя стремление к грамматико-стилистической правильности, к подравниванию под общие нормы литературного языка. При таком подходе нельзя объяснить случаи, когда писатель то использует слово, то устраняет его. Например, в «Повестях Белкина» в одном случае *изумление* исправлено на *удивление* («Метель»), в другом же *удивление* заменено словом *изумление* («Выстрел»). Интересно, что в обоих случаях эти слова употреблены при описании реакции персонажа, причем это описание представляет собою выделенную, развернутую ремарку, делящую диалог на две части. В обоих случаях это центр, вершина драматического эпизода, его самый напряженный момент.

В «Выстреле», когда Сильвио объясняет рассказчику свое нежелание стреляться с «новым офицером»:

«... я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р\*\*\*, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его.

Я смотрел на Сильвио с изумлением»<sup>4</sup>. Объяснение синонимической замены дать, кажется, просто: Пушкину нужно подчеркнуть странность признания Сильвио через реакцию собеседника (крайняя степень удивления). Но вот сцена любовного объяснения в «Метели», когда Марья Гавриловна вдруг узнает от влюбленного и любимого ею Бурмина, что он женат: «... Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я женат!» (стр. 85).

Казалось бы, реакцией героини должно быть изумление. Пушкин так сначала и написал: «Марья Гавриловна взглянула на него с изумлением», а затем исправил: «с удивлением». Можно, конечно, объяснить замену поисками более емкого, более точного слова. Но тогда возникнет естественный вопрос: почему то или иное слово в данном контексте оказывается более емким, более точным?

На этот вопрос нельзя ответить без анализа художественной структуры текста, в частности структуры диалога. Художественный диалог строится на активном взаимодействии разных точек зрения. В данном случае герои по-разному говорят по существу об одном и том же. Когда вслед за словами Бурмина следует реплика Марьи Гавриловны: «Что вы говорите? — воскликнула Марья Гавриловна; как это странно!...», — то это не просто удивление в связи с его признанием о странном венчании. Ведь она хотела рассказать о том же: «... как это странно! Продолжайте; я расскажу после... но продолжайте, сделайте милость». Реальное участие персонажей в диалоге неодинаково. Диалог ведут реплики Бурмина, из диалога устраняются все указания на резкую реакцию героини, все, что позволило бы выявить раньше времени намерение героини и тем самым ослабить диалогическое напряжение. Например, ремарка к вышеприведенной реплике: «прервала с живостью Марья Гавриловна» была начата Пушкиным так: «М. (арья) Г. (авриловна) смутилась [при] и с живостью...» Этим, по-видимому, объясняется и замена *изумления* на *удивление* в данном случае.

Правка реплик героев часто объясняется стремлением к передаче живой разговорной речи. Но не все случаи поддаются такой интерпретации.

<sup>2</sup> См.: В. В. Виноградов, К изучению языка и стиля Пушкинской прозы, РЯШ, 1949, 3.

<sup>3</sup> Б. В. Томашевский, Писатель и книга, 2-е изд., М., 1959, стр. 10.

<sup>4</sup> А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., 8, М., 1938, стр. 68.

Так, в заключительном диалоге «Выстрела» вопрос рассказчика: «Вы хорошо стреляете?» изменяется: «А хорошо вы стреляете?». Присоединительный союз характерен для реплик диалога. Но в том же диалоге можно указать и на случай, когда присоединение Пушкиным устраняется: «<Да и> Лучший стрелок, которого удалось мне встречать...» (стр. 72). Пушкину надо было незаметно подвести читателя к рассказу о последней дуэли Сильвио, речь уже пошла о нем, присоединение разрушало эту незаметность и естественность.

Художественным целям подчиняется и правка народно-разговорной лексики. Как известно, Пушкин при передаче крестьянской речи избегал ярких диалектно-просторечных черт. Средства яркие и выразительные сами по себе труднее согласовать в художественном ансамбле. В то же время крестьянский характер, крестьянская речь у Пушкина выступают весьма естественно. Выход был найден Пушкиным в создании контраста. Так, в очень строго и симметрично построенном диалоге Владимира Дубровского и Антона книжно-деловой характер реплик первого образует своеобразный фон для разговорно-просторечных реплик кучера. Естественно, что при правке Пушкин усиливал в репликах Владимира элементы книжности, в репликах Антона — элементы разговорности:

## В печатном тексте

[Владимир]  
какое дело у отца  
моего  
правда ли что  
[Антон]  
барин, слышь  
не поладил  
а тот и подал  
барские воли  
а ей богу  
господа  
полно вам  
у него часом и своим  
да и мясо-то отдерет

## В черновиках

какое дело у батюшки  
  
правда что  
  
слышно, барин  
побранился  
и тот и подал  
барские дела  
а) а и то сказать б) а право  
дворяне  
скоро вам не будет  
у него и своим порою  
да и мясо отдерет  
и т. д. <sup>5</sup>.

Если признавать, что художественная речь строится по своим законам, то при анализе писательской правки необходимо исходить именно из них, а не из общеязыковых закономерностей. Если признавать, что художественное произведение — это целостное, сложное построение, имеющее конструктивный стержень (разные исследователи называют его по-разному), то необходимо увидеть, каким образом все исправления текста делают более четкой основную конструктивную идею. Таким образом, главное при анализе правки писателей — установить **о д н о н а п р а в л е н н о с т ь** всех элементов художественного построения, однонаправленность всех изменений. Исправления и лексики, и синтаксиса, и морфологии идут у писателя в одном направлении, они взаимосвязаны. Попробуем это показать на примере правки Л. Н. Толстым последней части рассказа «После бала».

## В печатном тексте

Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне.

## В черновиках

Только когда эти люди поравнялись со мною, я понял, что это было. Привязанный к ружьям человек

<sup>5</sup> А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., 8 (2), М., 1940, стр. 773.

Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад, — и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед — и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И, не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец с своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами...<sup>6</sup>

был прогоняемый сквозь строй, сквозь 300 палок, как мне сказали, бежавший солдат татарин. Все солдаты, вооруженные палками, должны были ударять по спине проводимого мимо их человека. Полковник кричал на людей, которые недостаточно крепко били, и бил их за это, угрожая еще жестоким наказанием. Солдаты взмахивали один за другим палками и ударяли по спине волочимого мимо них человека....

Влекомый на ружьях человек то откидывался назад, и тогда солдаты со средоточенными, серьезными лицами толкали его вперед; то падал наперед, и тогда те же солдаты удерживали его от падения и медленно вели вперед...<sup>7</sup>

Какие же изменения произвел Л. Н. Толстой и с какой целью? Кажется, описан один эпизод, реальное содержание вариантов одинаково. Изменения как будто совсем незначительны: какие-то подробности включены, какие-то устранены. Собственно соотносительных лексических замен почти нет. Пожалуй, единственный случай: *откидываться* — *опрокидываться* (большая интенсивность действия). Эстетический же эффект различен. Очевидно, правке подверглась не столько сама лексика, сколько способы и приемы ее организации, вся композиционно-стилистическая структура отрывка. Неизбежно возникает вопрос: связаны ли вообще отдельные изменения текста друг с другом — например, нагнетание деепричастных оборотов и устранение указания на 300 палок? Или эти изменения не за-висят одно от другого?

Рассмотрим подробнее правку Толстого. Интересны обозначения действующих лиц. В рукописном тексте солдат-татарин, которого прогоняли сквозь строй, везде называется *человек*: «привязанный к ружьям человек», «проводимого мимо их человека», «волочимого мимо них человека», «влекомый на ружьях человек». Слово *человек*, имеющее слишком общий смысл, естественно, требует уточняющих определений (здесь определения однотипны, выражены они причастным оборотом, основу которого образуют синонимичные слова *проводимый*, *волочимый*, *влекомый*). В печатном тексте также выступает обозначение *человек* (и даже с тем же определением — *привязанный к ружьям*), но тем заметнее разница. В рукописи слово *человек* лексически опустошено, оно выступает в обобщенно-местоименном значении (близком к значению слова *лицо* в официально-деловом стиле). Основной смысл словосочетания выражается не им, а определением-причастием, которое к тому же, находясь в препозиции, получает большую адъективизацию. Все это усиливает «безличность», некоторую «протокольность» перечисления. В печатном тексте слово *человек* семантически полномерно. Такое соотношение поддерживается тем, что в печатном тексте это слово является ремой, в рукописи (второе предложение) — темой. Слово *человек* в окон-

<sup>6</sup> Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., 34, М., 1952, стр. 123.

<sup>7</sup> Там же, стр. 488.

чательном варианте служит точным обозначением того, что было описано раньше как «что-то страшное, приближающееся ко мне». То, что слово *человек* выступает здесь в своем основном словарном значении, доказываются возможностью употребления его в именном сказуемом и без определений: «Приближающееся ко мне был... человек».

Обращает на себя внимание тот факт, что в печатном тексте происходит смена обозначений. Один и тот же предмет называется по-разному. Слово *человек*, появившись однажды, больше уже не встречается, оно выступает в ряду других обозначений: *что-то страшное* — *человек* — *наказываемый*. Неопределенное вначале *высокий военный* раскрывается: «Это был ее отец...»; неопределенное *солдаты* конкретизируется: «унтер-офицеры, ведущие его за ружья». Такая смена обозначений является основой приема «узнавания». Рассказчик видит происходящее все более точно, детально. В рукописи «узнавания» нет. Говорится о *полковнике*, а *солдаты* и *люди* чередуются, т. е. дается даже более общее обозначение вслед за более конкретным («Полковник кричал на людей...»). В рукописи заметно как будто безразличное чередование или повторение обозначений. Например: *эти люди* — *все солдаты* — (*кричал*) *на людей* — *солдаты* (*взмахивали*) — *солдаты* (*толкали*) — *солдаты* (*удерживали*). Ср. также: *должны были ударять по спине* — *ударяли по спине*. Нет смены обозначений даже там, где ее можно было бы ожидать. Так, когда уже объяснено, что «привязанный к ружьям человек» — это «прогоняемый сквозь строй... бежавший солдат татарин», по-прежнему говорится о «проводимом мимо их человеке», «влочимом мимо них человеке», «влекомом на ружьях человеке». Такой повтор обозначений также усиливает бесстрастность тона, «протокольность» описания.

В рукописи все описание оказывается объяснением, раскрытием смысла начальной фразы отрывка: «...я понял, что это было». В окончательном варианте обобщенная передача происходящего уступает место непосредственному, субъективному восприятию и описанию событий. Показательно, что в рукописном тексте рассказчик находится вне изображаемой картины, не является ее участником, тогда как в печатном тексте на присутствии рассказчика указывается несколько раз: «приближающееся ко мне» (дважды), «фигура... показалась мне знакомой», «наказываемый... подвигался ко мне». При переработке рассказа Толстой устраняет все, что создавало объективизм, деловитость тона. В печатном тексте нет сообщения о том, что «солдаты... должны были ударять...», а просто описано, как это происходило. Указание на источник сведений («как мне сказали») заменяется диалогом:

«— Что это они делают? — спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мною.

— Татарина гоняют за побег, — сердито сказал кузнец...». Этот диалог устраняет разрыв между моментом действия и моментом его описания. Писатель отказывается от четкости и определенности изображения. Так, в рукописи говорится, что «все солдаты ... один за другим ... ударяли ... палками по спине». В печатном тексте вместо этого детализированного описания мы видим «неточное»: «под сыпавшимися... ударами».

В рукописи деловитость и объективизм создается также расчленением действия, достигаемым путем употребления однородных сказуемых: «полковник кричал... и бил...», «солдаты взмахивали ... и ударяли», «солдаты удерживали... и вели...». В печатном тексте бросается в глаза появление ряда деспричастных оборотов — основное действие, выражаемое глаголом, осложняется рядом побочных: *подвигался* — *дергаясь*, *шлепая*, *опрокидываясь*, *падая*. Ср. также: в рукописи — «солдаты удерживали... и... вели», в печатном тексте — «унтер-офицеры, удерживая... тянули...».

Устраняется уточняющее замечание («прогоняемый сквозь строй, сквозь 300 палок») и сами цифры<sup>8</sup>.

Субъектно-эмоциональное насыщение описания достигается и синтаксическими средствами. Если в рукописном варианте предложения четко отграничены друг от друга (в начале каждого предложения разные субъекты: «Привязанный к ружьям человек был... солдат татарин», «все солдаты... должны были ударять...», «Полковник кричал на людей...», «Солдаты взмахивали...»), во всех случаях прямой порядок слов (что в общем не характерно для художественной прозы), способы связи предложений эксплицитно не выражены, — то в печатном тексте различными средствами, эксплицитно подчеркивается связь предложений (лексический повтор: «... увидел... что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был...»; указательное местоимение: «Это был ее отец...»; присоединительный союз: «И, не отставая от него...»). Препозитивные деепричастия и причастия, отодвигая подлежащее от сказуемого, выделяют, экспрессивно подчеркивают действие, создают напряженный драматизм изображения.

Изменения лексики и синтаксиса, устранение или добавление некоторых деталей приводит к иной группировке предметов, действий, признаков и в конечном счете к иной композиции отрывка. В рукописи видна, так сказать, рядоположенность деталей описания, с одинаковым вниманием описываются и наказываемый, и полковник, и солдаты. В печатном тексте очевидно выдвигание на передний план двух персонажей — наказываемого и полковника. Это выделение достигается синтаксически (например, группировкой причастных и деепричастных оборотов) и лексически. Особенно показательно перераспределение определений. Так, в рукописном варианте *полковник* употреблено без определений; в печатном «полковник» характеризуется целой серией согласованных и несогласованных определений: «высокий военный», «твердая походка», «румяное лицо», «белые усы»; «военный в шинели и фуражке» и др. Напротив, определения к слову *солдаты* («солдаты со средоточенными, серьезными лицами», «солдаты, вооруженные палками») устраняются. Ср. также изменение грамматической формы: в рукописи слово *солдаты* в именительном падеже (т. е. в положении субъекта речи), в печатном тексте — в косвенном (родительном); в рукописи в картине появляются сначала *люди*, затем *привязанный к ружьям человек*, а в печатном тексте мы видим «посреди рядов что-то страшное» (изменение и лексическое, и грамматическое). Писатель снимает все, что мешало контрастной противопоставленности двух персонажей. Более того, между ними устанавливается связь, которой не было в рукописи: «Рядом с ним шел высокий военный...», «И, не отставая от него, шел... высокий военный».

Таким образом, первоначально сцена экзекуции, по-видимому, должна была представлять собой добросовестное описание рассказчиком прошедших событий; это были воспоминания рассказчика из времен юности, и сцена экзекуции давалась в том же стилевом ключе, что и сцена бала. Правка Толстого направлена на то, чтобы заменить «рассказ о прошлом» передачей непосредственного восприятия и переживаний рассказчика. Все подчеркивает ту последовательность, ту постепенность, с которой

<sup>8</sup> Интересно сопоставить эту правку Л. Толстого с изменениями, которые Пушкин внес в текст при работе над «Станционным смотрителем». Изображая сцену, в которой смотритель просит Минского отдать Дуню, а Минский выпроваживает старика, сунув ему деньги, Пушкин в черновике написал: «Потом взяв со стола несколько ассигнаций, сунул их ему за рукав — отворил двери». В окончательном же варианте конкретное, точное обозначение «ассигнации» заменяется неопределенным «что-то»: «Потом, сунув ему что-то за рукав, от отворил дверь» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., 8 (2), М., 1940, стр. 652. Анализ этой правки дан в работе: В. В. Виноградов, указ. соч.).

рассказчик воспринимает события. Дистанция между прошлым и настоящим в печатном тексте минимальна; время рассказа и время действия совпали. Рассказчик стилистически изменился, стал непосредственным наблюдателем, героем описываемой сцены (формально рассказчик не изменился, по-прежнему повествование идет от лица Ивана Васильевича). Создается новая субъектная сфера — герой. Изображаемое пропускается сквозь призму его сознания. Соотношение автор — рассказчик (сцена бала) осложняется при описании сцены «после бала»: автор — рассказчик — герой (непосредственный наблюдатель). Какой эффект достигнут этим?

В. В. Виноградов писал: «Изображение событий с точки зрения непосредственного наблюдателя усиливает и подчеркивает реалистический „тон“ и стиль воспроизводимых сцен, создавая иллюзию прямого отражения действительности. Несмотря на субъективную призму персонажа и именно благодаря ей, возрастает „объективная“ точность, достоверность изображения»<sup>9</sup>.

Таким образом, при стилистическом анализе авторедактирования писателей необходим комплексный учет всех изменений текста. Задача исследователя заключается в том, чтобы понять общее направление и общий смысл правки, однонаправленность всех элементов художественной структуры.

---

<sup>9</sup> В. В. Виноградов, О языке Л. Н. Толстого, «Литературное наследство», 35—36, М., 1939, стр. 172.

С. М. ХАЙДАКОВ

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЛИЧНОГО СПРЯЖЕНИЯ  
В ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКАХ

Современные дагестанские языки не обнаруживают единства в отношении выражения категории лица в глаголе. В даргинском, лакском, а из лезгинских — в табасаранском и удинском — принцип личного спряжения глаголов проводится довольно последовательно. В прочих лезгинских языках (частично — за исключением также цахурского), как и в андоцезских (за исключением ахвахского и гунзибского) глагол вообще не изменяется по лицам, и поэтому одна временная глагольная форма, как правило, обслуживает все без исключения личные и лично-указательные местоимения (например: арчинск. *арлИн* «читаю, читаешь, читает, читаем, читаете, читают»). В свою очередь, в гунзибском, ахвахском, аварском и цахурском языках прослеживается лишь тенденция к вычленению особой формы глагола для обслуживания 1-го лица, причем здесь эта тенденция не является всеохватывающей.

Можно полагать, таким образом, что в этих последних из названных языков формы личного спряжения вошли в глагольную парадигматику позже прочих словоизменятельных форм; иначе говоря, на определенном этапе развития в словоизменятельной парадигме дагестанского глагола отсутствовали специальные формы, выражающие по принципу оппозиции отдельные грамматические лица. Как показывает материал этих языков, формирование личного спряжения прямо и непосредственно связано с тенденцией, направленной на обособление формы глагола 1-го лица как лица личности и на противопоставление этой формы, согласуемой с местоимением «я» (а иногда и «мы»), форме остальных лиц посредством специальных аффиксов. Противопоставление формы глагола, согласуемой с местоимением «я» (как обобщенного выражения личности), прочим формам привело, в свою очередь, к возникновению оппозиции глагольных форм внутри отдельной микропарадигмы. Вследствие этого единая микропарадигма стала обслуживаться минимум двумя формами глагола, причем одна из них стала преимущественно формой выражения 1-го лица.

Таким образом возникла морфологическая оппозиция, в которой форма 1-го лица (а не форма 2-го лица) находится в оппозиции к форме, обслуживающей остальные лица. Такая оппозиция глагольных форм характерна не для всей системы грамматических времен того или иного из этих языков в целом, а только для одного из времен — преимущественно для презенса или перфекта. Форма, согласуемая с 1-м лицом, большей частью является производной от формы остальных лиц.

Из грамматических времен синтетического образования в гунзибском языке только настоящее время имеет оппозицию личных глагольных форм<sup>1</sup>.

<i>дә</i>	<i>э̃кье-ч</i>	«я иду»	<i>иле мекье-ч</i>	«мы идем»
<i>ма</i>	<i>э̃кье</i>	«ты идешь»	<i>миже мекье</i>	«вы идете»
<i>гә</i>	<i>э̃кье</i>	«он идет»	<i>эгра мекье</i>	«они идут»

<sup>1</sup> См.: Е. А. Бокарев, Цезские (дидойские) языки Дагестана, М., 1959, стр. 49.

Форма на *-ч* по своей функциональной природе является синтагматической: в препозиции перед существительным она выполняет функцию причастия (*Экъеч кид* «идущий мальчик»), в постпозиции — функцию спрягаемой формы (*дэ Экъеч* «я иду»). Как видно из парадигмы, глагольная форма на *-ч* является производной от глагольной формы остальных лиц. Числовая парадигма в глагольной системе образуется посредством классных показателей; в приведенных примерах нулевой показатель в формах ед. числа противопоставлен показателю *м* в формах мн. числа.

В северном диалекте ахвахского языка личная парадигма характерна только для синтетической формы перфекта<sup>2</sup>. Остальные грамматические времена, в том числе и презенс, не имеют личной парадигмы и, следовательно, морфологической оппозиции глагольных форм. Здесь так же, как и в гунзибском, прослеживается принцип противопоставления глагольных форм 1-го лица глагольным формам, обслуживающим остальные лица. Однако оппозиция этих глагольных форм наблюдается в разных грамматических временах: в гунзибском — в презенсе, в ахвахском — в перфекте.

Дифференциальными признаками ахвахских глагольных форм, обслуживающих 1-е лицо, являются особые согласовательные морфемы, близкие по своей функциональной природе к классным показателям. Согласовательная морфема *-до* по своей функции соотносится с показателем I грамматического класса *в*, а согласовательная морфема *-де* с показателями II и III грамматических классов *й* и *б*. Во мн. числе морфема *ди* соотносится с показателем класса личности *б*, а морфема *-де* — с показателем класса *р*. Упомянутые морфемы факультативно являются и аффиксами числовой парадигмы. Аффиксом прочих лиц является комплекс *ри*.

<i>деде вохе-до</i> (I кл.)	<i>йехе-де</i> (II кл.)	«я взял»
<i>меде вохе-ри</i>	<i>йехе-ри</i>	«ты взял»
<i>гьудусве вохе-ри</i>	<i>й-ехе-ри</i>	«он взял»
<i>иссе бехи-ди</i>	<i>рехе-де</i>	«мы взяли»
<i>уцде бехи-ри</i>	<i>рехе-ри</i>	«вы взяли»
<i>гьудоде бехи-ри</i>	<i>рехе-ри</i>	«они взяли»

В закатальском диалекте аварского языка, как и в ахвахском, перфектные формы, обслуживающие 1-е лицо, также маркируются классными показателями<sup>3</sup>. Следовательно, форма 1-го лица, снабженная классными показателями, морфологически противопоставляется форме остальных лиц парадигмы перфекта.

<i>дун вагъила-в, веро-в, вортоло-в</i>	«я дрался, пришел, упал»
<i>мун вагъила, вера, ворта</i>	«ты дрался, пришел, упал»
<i>дав вагъила, вера, ворта</i>	«он дрался, пришел, упал»

В системе грамматических времен цахурского языка также довольно четко прослеживается тенденция, связанная с обособлением глагольных форм 1-го лица от соответствующих форм остальных лиц. Здесь в одной микропарадигме настоящего времени морфологическую оппозицию составляют синтетические формы разного происхождения; ср. *зы ойкІан-ан* «я пишу» и *гьу ойкІан-од* «ты пишешь», *зы ойкІан-одун* «я пишу» и *гьу ойкІан-од* «ты пишешь». В форме 1-го лица вычленяется презентное деепричастие (*ойкІан* «записывая») и аффикс *-ан*; общая для 2 и 3-го лиц форма *ойкІан-од*, помимо того же деепричастия, включает в себя усеченную десемантизированную форму вспомогательного глагола *вод* «есть, имеется». В целом синтетическая форма *ойкІанод* (*ойкІанодун*) произошла от аналитической (*ойкІан вод/водун* «записывает» < «записывая есть») в результате слияния этих компонентов.

<sup>2</sup> З. М. Магомедбекова, Ахвахский язык, Тбилиси, 1967, стр. 79.

<sup>3</sup> См. А. А. Бокарев, Синтаксис аварского языка, М.—Л., 1949, стр. 18.

Возникает вопрос: нельзя ли, опираясь на описанные выше формы личного спряжения гунзибского, ахвахского, аварского и цахурского языков, объяснить распространение принципа личного спряжения в тех дагестанских языках, где этот принцип ныне проводится более последовательным образом. Думается, что до некоторой степени можно, и этому способствует тот факт, что в некоторых диалектах даргинского и лакского языков прослеживается тождественное или близкое к описанному состояние. Как и в гунзибском, ахвахском, аварском, цахурском языках, исходной формой, на базе которой стало формироваться личное спряжение, является словоформа 1-го лица ед. и мн. числа — с ее возникновением появилась оппозиция глагольных форм в пределах одной микропарадигмы.

В даргинских и лакских диалектах сосуществуют формы личного спряжения, которые отражают разные этапы формирования данной категории: формы более архаичные и формы, возникшие сравнительно недавно. Более древними, по нашим наблюдениям, являются такие глагольные формы, которые ныне обслуживают 3-е лицо (например, дарг. *белкIун* «он написал»); до возникновения личного спряжения они обслуживали всю микропарадигму, как это имеет место в тех дагестанских языках, в которых личное спряжение не получило развития. Ближе к нам по временной оси располагаются формы, обслуживающие 1-е лицо (дарг. *нуни белкIунра* «я написал», *нушани белкIунра* «мы написали»), и, наконец, к третьему, самому позднему пласту относятся формы, обслуживающие преимущественно 2-е лицо (дарг. *хIуни белкIунри* «ты написал», *хIушани белкIунря* «вы написали»).

Наличие в микропарадигме двух производящих основ, маркированных разными аффиксами, является также признаком гетерогенного происхождения личных форм и, следовательно, личного спряжения в целом. Так, в мегебском диалекте даргинского языка сохранилось наиболее древнее состояние личного спряжения. Особенностью мегебского спряжения оказывается обособление формы 1-го лица обоих чисел от единой формы, существующей для прочих лиц.

<i>нуни буци-ра</i>	«я поймал»,	<i>ну лев-ра</i>	«я есмь»
<i>хIуни буциб</i>	«ты поймал»,	<i>хIу лев</i>	«мы есть»
<i>итини буциб</i>	«он поймал»	<i>ит лев</i>	«он есть» <sup>4</sup> .

Из приведенных примеров видно, что аффиксом формы 1-го лица является *-ра*, характерный для всех даргинских диалектов агушинского типа. Производящей основой для формы 1-го лица, как правило, является форма, обслуживающая прочие лица микропарадигмы: ср. *лев* (2 и 3-е лица) и *лев-ра* (1-е лицо) «есмь, имеюсь».

С большой долей вероятности можно утверждать, что формирование личного спряжения в даргинском языке на первых порах характеризовалось обособлением специальной формы, призванной обслуживать только 1-е лицо обоих чисел и не являющейся ни причастием, ни деепричастием, ни тем более — инфинитивом.

В системе грамматических времен лакского языка имеются три микропарадигмы, каждая из которых строится также по принципу оппозиции глагольных форм 1-го лица глагольным формам остальных лиц. Этими грамматическими временами являются перфект, футурум и диалектная форма презенса; каждое из них строится по принципу двух основ.

<sup>4</sup> С. М. Г а с а н о в а, Очерки даргинской диалектологии, Махачкала, 1971, стр. 150.

Для перфекта дифференциальными признаками форм 1-го лица являются аффиксы *-ав* (ед. число), *-арду* (мн. число), которые противопостоят аффиксу *-ни* форм прочих лиц:

<i>на лас-ав</i>	«Я ВЗЯЛ»	<i>жу лас-арду</i>	«МЫ ВЗЯЛИ»
<i>ина ласун-ни</i>	«ТЫ ВЗЯЛ»	<i>зу ласун-ни</i>	«ВЫ ВЗЯЛИ»
<i>танал ласун-ни</i>	«ОН ВЗЯЛ»	<i>тайннал ласун-ни</i>	«ОНИ ВЗЯЛИ».

В футуруме аффиксам 1-го лица *-на* (ед. число), *-ну* (мн. число) в остальных лицах противопостоят аффикс *-р*:

<i>на ласун-на</i>	«Я ВОЗЬМУ»	<i>жу ласун-ну</i>	«МЫ ВОЗЬМЕМ»
<i>ина ласун-сса-р</i>	«ТЫ ВОЗЬМЕШЬ»	<i>зу ласун-сса-р</i>	«ВЫ ВОЗЬМЕТЕ»
<i>танал ласун-сса-р</i>	«ОН ВОЗЬМЕТ»	<i>тайннал ласун-сса-р</i>	«ОНИ ВОЗЬМУТ».

Обе микропарадигмы строятся по принципу двух основ, т. е. в перфекте: связанная основа (в 1-м лице) — именная форма глагола, которой является деепричастие (в остальных лицах); в футуруме представлены исключительно именны формы глагола, т. е. инфинитив (в 1-м лице) и причастие на *-сса* (в остальных лицах).

Диалектный вариант презенса (форма аракульского диалекта лакского языка) также строится по тому же типу двух основ, что и перфект и футурум, а вариант литературного языка отражает дальнейший этап в развитии личного спряжения: презенсные формы 1-го лица распространили сферу своего действия и на местоимения 2-го лица, став их выразителями. На этой почве возникла новая оппозиция: формы 1 и 2-го лиц противопоставляются форме 3-го лица. Например:

Аракульск. диалект	Лакск. литер. язык	
<i>на чича-ра</i>	<i>на чича-ра</i>	«Я ПИШУ»
<i>вина чиче-р</i>	<i>ина чича-ра</i>	«ТЫ ПИШЕШЬ»
<i>ванал чиче-р</i>	<i>ванал чичей</i>	«ОН ПИШЕТ»
<i>жу чича-ру</i>	<i>жу чича-ру</i>	«МЫ ПИШЕМ»
<i>зу чиче-р</i>	<i>зу чича-ру</i>	«ВЫ ПИШЕТЕ»
<i>вендал чиче-р</i>	<i>ваиннал чичей</i>	«ОНИ ПИШУТ» <sup>5</sup> .

Следовательно, формирование личного спряжения в даргинском и лакском языках теснейшим образом связано с вычленением особой формы (форм) 1-го лица обоих чисел, которая противопостоят форме, обслуживающей остальные лица. Оппозиция формы 1-го лица форме (или формам) прочих лиц реализуется разными средствами, в том числе использованием различных именных форм глагола в качестве производящих основ, из которых одна становится основной формы (форм) 1-го лица. По такому принципу формировались, в частности, футурум и перфект лакского языка: инфинитив дает формы 1-го лица футурума (*лас-ун* «взять» — *ласун-на* «возьму», *ласун-ну* «возьмем»), а причастие в свою очередь — форму, согласующуюся с остальными лицами (*ласун-сса* «то, что будет взято» — *ласунсса-р* «возьмешь, возьмете, возьмет, возьмут»). Перфектное причастие лежит в основе форм 1-го лица перфекта (*бивз* «вставшая» — *бивз-ра* «встала [я]», *бивз-ру* «встали [мы]»), а перфектное деепричастие дает форму, обслуживающую остальные лица (*бивзун* «встав» — *бивзун-ни* «встала [ты, она]», «встали [вы, они]»).

Производящая основа в микропарадигме может быть одна: она используется в качестве формы 2 и 3-го лица, а от нее производится форма (формы) 1-го лица. Такая оппозиция характерна для настоящего времени гун-

<sup>5</sup> См.: Н. Д ж и д а л а е в, Некоторые вопросы личного спряжения в лакском языке, «Уч. зап. [ИИЯЛ Даг. филиал АН СССР]», XII (Серия филолог.), 1964; С. М. Х а и д а к о в, Очерки по лакской диалектологии, М., 1966, стр. 170.

зибского языка: здесь презентное причастие с аффиксом *-ч*, используемое в качестве формы 1-го лица, образуется от спрягаемой формы глагола (*э́кье* «пишешь, пишет» и *э́кье-ч* «пишу, пишем» ~ «пишущий»). Личное спряжение мегебского диалекта даргинского языка также базируется на одной производящей основе: форма 1-го лица имеет особую маркировку и является производной от формы остальных лиц: *буциб* «привел, привела, привели [ты, он, она, они]» (2 и 3-е лица) — *буци-ра* «привел, привела (я)», «привели (мы)» (конечный согласный *б* производящей основы при образовании формы 1-го лица выпадает).

В личном спряжении даргинского литературного языка появились две сравнительно новые формы, которые оттеснили и значительно сузили зону функционирования формы на *-иб* (в других глагольных формах *-уб*, *-ун* и т. д.). Одна из них, маркированная аффиксом *-ри*, обслуживает 2-е лицо ед. числа, а другая с аффиксом множественности *-йа* (-я) обслуживает 2-е лицо мн. числа. Что касается глагольной формы на *-иб* (*-уб*, *-ун*), то она в парадигме даргинского литературного языка обслуживает преимущественно 3-е лицо обоих чисел:

<i>нуни буци-ра</i>	«я привел»	<i>нушани буци-ра</i>	«мы привели»
<i>хЛуни буци-ри</i>	«ты привел»	<i>хЛушани буци-ра-я</i>	«вы привели»
<i>итди буциб</i>	«он привел»	<i>итдани буциб</i>	«они привели».

Другой из возможных путей развития личного спряжения представлен в ахвахском языке (в северном его диалекте), где обе личные формы перфекта образуются от основы связанного типа (*деде бехе-де* «я купил», *меде бехе-ри* «ты купил», *гьудуссове бехе-ри* «он купил»).

В табасаранском и удинском аффикс каждой личной глагольной формы материально восходит к конкретному местоимению. К исходу производящей основы присоединяются отдельные элементы личных местоимений (это характерно для личного спряжения табасаранского языка: *узу бикЛура-за* «я пишу», *уву бикЛура-ва* «ты пишешь», *ухьу бикЛура-хьа* «мы пишем», *учву бикЛура-чва* «вы пишете») или полные формы их, в ряде случаев претерпевшие фонетические изменения в результате метатезы или регрессивной ассимиляции (так, в удинском языке: *зу уьгьал-зу* «я пью», *ун уьгьал-ну* «ты пьешь», *йан уьгьал-йан* «мы пьем», *ваьн уьгьал-нан* «вы пьете»). Таким образом, формирование и развитие личного спряжения в этих лезгинских языках, по-видимому, происходило иначе, чем в лакском и даргинском языках.

Н. Г. МИХАЙЛОВСКАЯ

## К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА

Исследование лексико-семантической системы русского языка старшего периода связано со значительными затруднениями уже в силу того, что оно производится всегда — в большей или меньшей степени — через призму русского языка в его современном состоянии, поскольку определения семантики слов одновременно являются их переводом (мы не учитываем в данном случае энциклопедических толкований, которые объясняют устройство, внешние особенности и практическое назначение отдельной реалии<sup>1</sup>). Известный субъективизм, индивидуальные языковые вкусы авторов в исследованиях такого рода почти неизбежны, так как этот субъективизм имеет своими корнями образ и способ мышления, в XX в. принципиально отличный от того, что был в XI—XIV вв.

Представляется, что некоторые объективные критерии изучения древнерусской семантической системы можно извлечь при анализе контекстуальных условий употребления слова. И как ни парадоксально, именно стилистика с ее репутацией неопределенной и расплывчатой области лингвистики может явиться надежным подспорьем в исследовании семантической структуры слова, так как в конкретных условиях текста осуществляется реализация значения. К конкретным условиям текста мы относим: а) жанровую принадлежность источника; б) речевую ситуацию цитаты (прямая и косвенная речь, отсылочный оборот, предмет изложения и т. д.); в) грамматическую конструкцию; г) семантическую взаимосвязь слов, влияющих на значение рассматриваемой лексемы.

В настоящей статье предпринята попытка семантического анализа с учетом стилистической специфики лексической группы, члены которой объединяются рядом общих для них значений: *земля — страна — власть — волость — область*<sup>2</sup>; при этом рассматривается главным образом выражение каждым словом отдельного значения, общего и для других слов указанной группы (поскольку выражение значения обусловлено непосредственной связью с понятиями и представлениями, лежащими в основе семантической структуры слова)<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> В наиболее общем виде эти проблемы поставлены, в частности, в кн.: М. И. Стеблин-Каменский, Мир саги, Л., 1971, стр. 7. Более конкретно вопросы исторического мышления затрагиваются в кн.: Ф. П. Филин, Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи, Л., 1949 («Уч. зап. [Ленинградск. пед. ин-та им. А. И. Герцена]», 80), стр. 204.

<sup>2</sup> О словоупотреблении и семантическом развитии этих слов см.: Ф. П. Филин, указ. соч., стр. 79—80, 118—121.

<sup>3</sup> Материалом послужил язык оригинальных и переводных древнерусских памятников: «Чтение о Борисе и Глебе, написанное Нестором в конце XI в. по списку Сильвестровского сборника XIV в.» по кн.: И. И. Срезневский, Сказания о святых Борисе и Глебе. Сильвестровский список XIV века, СПб., 1860 (далее — ЧтБГ); «Сказание о Борисе и Глебе по Успенскому сборнику XII в.», в кн.: «Сборник XII в. Московского Успенского собора», I, под ред. А. А. Шахматова и П. А. Лаврова, М., 1899 («Чтения ОИДР», кн. II) (СкБГ); «Сказание о Борисе и Глебе по списку Сильвестровского сборника XIV в.» по кн.: Д. И. Абрамович, Жития святых мучеников Бориса и

Сопоставление исследованного материала позволило выявить не только признаки, которые объединяют лексемы, но и признаки, по которым они размежевываются. По-видимому, как раз эти последние в значительной степени обеспечивают существование и использование слов, обладающих близкой или тождественной семантикой.

Общее значение существительных *земля* — *страна* — *власть* — *волость* — *область* определяется как «территория, находящаяся в чьем-либо владении». Семантическое тождество слов проявляется в нередкой их заменяемости в разных списках одного и того же памятника. Примеры: «Ярославъ прея вьсю *волость* Русьскую» (СкБГ 16б), ср. *землю* (С XIV, Ч XIV); «тогда же посла Всеволодъ ис Киева на Вячеслава река сѣдиши в Киевской *волости* [а] мнѣ достоить» (ЛЛ 103); ср. *области* (Р, А); «и суть (ковчег. — Н. М.) на горѣ Араратѣи и промежу Арменьския и Парфѣ-скыя *страны* и на Дьявиньѣи земли» (ГА 35в); ср. *земля* (S).

В древнерусском языке употребление этих существительных в данном значении не было строго регламентированным, одна и та же реалья могла называться по-разному. Известный интерес для лингвиста может представить мнение историка: «*Земли* — это древние области, образовавшиеся под руководством старых торговых городов Руси; земли: Киевская, Черниговская, Переяславская, Смоленская и др. *Волость* — это княжество — одно из тех княжеств, на которые, постоянно переделяясь, делилась Русская земля в потомстве Ярослава. *Область* имела то же значение. *Волость*, или *область*, иногда совпадали с землей, когда, например, целая земля составляла владение одного князя, но обыкновенно составляли только часть ее»<sup>4</sup>.

Социальный признак у слова *земля* проявляется главным образом при сочетании его с притяжательными местоимениями, когда эти последние в свою очередь по смыслу соотносятся с определенной народностью, населением страны, области, края, с отдельным лицом, под властью которого находится конкретная территория. Такое использование *земля* характерно для языка летописи, хотя оно фиксируется и в языке переводного источника, например: «си глѣтъ г(с)ѣ: избѣри себѣ, да будетъ ли ти. Г̃. лѣ(т) глადѣ въ *земли* твоеи, ли м(с)ѣ. Г̃. бѣгати предѣ врагы своими, ли. Г̃. дни смѣртъ въ *земли* твоеи» (ГА 85б); «рѣша Русь Чудь [и] Словѣни и Кривичи вся *земля* наша велика и обилна» (ЛЛ 5); «куда же ходяще путемъ по своимъ *землямъ* не дайте пакости дѣяти отрокомъ ни своимъ ни чюжимъ» (ЛЛ 80 об.); «умыслиша дерзнути на Половцѣ и пойти в *землю* ихъ» (ЛЛ 93); «Леонидии Лакедомоньскыи мало имѣя вои иде на персы а нѣкому рекшу како съ малымъ идеши на толику *землю*» (Пч 14 об.).

У существительного *земля* в этом употреблении можно выделить оттенок, определяемый как «родина». Этот оттенок обычно реализуется при сочетании *земля* с прилагательным от существительного *отѣць* или же с этим существительным в форме родительного принадлежности. Например: «батьство свое вдано ему въ Спани. в очи *земли*» (ГА 238а); «погибнете сами и погубите *землю* оѣць своихъ» (ЛЛ 5б об.). С тем же оттенком может

Глеба и службы им, Пг., 1916 (С XIV); «Сказание об Борисе и Глебе по списку Чудова монастыря XIV в.», там же (Ч XIV); «Книги временныя и образныя Георгия Мпиха» по кн.: В. М. И с т р и н, Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе, I — Текст, Пг., 1920 (ГА; сумма всех списков Хроники Георгия Амартола обозначается S); Академический список Лаврентьевской летописи XV в. (А); Радзивилловский список Лаврентьевской летописи XV в. (Р) и Лаврентьевская летопись 1377 г. по кн.: ПСРЛ, I, 1—2, М., 1961 (ЛЛ); «Пчела XIV в.» по кн.: В. С е м е н о в, Древнерусская пчела, Сб. ОРЯС, LIX, 4, 1893 (Пч.)

<sup>4</sup> См.: В. О. К л ю ч е в с к и й, Соч., VI, М., 1959, стр. 134.

использоваться и сочетание *своя земля*. Особенно отчетливо указанный оттенок проявляется в контекстах, где наряду с сочетанием *своя земля* употребляется существительное *отъчина* или существительное *отъчство*, например: «Батыи же почтивъ я ч(с̄)тью достоиню и отпутивъ я расудивъ имъ кождо в свою очину и приѣхаша с ч(с̄)тью на свою землю» (ЛЛ 165).

В то же время *земля* иногда по смыслу противопоставляется *отъчство*, ср.: «Иже по землямъ блудить, тьснется притечи къ отъчству своему» (Пч 7). В данном случае у слова *земля* проявляется оттенок «чужая страна, не своя», который обычно подчеркивается сочетанием с прилагательным *чужии*: «тѣхъ ради обрѣтохъ злая си, и се погыбаю въ земли чужеи» (ГА 130а); «аще бы Бъ любилъ васъ и законъ вашъ, то не бысте расточени по чужимъ землямъ» (ЛЛ 68); «Некому плачущю, занѣ на чужей земли умираше, и рече» (Пч 129об). Антонимичность сочетаний *своя земля* — *чужая земля* создается за счет определений, имеющих противоположное значение. В некоторых же случаях можно говорить об оттенке «чужая страна» у существительного *земля*, исходя не из его сочетаемости и не из его противопоставленности тем или другим словам, но из общего содержания контекста, например: «много х(с̄)янъ изгублено бы (с̄) а друзии полонени и расточени по земля(м̄)» (ЛЛ 75 об.).

Оттенок «родина» реализуется у рассматриваемого слова в сочетании *Русьская земля*, причем в одном контексте с сочетанием *Русьская земля* употребляется и сочетание *наша земля*, и существительное *отъчина* для обозначения одного объекта. Такое разное наименование одного объекта встречается обычно в составе прямой речи, где отражается тема защиты родины, патриотические мотивы. Например: «и не даша ему Кыяне побѣгнути но послаша Всеволожу и митрополита Николу к Володимеру глше моли(м̄)ся княже тобѣ и братама твоима не мозѣте погубити Русьскыѣ земли аще бо възмете рать межю собою погании имуть радоватися и возмутъ землю нашу иже бѣша стяжали оци ваши и дѣди ваши трудо(м̄) велики(м̄) храбрствомъ побарающа по Русьскѣи земли» (ЛЛ 88 об. — 89); «слыша великыи кня(з) Всеволодъ Гюргеви(ч̄) внукъ Володимеръ Мономаха оже Олговичи воюю(т) с погаными землю Рускую и сжалиси о томъ и ре(ч̄) то ци тѣмъ очина однѣ(м̄) Руская земля а на(м̄) не очина ли» (ЛЛ 145 об.). Сочетание *Русьская земля* употребляется и в речи Святослава, ставшей афористической: «и ре(ч̄) Стославъ уже намъ нѣкамо ся дѣти волею и неволею стати противу да не посраимъ землѣ Рускиѣ но ляжемъ костыи [ту] мертвы ибо срама не имамъ» (ЛЛ 24 об., 971 г.).

Иногда сочетание *Русьская земля* соотносится с именем того или иного князя, — при этом усиливается социальный оттенок рассматриваемого слова. Примеры такого употребления представлены в языке как летописи, так и житийных памятников: «сущю самодрежцю всеи русьскѣи земли володимеру сну святославлю вьнуку же игореву» (Ск БГ 86 — в), «бы(с̄) бо ре(ч̄) кнѣз в тыи годы володы всею землею рускою именем владимеръ» (Чт БГ 6б); «(с̄)шна бы(с̄) цр̄кви (...) при блгороднѣмъ князи Всеволодѣ державному Русьскыя земля» (ЛЛ 69 об.).

Усиление социального оттенка у *земля* наблюдается и в тех случаях, когда это слово (безотносительно к определению) употребляется в одном контексте со словами, соотносимыми с понятиями власти, господства, например: «аще бо князи правѣдиви бывають в земли то многа отдаются согрѣшенъя [земли] аще ли зли и лукави бывають то болше зло наводитъ Бъ на землю понеже то глава есть земли» (ЛЛ 48; то же — ЛЛ 129).

Сочетание *Русьская земля* отмечено и в метафорических конструкциях, например: «вы бо темъ и намъ оружие земля русьская забрала и утверждение» (СкБГ 17а; ср. с сочетанием *земля наша*, употребленным в аналогич-

ной функции: «вы убо нбсьная чловѣка еста земельная аи҃гла стѣлапа и утвр-  
жение *землѣ нашея*» — Ск БГ 17а) <sup>5</sup>.

Социальный оттенок *земля* сохраняется и тогда, когда в функции определения выступают другие локальные прилагательные (*Гречьская, Болгарьская, Ромтиская, Лядьская, Ростовьская, Суждальская* и др.), например: «сама же отходивѣ до *грѣчьскы земля*» (СкБГ 23в); «и бы(с) радо(с) велика в Володимери градѣ видяще у собѣ великого князя всея *Ростовьскыя земля*» (ЛЛ 127 об.) <sup>6</sup>.

Значение «территория, находящаяся в чьем-либо владении» в еще большей мере было свойственно слову *страна*: об этом свидетельствуют как более частотное использование его, так и большее многообразие сочетаний с определением (с прилагательными *различьныи, многыи*, указательными местоимениями *тѣ, съ, всѣ* и притяжательными местоимениями), например: «от *всѣхъ* бо *странъ* ту приходяще почърплють ицѣление» (СкБГ 17б — в); «ц(с)рѣь Дарии воя собравъ *различьныхъ странъ*» (ГА 126а); «и да возвращаются съ сп(с)ниемъ в *страну* свою» (ЛЛ 12 об.); «Перфюрии еп(с)пъ исполнивсь срама и бещестья иде инѣмъ путе(м) в *страну* свою» (ЛЛ 137).

*Страна* обнаруживает известную тематическую прикрепленность: наиболее постоянно оно используется в текстах, где рассказывается о нашествиях и войнах (особенно в Хронике Георгия Амартола), например: «и събрахъ сребро и злато и батьство ц(с)рѣвь и *странъ* ихъ» (ГА 95б); «июда (...) побѣды многы створивъ Антиховы люди изгна от *страны* своя» (ГА 131а). Такое употребление тесно смыкается с контекстами, содержащими слова, соотносимые с понятиями власти, например: «хотяще бо оканьныи всю *страну* погубити и *владѣти* единъ» (о Святополке. — Н. М.) (ЧтБГ 12б); «Игорь же нача *княжити* въ Киевѣ мирь имѣя ко всѣмъ *странамъ*» (ЛЛ 14 об.). Приведенный пример из Чтения о Борисе и Глебе в этом же источнике в трансформированном виде имеет повторное употребление, при котором *страна* употребляется в форме мн. числа и приобретает оттенок «область», ср.: «на прочюю братью въздвизаше гонения хотя и вся изгубити и ти самъ единъ *владѣти* всѣми *странами*» (ЧтБГ 26б.).

Подобно *земля*, *страна* используется с оттенком «чужая страна, чужое государство», который подчеркивается при сочетании с прилагательным *чюжи*, например: «изгану ему сушию не токмо из града нъ изъ области всея избежавше же ему въ *страны чюжи* и тамо животь свои сконца» (ЧтБГ 27а). Выражение «въ страны чюжи и тамо животь свои сконца» является более или менее устойчивой формулой, принятой в древнерусском литературном языке и применяемой при описании ситуативно сходных обстоятельств. Ср. «и тамо нелѣпо уродьствьно житие въ *чюжеи стране* испроверже» (ГА 130б — в) (т. е. в приведенной формуле варьируются глаголы *сконца — испроверже* и существительные *животь — житие*).

Смысловой оттенок «чужая страна» реализуется иногда и вне сочетания с *чюжи*, что свойственно главным образом языку летописи, например: «они же рѣша разгнѣвася Бъ на оци наши и расточи ны по *странам* грѣхъ ра(д) наши(хъ)» (ЛЛ 27 об.); «грады ихъ разбиша и сами расточиша по

<sup>5</sup> Мы не останавливаемся на вопросе о том, какая именно территория обозначалась сочетанием *Русьская земля*, тождественным по смыслу слову *Русь*. Сошлемся на высказывание Ф. П. Филина: «... каково бы ни было происхождение термина *Русь*, бесспорным является то, что в эпоху древнекиевской Руси это наименование имело двойственное значение: общее название древнерусской народности и территории и название собственно киевской области» (Ф. П. Ф и л и н, Образование языка восточных славян, М.— Л., 1962, стр. 292).

<sup>6</sup> О социальном употреблении существительного *земля*, о тождественности терминов «Русская земля» и «Русское государство» см.: Б. Д. Г р е к о в, Киевская Русь, [Л.], 1953, стр. 285—286.

*странам* и работают в *страна(х)*» (ЛЛ 28 об.); «възложи сему Бѣ в ср(д)це въ *страну* ити онъ же устремися в Стую Гору» (ЛЛ 53). Оттенок «чужая страна» у слова *страна* может возникать при его использовании в одном контексте с глаголом *расточити* (*расточати*).

Слово *страна* реже, чем *земля*, сочетается с локальными прилагательными, например, с определением *Русьская* — всего в трех контекстах, два из которых относятся к языку летописи (договор 945 г.) и один — к языку Чтения о Борисе и Глебе. Пример: «яже суть написана на харатыи сеи хранити от Игоря и от всѣхъ боляръ и от всѣ(х) людии от *страны Руския*» (ЛЛ 14). Иногда сочетание с тем же локальным прилагательным имеет форму и ед. и мн. числа. Например: «тъ нынѣ старѣвѣся въ Индиистѣи *стране* в нищитѣ пребываетъ» (ГА 23а); «ему же утрняя *страны* индиискыя приближаютъ(с)» (ГА 117б).

Замечено, что в летописном тексте при передаче названия конкретной страны, государства в сочетании с локальным прилагательным обычно использовалось *земля*; напротив, в переводном источнике в той же функции *страна* употребляется примерно в два раза чаще, чем *земля*.

Языку древнерусских памятников было свойственно параллельное употребление слов *земля* и *страна* в одном контексте. Наблюдается несколько типов семантико-понятийных отношений этих существительных. Так, оба слова могут выражать тождественное значение «страна, государство»: «ту бѣ съшьлося отъ всеѣ русьскы *земль* и отъ инѣхъ *странъ*» (СкБГ 25б); «Киликесь же доставшыю ему *землю* наре(ч)ю Киликия въ свое имя кождо свою *страну* нарекоша» (ГА 22а). См. пример синонимического использования слов *земля* — *страна*: «его имене трепетаху вся *страны* и по всѣ(м) *земля(м)* изиде слу(х) его» (ЛЛ 97 об.). Данный оборот представляет собой устойчивую конструкцию, в составе которой могла изменяться грамматическая форма *земля* (вместо мн. числа — единственное): «сего имене токмо трепетаху вся *страны* и по всеи *земли* изиде слу(х) его» (ЛЛ 148 об.). Здесь семантическое тождество *земля* — *страна* нарушается: слово *страна* имеет значение «страна, государство», тогда как слово *земля* используется в значении «мир (населенный людьми)». См. соотношение этих существительных как обозначающих видовое и родовое понятия: «не нашему единому языку (...) тѣкъмо подано бысть бѣгъмъ нѣ и всеи *земли* спсние отъ всѣхъ бо *странъ* ту приходяще почърплють ицѣление» (СкБГ 176 — в).

Существительное *страна* параллельно употреблялось с другим семантически близким словом — *власть*, ср.: «множайшие въ нихъ по *странамъ* и *вѣстемъ* раздѣленомъ погнуги на позорищихъ оружьемъ и звѣрми» (ГА 169а). *Власть* обнаруживает большое сходство со словами *страна* и *земля*. *Власть* со значением «территория, находящаяся в чьем-либо владении» чаще использовалось в языке летописи, обычно сочетаясь с притяжательными местоимениями. Например: «многы же цркви созда по *власти* своей» (ЛЛ 148 об.); «снѣвцъ распусти своѣ кождо и(х) в свою *власть*» (ЛЛ 154 об.); «при томъ Антиосѣ плѣнена бы(с) Сурийская *власть*» (ГА 126г). В языке летописи также *власть* нередко конкретизируется названием города: «бѣ бо Рогъволодъ пришелъ и-заморья имяше *власть* свою в Полотъскѣ» (ЛЛ 23 об.); «шоими брата своего Василка к собѣ и буди ва(м) едина *власть* Перемышль» (ЛЛ 92 об.). Соотносясь с названием города, *власть* обозначало территорию более ограниченную, чем *земля* и *страна*, для которых такое соотношение не было свойственно. Значение *власть* в подобных случаях допустимо толковать как «волость, вотчина», что подразумевает некоторые существенные различия обозначаемых реалий в плане политико-административном.

Между словами *земля* и *власть* можно установить внешнее сходство по их сочетаемости с прилагательным *Русьскыи*, хотя такое сочетание в целом

мало свойственно слову *власть*. В языке Лаврентьевской летописи зафиксировано два примера такого употребления *власть*: «и нача помышляти (Святополк. — Н. М.) яко избюю всю братью и прииму *власть* Русьскую единь» (ЛЛ 47 об.); «Всеволодъ же сѣде Кыевъ на столѣ оца своего и брата своего переима *власть* Русьскую всю» (ЛЛ 68 об.). Характерно, что сочетание *власть Русьская* используется в конструкции с глаголом *приятти* (*перяяти*), который как раз усиливает социальный оттенок этого существительного. По-видимому, в данном случае следует говорить о значении не отдельной лексемы *власть*, но сочетания *власть Русьская*, которое можно определить и как «Русская страна, государство», и как «господство, власть над Русской страной, государством».

От того, как определяется значение существительного *власть* — «страна, область» или «господство над страной, областью», иногда зависит смысл контекста. Пример: «нѣкыи Федоръ Мапсуитииского града въ Киликии *власть* уполучивъ» (ГА 197а). Этот пример допускает два толкования: 1) «нѣкыи Федоръ» достиг власти, господства во всей Киликии; 2) «нѣкыи Федоръ» получил лишь определенную область в Киликии (юго-восточной части Малой Азии). Из этого примера можно видеть, что для правильного толкования значения слова лингвистический анализ бывает недостаточным, значение в данном случае определяется и теми конкретными фактами, которые представляют собой предмет описания в источнике.

Возможность толкования слова *власть* в одном из двух значений следует отличать от употребления его в значении недифференцированном, когда оба значения реализуются одновременно. Само понятие господства, могущества тесно смыкалось с понятием обладания определенной территорией, и чем обширнее была территория, тем бóльшим могуществом обладал правитель. Недостаточно четкая семантическая дифференциация слова *власть* не только была обусловлена, таким образом, состоянием языка старшего периода, а также понятиями и представлениями, коренным образом отличающимися от современных, но в ряде случаев была связана и с конкретными социальными факторами. Употребление *власть* в недифференцированном значении отмечается прежде всего в языке оригинальных источников: «избюеть вся наслѣдники оца своего а самъ приметъ единь всю *власть*» (СкБГ 10в); «и вышедъ Ярополкъ въ градъ Ольговъ переа *власть* его» (ЛЛ 23 об.); «Въстави дьяволъ вражду (...) Стополка на Бориса и Глеба *власти* ради абы единому *власть* приятти» (ЛЛ 135 об.).

*Власть* в недифференцированном значении обычно используется в текстах, где прямо или косвенно говорится о преемственности княжения и где используется глагол *приятти* (*перяяти*). В летописи такое употребление встречается не только при описании фактов древнерусской действительности, но и при изложении библейских сюжетов, ср.: «и умре Моисии ту на горѣ и прия *власть* Исѣ Навгинъ» (ЛЛ 32 об.). Аналогичное выражение есть в Хронике Георгия Амартола, и можно думать, что здесь сказано именно влияние оригинальных древнерусских памятников: «По Моиси же приятъ *власть* Исѣ Наугинъ» (ГА 71в.) Таким образом, сближаясь семантически с существительными *земля* и *страна* в обозначении территории, *власть* всегда (или почти всегда) выступает с подчеркнутым социальным оттенком.

Полногласная форма *волость* отличается от неполногласной *власть* в первую очередь своим употреблением — *волость* встречается только в языке оригинальных источников, причем преимущественно в составе прямой речи, например: «грамоту напиши с правдою тои *волость* возмешь с добромъ» (ЛЛ 84); «бра(т) наю старѣишии Романъ уимаеть *волости* у наю» ЛЛ (131). По характеру использования *волость* в составе косвенной речи аналогична неполногласной форме. Так, в языке летописи много случаев,

когда *волость* соотносится и с названиями городов, и с названиями отдельных областей; в ряде примеров определением к *волость* является имя собственное в форме родительного принадлежности или притяжательное местоимение. Примеры: «и воротша в Пересопницу в Вячеславию *волость*» (ЛЛ 108 об.); «тогда же съѣдъ роздая *волости дѣте(м)* своимъ Андрѣя посади Вышегородѣ а Бориса Туровѣ» (ЛЛ 115 об.); «Сѣославъ же умиривъ съ Ярославомъ иде на Олга и поже *волость* его» (ЛЛ 123 об.); «Тое же зимы воеваша Литва Новгородскую *волость*» (ЛЛ 154). Существительное *волость* в форме ед. и мн. числа может соотноситься с названиями нескольких городов: «тебе хоче убити и зяяти *волость* твою Туровъ и Пинескъ и Берестие и Поборину» (ЛЛ 88 об.); «даша Изяславу Туровъ и Пинескъ и Мѣньску то бо бяшетъ его осталося передньиѣ *волости* его» (ЛЛ 100 об.).

Значение «чужая территория» в целом не свойственно словам *власть* и *волость*. Только в одном случае *волость* в сочетании с прилагательным *чужии* имеет значение «чужая область»: «и посла к нему Мѣстиславъ соль свои из Новгорода глѣя иди ис Суждаля Мурому а в *чужей волости* не съѣди» (ЛЛ 85 об. — 86).

*Волость*, как это видно из его употребления, обычно обозначало менее обширную территорию, чем существительные *земля* и *страна*, к тому же территории, обладающую иными политико-административными характеристиками. Правда, в языке летописи отмечен пример сочетания *волость* с прилагательным *Кыевьскыи*, что характерно для существительного *земля*, ср.: «река съѣдиши в *Кыевьской волости* [а] мнѣ достойтъ» (ЛЛ 103). В другом случае *волость* (в форме ед. числа) параллельно используется в одном контексте с *земля* (в форме мн. числа), причем первое обозначает видовое понятие, а второе — родовое: «и хотѣша послати *по земля(ѣ)* головы и руки болярьскыѣ ино нѣкуда послати зане вся *волость* изъимана» (ЛЛ 170).

Семантическое различие между полногласной и неполногласной формами *волость* — *власть* состоит в том, что первая не имеет того подчеркнуто социального оттенка, который характерен для второй. Показательно, что встречающаяся в ранних списках форма *волость* заменяется в более поздних списках на *власть*: «а Ярославъ прея *волость* русьскую» (СкБГ 16б); в списках из Сильвестровского и Чудовского сборников XIV в. в тождественных контекстах используется *власть*. Аналогичная замена наблюдается и в Лаврентьевской летописи: «пойде Дѣдъ хотя переяти Василкову *волость*» (ЛЛ 89 об.); в Радзивилловском списке — *власть*. Интересно, что и в самом тексте Лаврентьевской летописи тождественные контексты с некоторыми вариантами грамматической конструкции могут содержать в одном случае форму *волость*, а в другом — *власть*, ср.: «бѣ бо Рогъволодъ пришелъ и-заморья имѣяше *власть* свою в Полотьскѣ» (ЛЛ 23 об.); «бѣ бо Роговолодъ перешель изъ заморья имѣяше *волость* свою Полтескѣ» (ЛЛ 99 об.).

По отношению к *волость* неполногласным вариантом выступает и «церковно-славянское *область*, не имеющее себе морфологического соответствия в восточнославянской речи (слова *обволость* нет в древнерусском языке)...»<sup>7</sup>.

В значении «территория, находящаяся в чем-либо владении» слово *область* употребительно в основном в языке Чтения о Борисе и Глебе и в языке Хроники Георгия Амартола, например: «блѣжнии же борисъ много показа мл(с)рдие во *области* своеи не точью же къ убогымъ нѣ и всимъ людемъ» (ЧтБГ 12а); «бѣша же вѣрнии кнѣзи изъ *области* своихъ и инии

<sup>7</sup> Ф. П. Филин, Лексика ..., стр. 80.

мнози пришли изъ *областии* своихъ дѣтескъ несуще» (ЧтБГ 446); «тогда же *области* тоя Амбросии етеръ обладаше» (ГА 2366).

Подобно рассмотренным выше существительным, *область* сочетается с локальными прилагательными *Ростовская*, *Суждальская*, что свойственно главным образом языку летописи, например: «бывше бо единою скудити в Ростовѣсти *области* встаста два волѣхва» (ЛЛ 59). *Область* и другие слова анализируемой лексико-семантической группы различаются грамматической сочетаемостью: при указании направленности действия первое употребляется обычно с предлогом *на* (особенно в языке Чтения), тогда как вторые используются с предлогом *въ*. В то же время *область*, как и *власть*, может использоваться в конструкции с глаголом *прияти*, ср.: «и положи руцѣ свои на Исѣ Навгина, да преиметь *область* его» (ГА 65а).

Семантическая близость *область* — *власть* подтверждается их заменяемостью и в переносном значении «удел, судьба», ср.: «и яко же Иоанъ Богословъ рече елико же ихъ приять дасть им *область* чадомъ Божиимъ быти» (СкБГ 186); в списке Сильвестровского сборника — *власть*. Это единственный случай употребления слова *область* в языке Сказания о Борисе и Глебе.

Различие между словами *власть* — *область* состоит в степени их использования в текстах отдельных памятников. Так, Сказание и Чтение одинаково можно отнести к произведениям агиографического жанра, однако именно в Чтении *область* встречается наиболее постоянно, а единственный случай его употребления в Сказании устранен в более позднем списке XIV в., где последовательно используется *власть*. В дальнейшем *власть* и *область* все более семантически размежевывались: в слове *область* все более укреплялось пространственно-территориальное значение; за *власть* сохранилось значение социальное.

Рассмотренная группа является лишь одним из звеньев, составляющих лексико-семантическую систему древнерусского языка. Каждая из таких лексико-семантических групп, эту систему составляющих, обладает своими особенностями, связанными как с тематической отнесенностью компонентов, так и с принадлежностью к тому или другому грамматическому классу. Стремясь показать, как одна такая группа реализуется в конкретном письменном источнике и какое влияние на реализацию оказывает характер контекста, мы сознавали, что в применении к древнерусской лексико-семантической системе в целом можно говорить об общности некоторых отдельных тенденций, имея в виду их индивидуальное проявление почти в любом случае.

В реализации значения слова основную роль играет его непосредственная сочетаемость. Значение определяемого находится в зависимости от определения, а значение определения в еще большей степени зависит от семантики определяемого. Если у слов рассмотренной группы значение «территория, находящаяся в чьем-либо владении» реализуется чаще всего в сочетаниях с определениями, выраженными притяжательными местоимениями и локальными прилагательными, то, например, у прилагательных *святыи*, *блаженныи*, *богослѣпныи*, *благыи* значение «непорочный, праведный» проявляется обычно в сочетаниях с одушевленными существительными и именами собственными (*святыи еп(с)пѣ*, *блѣжныи Борисъ* и т. д.). Роль семантики определяемого (существительного) как главного фактора в установлении семантики определения (прилагательного) может быть иллюстрирована примером, когда существительное имеет в одном случае прямое значение, а в другом — переносное: *зѣлыи*, определяя слово *путь* в прямом значении «дорога», толкуется как «неровный, каменистый»; при употреблении *путь* в переносном значении «жизнь», то же определение *зѣлыи* получает толкование

«греховный, порочный», ср.: «Коньную потребу обличает зѣлыи путь» (Пч 22об.); «Сими казньми казнить на(с) Бѣ (... ) да негли встягнувшисея от пути своего злого» (ЛЛ 160об.—161). Сравнительно с существительными и прилагательными глагол по своим семантическим особенностям является наиболее назависимой частью речи. Формально легче всего поддаются семантической типизации сочетания глаголов с предлогами, позволяющими в некоторых случаях уточнить семантику глагола. Так, глаголы *dicendi речи, глаголати, вѣцати, бестѣовати* и др. в конструкциях с предлогом *къ* употребляются с оттенком «обратиться», ср.: «стѣя же рекоста къ нима» (СкБГ 23в); «Съ ц(с)ръ сы гѣше къ своей братии» (Пч 36об.); «аѣль бестѣова къ Данилу» (ГА 136б); «вѣца Саулъ къ иерѣю» (ГА 27в). Компоненты этой группы *молвити* и *глаголати* в сочетаниях с предлогом *на* имеют значение «наговаривать, хулить», ср.: «людие же на нь гѣху» (ГА 24в); «Мнози многажды молвятъ на ц(с)ря» (Пч 27об.).

Вместе с тем непосредственная сочетаемость не может быть признана абсолютным критерием в определении семантики слова. Например, *языкъ*, являющееся компонентом группы *языкъ, народъ, люди*, семантически близкой группе *власть, волость, земля...*, в сочетании с прилагательными, обозначающими национальную принадлежность (*Словѣньскъ языкъ Гречьскыи языкъ*) может толковаться и как «язык, наречие», и как «народность, племя». В таких случаях определение семантики может опираться на употребление в контексте слов, которые допускают семантическое сопоставление (по сходству или различию) с рассматриваемым словом, ср.: «бы(с) языкъ Словѣньскъ от племени Афетова» (ЛЛ 2об.) (в контексте используется семантически близкое *племя*). Аналогичный случай представлен при рассмотрении слова *земля*, которое с оттенком «родина» используется в одном контексте с *наша земля, отчина*. Особенно часто параллельное употребление прилагательных, обозначающих качественную оценку. *Святыи*, относясь к одушевленному существительному или имени собственному, соседствует с *блаженныи*, которые в свою очередь употребляются рядом с *благотѣрныи* и т. д., ср.: «прѣкы паки възгражена бы(с) на томъ мѣстѣ во имя стю и блжною стр(с)пцю» (ЧтБГ 32б); «Преставися блговѣрныи [и] блжныи еп(с)пъ Лука» (ЛЛ 138). Семантически близкие слова, используя в одном контексте, могут и совпадать своими значениями, и различаться оттенками.

Слово, реализуя разные свои значения, может сопоставляться с другим тематически близким ему словом, как по признаку семантического сходства, так и семантического различия. Так, *земля* в анализированном значении употребляется в одном контексте с семантически близким *страна*; в значении «суша» оно же сопоставляется с *вода* и *море*, ср.: «не бѣше никому же весма по земли ни по морю безъ оружия проити» (ГА 44б); «како нбо устроено (...) и земля на вода(х) положена» (ЛЛ 79об.); та же *земля* как символ человеческого мира противопоставляется слову *небо*, символизирующему мир божественный, ср.: «яко бѣ на нбси выспръ и ты на земли низу» (ГА 191а).

Следует, однако, учитывать, что одна и та же лексическая сопоставимость иногда бывает представлена при употреблении слова в разных значениях. Например, *мужь* в одном контексте с *жена* употребляется и в значении «муж, супруг», и в значении «мужчина», поскольку в том же контексте *жена* может толковаться и как «женщина», и как «супруга, жена», ср.: «не тако жена желѣть по мужи ни оць по сню яко азъ по ва(с)» (Пч 94об.). В таких случаях определение значения интересующего слова зависит от смысла и содержания контекста. Именно содержание контекста позволяет выявить у *земля* оттенок «чужая страна», когда в кон-

тексте отсутствуют слова, с которыми *земля* может быть семантически сопоставлена. Сходное явление наблюдается и в группе глаголов *dicendi*: наиболее частотный компонент *речи*, конструируя диалог, обозначает речевой акт не только как «сказать», но и как «ответить», и как «спросить», ср.: «инѣхъ избиша и другыя извязаша и *рекоша* имъ много ли ваши(х) назади и *рѣша* мнози бу(т) и *ре(ѣ)* Володиславъ держи(м) колодники еѣ собѣ на смѣртъ» (ЛЛ 122об.). Здесь определение значений глагола зависит от характера вводимой реплики. Следовательно, семантический анализ требует порой выхода за границы собственно лингвистического исследования.

В изучении лексической системы дачный аспект представляется весьма важным, так как в источниках русского языка старшего периода содержание и—шире—тема нередко обуславливали выбор слов или реализацию их отдельных значений. Тематически обусловленное употребление характерно для *власть* с подчеркнутым социальным оттенком, когда данное слово используется в тех летописных текстах, где говорится о преемственности княжения; в значении же юридического термина «право, возможность» *власть* отмечается, как правило, в языке деловых документов, например: «И да не имѣють *власти* Русь зимовати въ вустыи Днѣпра» (договор 945 г.) (ЛЛ 12об.). Употребление *человѣкъ* для обозначения конкретного лица не имеет жанровых ограничений, но в обобщенном значении «каждый, любой человек» это слово используется в текстах философско-религиозного содержания, где речь идет о назначении человека, о различных сторонах человеческого естества. Такое употребление особенно свойственно назидательно-афористическим текстам Пчелы, ср.: «и дѣша бес плоти не зоветь(с) *члѣвкъмъ* ни плоть бе(ѣ) дѣши» (Пч 18об.); «Ако коневи рязанье, псу бреханье (...) ихъ знаменье тако же *члѣву* слово» (Пч 46об.).

От характера контекста зависело использование таких лексических единиц, которые с большей или меньшей достоверностью можно отнести к средствам, свойственным разговорному языку. Такова, например, полногласная форма *воласть*, зафиксированная в составе прямой речи, глагол *молвити*, который также употребляется в прямой речи не только в оригинальных памятниках, но и переводных [примеры: «и *ре(ѣ)* има Янь что ва(м) бзи *молвятъ*» (ЛЛ 60); «Сь(...) *ре(ѣ)* языкъ твой иже добрѣ *молвити* учиться не хотѣ» (Пч 136об.)].

Таким образом, содержательно-тематический и стилевой факторы непосредственно или опосредованно выступают как своего рода регуляторы при реализациях древнерусской лексико-семантической системы. Материал письменных источников дает основание предполагать, что данная система, приспособленная к нуждам и потребностям литературного изложения старшего периода и одновременно отражавшая эти потребности, в дальнейшем развивалась в тенденции «раскрепощения» слова от контекста, который был связан с определенной темой и содержанием. Это «раскрепощение», возможно, не столько шло изнутри традиционных жанров, сколько осуществлялось под воздействием живой речи, находившей выражение в первую очередь в деловой письменности.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## ОБЗОРЫ

Л. Г. ГЕРЦЕНБЕРГ

## ТЕОРИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО КОРНЯ СЕГОДНЯ

Индоевропейское языкознание развивалось и продолжает развиваться «под знаком корня». Этот важнейший разряд морфем был, как известно, выделен древнеиндийскими, классическими, семитскими грамматистами для описания своих языков и оказался чрезвычайно полезен и при сравнительном описании языков, при установлении родства слов из различных языков. Корни стали выделяться во многих случаях не на основе анализа одного языка, а при сравнении материала родственных языков. В словарях, стремившихся охватить весь вовлеченный в сравнение материал, организующим началом являлись те же корни. Немало этимологических сопоставлений держалось только на корнях. Поскольку корни содержат немного звуков, то комбинационные возможности корневого этимологизирования очень велики. Появились, с одной стороны, работы, показавшие, что вследствие антропофонической ограниченности звукового состава для любой пары языков некоторые близкие значения будут сходны и в плане выражения<sup>1</sup>; это часто усугубляется ареальными факторами<sup>2</sup> и теми закономерностями, которые установлены в развитии детской речи<sup>3</sup>. Данный круг проблем привлекал внимание исследователей; в результате усилий нескольких поколений ученых была создана теория индоевропейского корня, — естественно, не во всем единая и во многом меняющаяся и изменяющаяся до сих пор.

Были определены фонетические закономерности, характеризующие запреты, накладываемые на первый и последний согласный корня<sup>4</sup>. Исключаются или очень редки сочетания: 1)  $k...k$  ( $k = k$ ), 2)  $k...gh$ , 3)  $gh...k$ , 4)  $g...g$  ( $g \neq g$ ), 5)  $gh...g$ , 6)  $g...k$ , 7)  $x...x$ , 8)  $g...gh$ , 9)  $gh...gh$  ( $gh \neq gh$ ); напротив, часты сочетания: 1)  $k...n$ , 2)  $n...n$  ( $n \neq n$ ),  $x...n$ . Первая группа корней составляет около 2% всех реконструированных индоевропейских корней, вторая — около 70%. Эти закономерности касаются способа артикуляции. В наиболее общем виде они были сформулированы Мейе как закон возрастания звучности. Некоторые из этих закономерностей почти не имеют исключений; так, исключения из запрета структур  $k...gh$ ,  $gh...k$  и  $g...g$  основываются на неточном анализе: например, корень *\*bhat-* реконструирован, исходя из кельтского и славянского,

<sup>1</sup> J. Friedrich, Zufällige Ähnlichkeiten auf verschiedenen Sprach- und Kulturgebieten, IF, 60, 1950.

<sup>2</sup> В. М. Илич-Свитыч, Древнейшие индоевропейско-семитские языковые контакты, в кн.: «Проблемы индоевропейского языкознания», М., 1964.

<sup>3</sup> R. Jakobson, M. Halle, Grundlagen der Sprache, Berlin, 1960, стр. 49—72.

<sup>4</sup> G. Jucqois, La structure des racines en indo-européen envisagée d'un point de vue statistique, в кн.: «Linguistic Research in Belgium», Wetteren, 1966; е го ж е, La théorie de la racine en indo-européen, «La linguistique», VI, 2, 1970; VII, 1, 1971.

\**bad-* — на кельтском и латинском материале, в то время как эти языки не всегда различают придыхательные и простые звонкие; привлекаемый латинский материал иначе толкуется в специальных словарях. Анализ этих трех ограничений привел к выводу о том, что звонкие непрдыхательные — позиционные варианты звонких придыхательных и глухих, приобретшие, видимо, на каком-то этапе самостоятельный фонетический статус. Тогда, особенно если учесть распространенность глухих в начале корня,  $g...gh < k...gh$  и т. п.

В отношении места артикуляции <sup>5</sup> был открыт ряд  $k^u tkr$  и правило, по которому в индоевропейских корнях тот из двух согласных, который в данном «ряду» помещается левой, должен непременно быть звонким придыхательным. Если принять, что слева направо в этом ряду уменьшается сила артикуляции, можно сформулировать такое правило, по которому более слабый по месту артикуляции согласный должен быть более сильным по способу артикуляции (т. е. звонким придыхательным) и видеть в этом балансе рефлекс древнейшего соответствия корней слогам.

Фонетическая и морфологическая структура корня связаны и выводятся путем сопоставления корней. Для собственно морфологического анализа сопоставляются разные формы одного и того же корня. В том, что один и тот же корень может представлять в виде нескольких м о д и ф и к а ц и й, и заключена возможность морфологического анализа корня. При этом оказывается, что модификации корня и, соответственно, сферу его анализа можно разделить на два отдела. Во-первых, те, которые имеют грамматическое значение, которые служат для формирования особых корневых парадигм. Эти модификации основаны на чередовании гласных в корне и носят название аблаута или апофонии. Во-вторых, те, которые устанавливаются путем сравнительно-исторического анализа и при помощи внутренней реконструкции: они обычно не имеют корреспонденций в плане содержания и чаще относятся к согласным, — это историческая, или, лучше, «доисторическая» сегментация корня.

Таким образом, основные проблемы морфологической теории корня, это: 1) проблема аблаута, 2) проблема сегментации; 3) проблема канонической формы, вытекающая из попыток исторической интерпретации первой и второй проблем.

Наиболее рано был определен тот вид сегментации индоевропейского корня, который связан с отделением последнего согласного. Примеры этого явления могут быть собраны на материале отдельного языка, например, древнеиндийского: *gras*-«пожирать»/  $\partial\bar{z}$ -«глотать», *śruṣ-*/ *śru-*«слышать», *śvit-* «сиять»/ *śuc-* «мерцать»/ *śubh-*«сиять», *mlup-*/ *mruc-*/ *mluc-* «садиться (о солнце)», *vip-/vij-/vyath-* «дрожать», *dru-*/ *dram-*/ *drā-* «бежать», *tras-* «бояться»/ *tarj-* «угрожать» и т. п. Приведенные примеры позволяют выделить в качестве последнего элемента корня *-s-*, *-t-*, *-c-*, *-bh-*, *-p-*, *-j-*, *-th-*, *-u-*, *-m-*, *-a-*; эти элементы, значение которых почти не поддается определению, называют детерминантами. Другие детерминанты могут быть выделены посредством сопоставления данных различных языков: *ǵeld-* (др.-греч. ἔλδομαι «желать») / *ǵelp-* (др.-греч. ἔλπομαι) / *ǵel-* (литов. *vilūios* «надеюсь»), *meldh-* (нем. *melden*) / *melǵ-* (русск. *молвить*) / *melg-* (лат. *promulgāre* «объявлять») / *melp-* (др.-греч. μέλω «петь») / *mel-* (др.-греч. μέλος, хет. *mal-lai* «ценить»), *trep-* (ст.-слав. *mpenem*) / *tres-* (др.-инд. *trāsati*) / *trēk-* (авест. *tarasaiti*) / *trem-* (лат. *tremō*) — здесь выделяются детерминанты *-d-*, *-p-*, *-dh-*, *-ǵ-*, *-g-*, *-s-*, *-k-*, *-m-*. В последние годы в исследовании индоевропейских

<sup>5</sup> W. L. M a g n u s s o n, Complementary distributions among the root patterns of Proto-Indo-European, «Linguistics», 34, 1967.

детерминатов были выдвинуты новые принципы <sup>6</sup>. Если раньше основное внимание уделялось накоплению материала и в некоторых случаях предпринимались попытки установления значения того или иного детерминанта комбинаторным путем, то сейчас произведено важное отождествление детерминантов с именными суффиксами древнейшего слоя и сделаны шаги в направлении изучения детерминантов в историческом плане: динамика их может быть выявлена из раздельного обобщения внутриязыковых и межъязыковых систем, — таким образом могут быть различены индоевропейские, и, например, индоиранские детерминанты.

Таким же образом была установлена отделимость — в некоторых случаях — первого элемента корня. Эти элементы, значение которых также не поддается установлению, получили название преформантов <sup>7</sup>. В качестве преформантов наиболее распространены:

\*k-: ст. слав. *kość*, но др.-инд. *asthi-*, др.-греч. ὀστέον; др.-инд. *mūrdhan-*, др.-греч. βλωφρός, но авест. *katərəda-*; лат. *capere*, др.-греч. κάπρος, др.-исл. *hafir*, но *aper*, др.-в.-нем. *ebur*, слав. *вепрь*; лат. *cōram*,

но *ōs*, *ōris*, авест. *as-*; др.-инд. *klāmati*, но *drāmati*, др.-греч. δραμῆϊν.

\*d-: др.-греч. δολιχός, русск. *долгий*, но литов. *ilgas*; литов. *darbas*, но нем. *Arbeit*, слав. *работа*; герм. *dagan*, но др.-инд. *ahan-*; лат. *dacruma-*; др.-инд. *āśru-*, литов. *ašara-*.

\*u-: др.-инд. *vārsati / arṣati*, *ṛṣabhā / ṛsabhá-*; др.-инд. *vañcati / añcati*; др.-инд. *vāsati* «проживать, ночевать» / *āsti* «быть».

Интересны чередования нескольких преформантов, например, *коза*, др.-англ. *hecen*, др.-греч. δῆξα (Hes.), др.-инд. *aṣa-*, литов. *ožys*. Другие согласные тоже засвидетельствованы в качестве детерминантов. Эти факты, а также реконструируемые для индоевропейского уровня многочленные начальные группы согласных (например, др.-греч. κτεῖς <\*p<sup>h</sup>kt-, ср. πεχτέω, лат. *pecten* и др.) заставляют предполагать для самого древнего уровня префиксацию, которая впоследствии была регенерирована <sup>8</sup>. Известно, что Мейе выступил с тезисом о том, что индоевропейский не знал префиксации <sup>9</sup>. Этот тезис вступает, однако, в противоречие с тем, что сам Мейе в латинском этимологическом словаре поддерживает ряд преформантных этимологий. Преформантное толкование Мейе предлагал и для авест. *tkaeša-*, относя этот тип к «просторечной» лексике <sup>10</sup>.

Наряду с выделением детерминантов и преформантов известен ряд других модификаций. Во-первых, это — частичные изменения способа артикуляции согласной, например: а) в начале слова: др.-греч. θυρα, гот. *daur*, но др.-инд. *dvār*; др.-греч. καρδία, лат. *cor*, но др.-инд. *hṛd-*, авест. *zərəd-*; б) в конце корня: др.-инд. *vadhū*, но др.-англ. *weotuma-* «калым»; др.-инд. *mahi*, но др.-греч. μέγας, лат. *magnus* <sup>11</sup>. Эти чередования объяс-

<sup>6</sup> Э. А. Макаев, Структура слова в индоевропейских и германских языках, М., 1970, особенно стр. 182—216.

<sup>7</sup> P. Colinet, Essai sur la formation de quelques groupes de racines indo-européennes: I. Les preformantes proto-aryennes, Gent — Leipzig — Lowen, 1892. Библиография по преформантам — в указанной книге Э. А. Макаева (примеч. 6). М. М. Маковский рассматривает преформанты как показатель «лексико-семантической системности». См.: М. М. Маковский, О подвижных формативах в современном немецком языке, «Ин. яз. в шк.», 1967, 1.

<sup>8</sup> В. Г. Адмони, Регенерация морфологических форм в германских языках, в кн.: «5-я научная сессия по вопросам германского языкознания», М., 1969, стр. 3—4.

<sup>9</sup> А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М. — Л., 1938, стр. 171.

<sup>10</sup> A. Meillet, Av. *tkaeša-*, «Studia Indo-Iranica. Festschrift W. Geiger», Leipzig, 1931.

<sup>11</sup> O. Szemernyi, Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft, Darmstadt, 1970, стр. 87—90.

няются обычно либо при помощи привлечения фонотактических факторов (ср. тадж. *равам / рафтан*)<sup>12</sup>, либо при помощи контаминации различных корней, либо при помощи обращения к дифференциальным элементам (ср. русск. *мыт* < \**mūti*, *мыть* < \**mūtī*).

Во-вторых, это индоевропейская инфиксация. Давно известно, что внутри корня могут возникать некоторые элементы, прежде всего сонантические: ср. авест. *xšvaš*/лат. *sex*, др.-инд. *syūtas*, литов. *siūti*/др.-инд. *sūtram*, лат. *suō*, др.-инд. *hyas*/нем. *gestern*, лат. *heri* и, наконец, наиболее распространенный тип — лат. *linguō*/др.-греч. *λείπω*. В случае чередования типа др.-инд. *rup*/лат. *rumrō* «ломать» другие модификации (др.-инд. *ruj-*, лат. *ruō*) позволяли выделить минимальную форму корня *ru-* и ряд детерминантов, которых в форме *ru-m-p-* могло быть два. Но если одни корни имеют такие модификации, то у других их нет: корень \**lik<sup>u</sup>*- не может быть разложен на детерминанты; мало того, его форма не противоречит наиболее важным ограничениям<sup>13</sup>. Поэтому *-i-* целесообразно рассматривать как исходный гласный, а форму *link<sup>u</sup>*- как инфигированную. В настоящее время установлено большое число случаев инфиксации: такими протоинфиксами могут быть и не-сонанты: др.-ирл. *folcain*/герм. \**waskan* «мыть» и др.<sup>14</sup>. Предприняты попытки ареального объяснения инфиксации — на основе балканско-балтийских совпадений<sup>15</sup>.

Основной вид индоевропейского аблаута может быть показан на модификациях корня со значением «сидеть»: а) *sed-*, лат. *sedeō*, др.-греч. *ἕδος*; б) *sod-*, лат. *solium* = др.-ирл. *suide*, гот. *sat*; в) *sd-*, *nīdus* и т. п. < \**ni-sd-os*, *sido* < \**si-sd-ō*; г) *sēd-*, лат. *sēdēs*, литов. *sėdėti*; д) *sōd-*, ст.-слав. *садити*, др.-англ. *sōt*. Различается качественный аблаут (*ē/ō*) и количественный аблаут (долгота/краткость/∅). Когда последний элемент корня — согласный, а сонант в середине его, то в нулевой ступени он принимает гласное состояние (*λείπω*, *ἔλιπον*). Существуют и другие типы аблаута; среди них распространен тип *ē/ō/a* (τιθήμι = др.-инд. *dadhāmi*/θωμός ~ др.-англ. *dōn*/*þeátos-hitá-*); попытки сведения его к сонантической разновидности привели к созданию ларингальной гипотезы (*ē/ō/a* ~ *ei / oi / i*; *i* ~ *a*, значит, *ē* < \**ea*, *ō* \* < *oa* и т. п.; тогда *ē / ō / a* < *ea / oa / a*)<sup>16</sup>. Дискуссии вокруг этой гипотезы продолжают по сей день. Существуют, однако, и другие разновидности качественного аблаута: одни из них менее распространены (*a / o / ā / ō*, например, *aciēs*, *ocris* «гора», *ācer*; *ἄγω*, *ἄγμος*, *ambāges*, *ἄγωγη*), другие являются спорными, например *e / i*, могущий быть реконструированным на основе местоименных форм *me/min*, *de/dim*<sup>17</sup> и т. п. и на основе *-i-* в редупликации; или *i / u*, предложенный Отрембским для объяснения суффиксов *-ti-* и *-tu-*<sup>18</sup>. Классификации корней с точки зрения всесторонней их аблаутной характеристики не существует.

<sup>12</sup> H. W. Bailey, Iranian verbs in *-m* and *-p*, в кн.: «Oriental studies in honour of C. E. Pavry», London, 1933; Ch. S. Tang, L'alternance des consonnes sourdes et sonores en indo-européen, в кн.: «To honour Roman Jakobson», 3, The Hague — Paris, 1969.

<sup>13</sup> R. Schmitt-Brandt, Die Entwicklung des Indogermanischen Vocalsystems, Heidelberg, 1967, стр. 16—19.

<sup>14</sup> H. Karstien, Infixe im Indogermanischen, Heidelberg, 1971. (Работа чрезвычайно интересная, во многом спорная, заслуживающая особого рассмотрения).

<sup>15</sup> R. S. P. Weekes, The development of the Proto-Indo-European laryngeals in Greek, The Hague, 1969.

<sup>16</sup> F. O. Lindemann, Einführung in die Laryngaltheorie, Berlin, 1970 (при участии К. Г. Боргстрема). Ср. рец. Э. Говдраугена — NTS, XXV.

<sup>17</sup> E. Benveniste, L'anaphorique prussien *din* et le système des demonstratifs indo-européens, «Studi baltici», 3, 1933.

<sup>18</sup> J. Otrębski, La formation des noms physiographiques en lithuanien, «Lingua posnaniensis», I, 1949.

Наконец, существует так называемый позиционный аблаут (Schwebeab-laut)<sup>19</sup>, он заключается в том, что в корнях с тремя согласными гласный может находиться либо между первым и вторым согласными, либо между вторым и третьим:

$\hat{g}heim/\hat{g}h\hat{i}em-$ : др.-греч.  $\chi\acute{\epsilon}\iota\mu\alpha/\chi\iota\acute{\omega}\nu$   
*deru-/dreu-*: др.-инд. *dāru/gen. drós*;  
*perk-/prek-*: авест. *frasa-*/литов. *perš̃i*.

Детальное исследование этой проблемы позволило выяснить, что для индоевропейского праязыкового состояния позиционный аблаут может быть установлен лишь для 13 корней: из них в индоиранском — 9, наибольшее количество; меньше всего в италийском и кельтском (по 4; среди них общих итало-кельтских нет!). Среди этих 13 корней тех, которые не требуют ларингалистического толкования, — 6:

$de\hat{i}u-/d\hat{i}eu-$ : др.-инд. *dyāus*,  $\Delta\epsilon\acute{\iota}\varsigma$ , но *deiā*, литов. *diēvas*;  
*deru-/dreu* }  
 $\hat{g}he\hat{i}m-/g\hat{h}\hat{i}em$  } примеры приведены выше;  
*perk-/prek* }  
*t̃ers-/tres-*: др.-инд. *trāsati*, др.-греч.  $\tau\rho\acute{\epsilon}\omega$ , но лат. *terreō*, др.-греч.  $\acute{\epsilon}\tau\epsilon\rho\sigma\epsilon\nu$   
*uerġ-/yreg-*: др.-инд. *vrajā*, др.-ирл. *fraig* «стена», но авест. *varəz*, др.-греч.  $\acute{\epsilon}\rho\gamma\omega$ .

Остальные корни, относительно которых предполагался архаический позиционный аблаут, развили его в процессе различных грамматических процессов, аналогии, метатез и т. п. Чрезвычайно важно, что для каждого отдельного исторического среза устанавливается определенное число корней с позиционным аблаутом.

До того, как эта особенность была выявлена, считалось, что Schwebeab-laut — особое свойство всех (более 2000!) корней, что каждый корень может иметь «форму I: CVCC» и «форму II: CCVC»<sup>20</sup>. На основании этого свойства было разработано множество этимологий; с другой стороны, индоевропейцы пытались выяснить источник позиционного аблаута, установить какое-то исходное состояние и условия его перехода в засвидетельствованное.

Предполагались следующие исходные типы корня:

1. CVCC: эта форма рассматривалась как исходная еще Остгофом<sup>21</sup>, полагавшим, что корни др.-инд. *vyadh-*, *vyach-* первичны, а их формы *vedh-*, *ves-* вторичны; что др.-инд. *od-man-* является вторичным образованием от корня *ud-*, являвшегося нулевой ступенью к нормальному *\*uod-*. Причины образования такой вторичной полной ступени — «guna restoration»<sup>22</sup> или иные системные факторы, действующие в эпоху после распада общеиндоевропейского состояния.

2. CVCC: в качестве единственной, полной ступени, существовавшей в праязыковом состоянии, эту форму принимал Шпехт<sup>23</sup>. Как вторичная рассматривается им форма с инфигрированным гласным элементом. Так, закономерны, по его мнению, формы *su-* и *seu-* (литов. *sulā* ~ др.-инд. *sūrā-*, лат. *sūcus*); форма же *su-e* (латыш. *sveķi* «смола») из *\*su-e-k-i*.

<sup>19</sup> R. Antilla, Proto-Indo-European Schwebeablaut, Berkeley — Los Angeles, 1969.

<sup>20</sup> Э. Бенвенист, Индоевропейское именное словообразование, М., 1955.

<sup>21</sup> Н. Остгофф, Morphologische Untersuchungen, IV, Leipzig, 1881.

<sup>22</sup> N. E. Collinge, Laryngeals in Indo-European ablaut and problems of the zero grade, «Archivum linguisticum», 5, 1953.

<sup>23</sup> F. Scht, Der Ursprung der Indogermanischen Deklination, Göttingen, 1947

3. *CVCVC*: многие крупные исследователи считали эту форму первоначальной<sup>24</sup>. Это — так называемая база Гирта, некое фонологическое состояние, предшествовавшее реально засвидетельствованным, которые могли содержать лишь один гласный. Некоторые ученые пользовались этой формой, считая ее всего лишь удобным инструментом исследования, например, Бругман. Сам Гирт, напротив, верил в ее преесторическую реальность.

4. *CVCVCV*: такая форма корня была принята прежде всего сторонниками индо-семитской гипотезы — Меллером, Кюни<sup>25</sup>. Среди собственно индоевропейцев она была наиболее последовательно развернута Боргстромом<sup>26</sup>, постулировавшим сперва «безгласную» открытосложность *Cä Cä Cä...*, но затем пришедшего к допущению различных исходных гласных.

5. *CVCC / CCVC*: признание первоначальности альтернатив имело много сторонников, среди них были Кречмер и Соссюр, Мейе и Кэйпер<sup>27</sup>. Но в настоящее время эта теория связывается прежде всего с именем Бенвениста, включившего ее в созданную им теорию корня. Некоторое время неправомерный принцип неполной индукции заставлял исследователей считать это чередование универсальным и наиболее архаичным; как показано выше, сейчас установлено, что лишь ограниченное количество корней имели его в праязыковом состоянии.

Ряд ученых не искали первоначальной формы корня, а стремились выявить условия, прежде всего конкретные условия генезиса той или иной формы или серии форм.

Одним из важных результатов этой линии исследований было установление роли м е т а т е з ы в изменении формы корня, которая возникала во избежание образования сложных, содержащих более трех согласных интервокальных групп<sup>28</sup>. Например, литов. *žėntas* «зять» / латыш. *znuots*, др.-греч. ἔτρῶσν / ἄτρῆστος, др.-инд. *kālpate / klapsyate, sārpati / srapsyati* и т. п.

Другим важным фонетическим явлением, убедительно реконструированным для ряда корней, явилась с и н к о п а<sup>29</sup>. Так, Семереньи показал, что др.-греч. ὀργή должно восходить к имени \*ὀρογᾶ от глагола ὀρέγω и что его нельзя сопоставлять с ирл. *ferg*, \**uerg*- и т. п.; это значит, что исчезает случай чередования ὀρέγω (= лат. *regō*)/ὀργή.

Именно тщательный анализ каждой отдельной формы может привести к установлению общих закономерностей, свойственных индоевропейским корням.

Напротив, на ряде гипотез была основана теория корня Бенвениста<sup>30</sup>. Она покоилась на следующих трех основаниях: а) на отрицании префор-

<sup>24</sup> Н. H i r t, *Der Indogermanische Ablaut*, Strassburg, 1900; К. B r u g m a n n — В. D e l b r ü k, *Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen*, I, Strassburg, 1897.

<sup>25</sup> Н. M ö l l e r, *Germanisch āēō in den Endungen des Nomens und die Entstehung des o (a₂)*, PBB, 7, 1880.

<sup>26</sup> К. B o r g s t r ö m, *Thoughts about Indo-European vowel gradation*, NTS, 15, 1949; е г о ж е, *Internal reconstruction of Pre-Indo-European word forms*, «Word», 1954.

<sup>27</sup> Р. К r e t s c h m e r, *Indogermanische Accent- und Lautstudien*, KZ, 31, 1892; А. M e i l l e t, *Deux notes sur des formes verbales indo-européennes*, MSLP, 26, 1910; F. В. J. K u i p e r, *Zur Geschichte der indoiranischen s-Präsentia*, AO, 12, 1934. Наиболее последовательно эта точка зрения развита, как известно, в упоминавшейся выше книге Э. Бенвениста (примеч. 20).

<sup>28</sup> Т. Н. M a u r e r, *Unity of the Indo-European ablaut system: The dissyllabic roots*, «Language», 23, 1947.

<sup>29</sup> О. S z e m e r é n y i, *Syncopé in Greek and Indo-European and the nature of Indo-European accent*, Naples, 1964.

<sup>30</sup> Э. Б е н в е н и с т, *Индоевропейское именное словообразование*, стр. 178 и сл.

мантов и признании детерминантов; б) на принятии для всех корней позиционного аблаута; в) на разработке своего варианта ларингальной гипотезы <sup>31</sup>.

В соответствии с теорией корня Бенвениста предполагалось, что каждый корень содержит три согласных, из которых первые два образуют собственно корень, а следующий — своего рода корневой суффикс, модифицировавший некогда значение корня, но впоследствии утративший значение. Если в составе корня были еще согласные; то они считались детерминантами, имевшими отыменное происхождение.

Корень мог иметь две формы, два состояния: либо собственно корень содержал гласную, а суффикс ее не содержал (CVC-C); либо собственно корень не содержал гласной, тогда суффикс ее содержал (CC-VC).

Если для корня были засвидетельствованы чередования, менявшие по существу второй согласный (например: *ḫḫar*, хет. *wātar*, иранск. *vātā-*, русск. *Волга*, хет. *uḫri* «берег реки» и т. п.), то «суффиксами» оказывались *-d-*, *-g-*, *-t-*, *-r-*, *-l-*, *-p-*, а собственно корень оказывался состоящим из одного согласного; чтобы спасти принцип двусогласности собственно корня, предполагалось, что первым согласным был исчезнувший ларингал. Это давало возможность объяснять при помощи той же схемы чередования типа *αῖξω* «умножать»/*vavakša* или лат. *avis* «птица»/авест. *vayu-* «воздух».

Гипотеза об универсальности позиционного аблаута не подтвердилась, в самих корнях с большей уверенностью стали выделяться преформанты и даже архаические инфиксальные элементы; было доказано, что в ряде корней *-i-* и *-u-* ведут себя точно так, как *-e-* и *-o-*; другие корни, напротив, оказались неразложимы <sup>32</sup>. Тем самым потеряли значение основания теории корня Бенвениста. Сама теория Бенвениста, заменившая, в сущности, теорию баз Гирта, сыграла в науке весьма положительную роль, явившись единым и центральным началом, вокруг которого группировались многочисленные этимологические разыскания. В последние годы знания об индоевропейских корнях углубились и умножились, особенно после завершения словаря Покорного <sup>33</sup>. Настало время формирования новой теории индоевропейского корня. Если теория Гирта характеризовалась высоким уровнем абстракции, теория Бенвениста — логическим блеском, то наше время — время математической точности, время создания такой теории, которая, сохраняя общий взгляд, не потеряет из вида и частного. Такая теория корня начала создаваться на заре индоевропеистики: еще Шлейхер устанавливал типологию индоевропейских корней <sup>34</sup>. В своей последней книге к этой типологии обратился Семереньи, устанавливающий 11 типов корней <sup>35</sup>:

<sup>31</sup> Э. А. Макаев, Ларингальная теория и вопросы сравнительной грамматики индоевропейских языков, «Труды ИЯ АН Грузинской ССР», Серия востоковедн., 2, Тбилиси, 1957; его же, Структура слова ..., гл. II.

<sup>32</sup> R. Schmitt-Brandt, Die Entwicklung ...

<sup>33</sup> Кроме самого словаря, важны серии рецензий на него, опубликованные крупнейшими индоевропеистами: Кречмером (WZKM, 52), Вандриесом («Vox Romanica», XII, 1951, «Études celtiques», V—VII), Карнуа («Leuvense Bijdragen byblad», XXXVIII—XLVIII), Отрембским («Lingua posnaniensis», II—VIII), Кэйпером («Museum», LVI—LXIV), Майпрофером («Bibliotheca Orientalis», VIII, IX, XIII, XVIII), Бенвенистом (BSLP, XLVII—LIV), Томасом («Latomus», X—XIX), Товаром («Annales de filologia clasica», V, Buenos Aires; «Emerita», XVII—XXVIII), Пизани («Paideia», IV—XV), Леруа (RPhB, XXIX—XXXVI, Полеме (RPhB, XXXIX). Вотмоу («Language», XXV—XXXVI).

<sup>34</sup> A. Schleicher, Kompendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, Weimar, 1876, ср. 332.

<sup>35</sup> O. Szemerényi, Einführung..., стр. 91.

<i>VC</i>	* <i>ed-</i>	«есть»	<i>CCV̄</i>	* <i>drā-</i>	«бежать»
<i>CVC</i>	* <i>med-</i>	«измерять»	<i>CCCVC</i>	* <i>strep-</i>	«шуметь»
<i>CCVC</i>	* <i>trem-</i>	«дрожать»	<i>CCCVCC</i>	* <i>spreig-</i>	«изобилловать»
<i>CVCC</i>	* <i>serp-</i>	«ползти»	<i>CVCV̄</i>	* <i>pelē-</i>	«наполнять»
<i>CCVCC</i>	* <i>dhreug<sup>u</sup>-h-</i>	«обманывать»	<i>CVCVC</i>	* <i>temāg-</i>	«резать»
<i>CV̄</i>	* <i>dō</i>	«даю»			

Типы *CV̄* и даже *V* тоже существуют, но среди местоименных корней. Дается и общая формула корня:  $(S) (T) (R)e (R) (T/S)$ .

Выше указывалось, что корень мог выступать в виде модификаций с более тяжелым началом: \**pkten-*: *TTTeR*, авест. *fədrōi* < \**ptrāi*, слав. *struio* < \**ptruio-*: *TTR-* и т. п. <sup>36</sup>. С другой стороны, приводились фонетические соображения в пользу слогового характера корня. Дополнительным доводом в пользу этого положения может служить тенденция к сохранению просодического количества в корне. Гипотезу о двухморном балансе выдвинул в свое время Иоганссон <sup>37</sup>, предполагавший, что корень может принимать различные огласовки, но с тем условием, чтобы он сохранял две моры, например, \**gēn*<sup>-1</sup> (др.-инд. *jānāmi*, др.-греч. γέγονα), \**zene*<sup>-2</sup> др.-греч. γένος и т. п.), \**gnē*<sup>-1,2</sup> (*nātiō* и *nōsco*, *ignōrō* и т. п.). Соединение этого принципа с применением метатезы — у Шмитт-Брандта, предполагающего, что слова типа \**kuōn* «собака» содержат детерминант \**n-*, присоединившийся к корню \**keu-*; возникшая форма \**keun-* подверглась метатезе, чтобы «разомкнуть» группу \**un-*: \**kuēn-*; в этом случае двухморность сменяется одноморностью, чтобы сохранить ритмический рисунок, происходит восстановление двухморности: \**kuēn-*/*kuōn-* (то же при аналаге \**pkō*).

Компенсационный принцип применялся в масштабах слова и для объяснения такого состояния, как 'ανήρ ~ др.-инд. *nā*, интерпретировавшегося ранее лишь при помощи ларингальной гипотезы. Предлагается рассматривать три этапа в предыстории этого слова <sup>38</sup>:

Им. ед.	Род. ед.	Дат. ед.	Вин. ед.
I <i>nér̥s</i>	<i>nrós</i>	<i>nrí</i>	<i>nérm̥</i>
II <i>né:r</i>	<i>arós</i>	<i>arí</i>	<i>néra</i>
III <i>anè:r</i>	<i>andrós</i>	<i>andrí</i>	<i>anéra</i>

В таком развитии участвуют наиболее естественные тенденции унификации парадигмы, синтаксического контраста, избыточности в парадигматическом плане.

Рассмотрение современного состояния теории индоевропейского корня позволяет сделать два вывода.

Во-первых, выясняется, что теории, стремившиеся выявить единую структуру корня или наметить некие единообразные процессы, характерные именно для индоевропейского корня, не подтвердились. Корни оказались различны, и лингвистические процессы, изменяющие их, столь же разнообразны, сколь и обычны. Этот вывод обусловлен прежде всего тем, что исследователи отказались от взгляда на праязык как на некую абстрактную схему, а стали видеть в нем «праязыковое состояние», сходное в своей многомерности с живыми языками с их диатопическим, диахроническим и «социальным» измерениями <sup>39</sup>. Праязыковому состоянию были свойственны и динамика, и диалектная расчлененность; эти положения сами по себе предполагают неоднородность лингвистических единиц, в том числе, разумеется, и корней. Потому-то можно стремиться лишь к установлению

<sup>36</sup> J. Gunnarsson, On the Indo-European «dental spirants», NTS, 24, 1971.

<sup>37</sup> K. F. Johansson, Miscellen, PBB, 13, 1888.

<sup>38</sup> W. F. Wyatt, Jr., Indo-European /a/, Philadelphia, 1970.

<sup>39</sup> И. М. Тронский, Общеиндоевропейское языковое состояние, Л., 1967.

статистической характеристики распространенности различных типов корней. Такие данные — даже в самом простом процентном виде — было бы интересно сопоставить с соответствующими данными других языковых типов<sup>40</sup> и проследить тенденции их изменения внутри индоевропейской семьи. Единственное приемлемое принципиальное структурное ограничение — некоторая корреляция корня и слога — может иметь исторические основания<sup>41</sup>.

Во-вторых, исторический подход требует дифференциации самого понятия индоевропейского корня. Было бы целесообразно выделить три его разновидности:

1. Собственно корень, не определенный относительно слога звуковой отрезок, имеющий самостоятельное значение; те формы, которые реконструируются и используются в этимологических исследованиях, например \**d̥l̥gh-*.

2. Аблаутную базу, реконструируемую для объяснения аблаута<sup>42</sup>. В качестве таких аблаутных баз могут быть избраны базы Хирта типа *CVCVC*, например \**deləgh-*.

3. Пракорни, относимые к наиболее дальнему уровню реконструкции, — то, что остается после отделения преформантов, детерминантов и т. п. Имея в виду литов. *ilgas*, русск. *длинный*, корень \**d̥l̥gh-* можно разложить на элементы \**d̥l̥-gh-*; пракорнем явится \**-l̥-*.

Ясно, что генетическое сопоставление с другими языковыми семьями может производиться лишь посредством пракорней; столь же ясно, насколько бессодержательно сравнение элементов, содержащих так мало звуков, в данном случае — один.

Следовательно, одна из задач индоевропейского языкознания — описание корней с учетом индивидуальных свойств каждого из них<sup>43</sup>.

<sup>40</sup> Интересно, например, что реконструкция ведет к восстановлению определенного числа корней (около 2000), ср.: M. Guthrie, *Comparative Bantu*, I—IV, London, 1967; M. Räsänen, *Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türk Sprachen*, Helsinki, 1969.

<sup>41</sup> При обсуждении данного обзора В. Касевич высказал важное соображение: ряд признаков фонетической реконструкции корня наводят на мысль о том, что индоевропейскому фонемному типу языка предшествовал иной, силлабофонемный, сходный с распространенным в Восточной Азии. Важно заметить, однако, что южноазиатский силлабофонемный тип не является чисто силлабным.

<sup>42</sup> M. Leumann, *Lateinische Grammatik*, I, München, 1926 (M. Лойман различает *Ablautsbasen* и *Bedeutungswurzeln*).

<sup>43</sup> Пользуемся случаем сообщить, что с 1973 г в США начинается издание нового журнала по проблемам индоевропейистики — «*Journal of Indo-European studies*».

И. Н. КРУЧИНИНА

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ  
СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

За последние годы в области изучения сложного предложения наметились весьма существенные изменения. Из преимущественного объекта традиционного, или классического, языкознания синтаксис сложного предложения все больше превращается в одну из центральных проблем всей современной лингвистики, интерес к которой со стороны представителей других научных направлений возрастает по мере того, как укрепляются тенденции к семантизации синтаксиса<sup>1</sup>, с одной стороны, и к проникновению в закономерности формальной и семантической организации связанного текста<sup>2</sup> — с другой. В отечественном языкознании, как и в русистике вообще, действие этих тенденций способствовало тому, что при несомненном преобладании работ, осуществляющих структурно-семантический подход к описанию сложного предложения, в основе которого лежат широко известные взгляды В. А. Богородицкого, В. В. Виноградова и Н. С. Пospelова, стали выявляться и некоторые другие практически пока еще мало испробованные пути и методы изучения сложного предложения. Прежде всего это методы порождающей грамматики, представленные двумя типами работ.

Авторы первых исходят из понимания сложного предложения как поддающейся непосредственному наблюдению «поверхностной структуры» или «двухбазисного результирующего трансформы», получаемого путем известного преобразования и сложения (при сочинении) или инкорпорирования (при подчинении) двух исходных («ядерных», «базисных» или «глубинных») предложений, представленных как реально существующими образцами или схемами построения, так и искусственными структурами — лингвистическими конструктами. Для этих работ характерно совмещение генеративного подхода к сложному предложению с традиционными (прежде всего — структурно-семантическими) принципами его описания и классификации, которые не только ограничивают объем понятия «сложное предложение» лишь теми трансформами, ядра которых сохраняют преди

<sup>1</sup> Анализ этой тенденции см., например, в работах: E. Coseriu, *Semantik, innere Sprachform und Tiefenstruktur*, «Folia linguistica», IV, 1/2, 1970; P. Sgall, *Ze současné teoretické lingvistiky ve světě*, SaS, 1970, 2; Н. Савицкий, О некоторых методологических проблемах порождающей грамматики, «Ceskoslovenská rusistika», 1970, 4; Н. Д. Арутюнова, О номинативном аспекте предложения, ВЯ, 1971, 6; е е ж е, О номинативной и коммуникативной моделях предложения, ИАН ОЛЯ, 1972, 1.

<sup>2</sup> О работах, отражающих эту тенденцию, и об их отношении к исследованиям предшествующих лет см.: F. Daneš, *Туру tematických posloupností v textu*, SaS, 1968, 2. Интересные соображения о теории текста и о лингвистическом статусе данной дисциплины содержатся в ст.: Т. М. Николеева, *Актуальное членение — категория грамматики текста*, ВЯ, 1972, 2. См. также ряд конкретных исследований: K. Halls, *Über die Bedeutung sprachlicher Einheiten und Texte*, «Travaux linguistiques de Prague», 1966, 2; B. Palek, *Cross-reference. A study from hyper-syntax*, Praha, 1968; W. Dressler, *Modelle und Methoden des Textsyntax*, «Folia linguistica», IV, 1/2, 1970.

кативный характер (в отличие от конструкций со «скрытой» или «совмещенной» предикацией, глубинная структура которых тоже признается двухбазисной)<sup>3</sup>, но и предопределяют и корректируют выбор самих способов генерирования; ср. хотя бы установленное еще до начала процесса порождения разделение сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, а внутри последних — противопоставление одночленных (присловных) и двучленных (обстоятельственных) структур. На материале славянских языков такой подход осуществлен М. Кубиком и К. Поланским<sup>4</sup>; оба исследования в значительной степени стимулированы монографией В. Гартунга<sup>5</sup>.

В работах второго типа рассматриваются виды преобразований, претерпеваемых простыми предложениями в процессе их объединения в сложное предложение, которое понимается как трехчленная структура, состоящая из «главного» и «подчиненного» компонентов и союза (в том числе нулевого). Понятия «главного» и «подчиненного» компонентов предполагаются известными и распространяются также на части традиционного сложносочиненного предложения, где главным компонентом считается левый. Для каждого компонента устанавливаются наборы необходимых преобразований и выдвигается задача выявления их сочетаемости. Эта программа описания и классификации сложного предложения, впервые предложенная Е. В. Падучевой для целей машинного перевода<sup>6</sup>, в дальнейшем была осуществлена в «Курсе современного русского языка» под ред. Ф. Паппа<sup>7</sup>. Такой подход к изучению сложного предложения имеет много общего с тем направлением традиционного синтаксиса, которое восходит к идеям и взглядам М. Н. Петерсона.

Сильной стороной и полезным результатом подобных исследований является разработка формально-синтагматического аспекта сложного предложения, выявление и описание структурных изменений, которым подвергаются простые предложения в процессе их объединения в высшие синтаксические единства. Вместе с тем очевидно, что задача изучения сложного предложения не может быть ограничена лишь описанием «трансформационной истории» отдельных его типов. У этой единицы есть и другие аспекты изучения; в последнее время заметно активизировались те

<sup>3</sup> Обычно это конструкции с субъектным и объектным инфинитивом, деепричастными и причастными оборотами, с однородными членами, приложением и некот. др. Сюда же могут быть отнесены и многие явления, описанные в «Грамматике» АН 1970 г. под рубриками «Детерминирующие члены предложения» и «Связи, возникающие в предложении», а также конструкции с существительными — синтаксическими дериватами. Интерпретацию некоторых из этих конструкций как сложных по своей глубинной структуре предложений см., например, в работах: R. Růžička, Zur Theorie der russischen Syntax, Berlin, 1966; Л. Н. Мурзин, Место сложных конструкций в процессе вычленения синтаксического ядра, в кн.: «Вопросы синтаксиса русского и славянского языкознания», Пермь, 1965; Е. Кржижкова, Темпорально-квантитативная детерминация глагола, «Československá rusistika», 1966, 2; е е ж е, К вопросу о так называемой аппозиции, «Travaux linguistiques de Prague», 3, 1968. См. также: S. Karolák, Zagadnienia składni ogólnej, Warszawa, 1972, где простое и сложное предложение рассматриваются как «корреляты одной и той же структуры содержания».

<sup>4</sup> М. Кубик, Трансформационный синтаксис русского языка, Прага, 1970; К. Поланский, Składnia zdania złożonego w języku górnośląckim, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1967.

<sup>5</sup> W. Gartung, Die zusammengesetzten Sätze des Deutschen, Berlin, 1964.

<sup>6</sup> Е. В. Падучева, Классификация сложных предложений на основе их порождения из простых, «Питання прикладної лінгвістики. Тези доповідей міжвузівської наукової конференції», Чернівці, 1960; е е ж е, Классификация сложных предложений в связи с построением правил образования для стандартизованного русского языка, «Доклады на конференции по обработке информации, машинному переводу и автоматическому чтению текста», М., 1961.

<sup>7</sup> К. Болла, Э. Палл, Ф. Папп, Курс современного русского языка, Budapest, 1970.

из них, которые акцентируют ее вершинное положение в синтаксисе, ее одновременную обращенность и к грамматике языка, и к структуре текста, называемой иногда «гиперсинтаксисом».

Исследователи уже привлекали внимание к тому факту, что в ряде случаев соединения, которые принято относить к области сложного предложения, лишены необходимой структурной цельнооформленности и с этой точки зрения однородны сочетаниям предложений в тексте, которые также не интегрируются в единицу высшего качества<sup>8</sup>. Так, касаясь вопроса о перечислительных рядах предложений, С. О. Карцевский писал, что «между двумя членами, соседствующими в серии перечислений, нет никакого отношения», что «перечисление не принадлежит ни к области сочинения, ни к области бессоюзия, но противостоит им обоим сразу как структура с нулем непосредственного отношения между ее членами»<sup>9</sup>. К такому же заключению приходит и Т. В. Булыгина, которая рассматривает сочетания типа *Ночь, улица, фонарь, аптека* не как сложную единицу (сложный знак), а как простое соединение самостоятельных знаков<sup>10</sup>. Неравноценны — с точки зрения степени их приближения к области «гиперсинтаксиса» — и некоторые другие явления, относимые к сложному (и прежде всего сложносочиненному и бессоюзному) предложению.

Вопрос о границах между сложным предложением и текстом особенно обострился в последнее время в связи с актуализацией проблемы языковых уровней и попытками уточнения объема грамматики; сложное предложение в целом понимается то как промежуточная ступень между простым предложением и текстом, то как безусловная принадлежность текста, то как особый (самостоятельный) уровень грамматической системы языка<sup>11</sup>. Вместе с тем существует мнение, согласно которому вопрос о языковом статусе сложного предложения не может быть решен одинаково по отношению к сложноподчиненному и к сложносочиненному предложению, ибо только «первое имеет характер грамматической единицы (и можно было бы рассматривать ярус сложноподчиненного предложения как „верхний“ ярус уровня предложения), в то время как второе имеет скорее структуру сверхсинтаксического текстового образования»<sup>12</sup>. Нетрудно заметить, что в основе этих разногласий лежит многолетний спор о грамматической природе сложного предложения и его формантов, получивший,

<sup>8</sup> Мысль о том, что предложение — это высшая и последняя единица языковой системы, высказывалась неоднократно; специальную разработку она получила в докладе Э. Бенвениста «Уровни лингвистического анализа» («Новое в лингвистике», 4, М., 1965); См. также: Т. В. Булыгина, О границах между сложной единицей и сочетанием единиц, в кн.: «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие», М., 1969. Следует, впрочем, заметить, что эта точка зрения не является единственной; см., например: F. Daneš, On the linguistic Strata (Levels), в кн.: «Travaux linguistiques de Prague», 4, 1971. Существенно, однако, что и здесь высказывается сомнение в том, «можем ли мы рассматривать текстовые единицы как лингвистические знаки в том же смысле слова, что и низшие единицы» (стр. 139). Постулируя «грамматику текста» как особую лингвистическую дисциплину, Ф. Данеш в то же время признает, что структурные рамки выделяемых им «текстовых целых» гораздо менее фиксированы, чем рамки единиц низших уровней.

<sup>9</sup> С. О. Карцевский, Бессоюзие и подчинение в русском языке, ВЯ, 1961, 2, стр. 126.

<sup>10</sup> Т. В. Булыгина, Особенности структурной организации языка как знаковой системы и методы ее исследования, в кн.: «Материалы конференции „Язык как знаковая система особого рода“», М., 1967. См. также: «Общее языкознание», М., 1971, стр. 140—170.

<sup>11</sup> Последняя точка зрения широко известна, о двух других см., например, в работе: P. Píthá, K vymezení rozsahu gramatik, SaS, 1967, 1.

<sup>12</sup> Ф. Данеш, К. Гаузенблас, Проблематика уровней с точки зрения структуры высказывания и системы языковых средств, в кн.: «Единицы разных уровней...», стр. 18.

однако, новый ракурс и предстоящий уже не только как полемика о том, являются ли части сложного предложения полноценными предложениями, но и как дискуссия, побуждающая к поискам критериев, ограничивающих сложную единицу («сложное предложение») от простой последовательности единиц («текст»).

Как известно, одним из доводов против включения текста в иерархию языковых уровней служит тот факт, что правила, которые лежат в основе его построения, носят преимущественно нормативно-стилистический, а не собственно грамматический характер. [Представляется, что это справедливо и для описанных Б. Палеком механизмов «кросс-референции» (отождествления) и «альтерации» (различения), а также для разных типов «тематических последовательностей» Ф. Данеша.] Следует, очевидно, согласиться с Т. В. Булыгиной, что «с точки зрения грамматики в тексте возможно сочетание любых логически не связанных предложений, лишь бы каждое из них в отдельности было грамматически правильным»<sup>13</sup>. Что касается сложного предложения, то повышенная значимость стилистических моментов в его организации представляется совершенно бесспорной. Теоретически это хорошо согласуется с общей закономерностью, сформулированной Ф. Данешем: «... чем выше уровень языковой структуры, тем он стилистически релевантнее»<sup>14</sup>. Известно также мнение В. Матезиуса, полагавшего, что через построение сложного предложения лежит путь к совершенному стилю<sup>15</sup>. Возможно, этим и следует объяснять преимущественное внимание исследователей к тем конструкциям сложного предложения, которые вслед за М. В. Федоровой<sup>16</sup> могут быть названы его «синтаксическими доминантами». Это значит, что изучению, описанию и классификации подвергаются в первую очередь сложные предложения, отвечающие нормам книжно-письменной речи и удовлетворяющие требованиям литературной выразительности.

Для теории сложного предложения такая ориентация на «доминанту» может иметь ряд неблагоприятных последствий; прежде всего она может повлечь за собой интерпретацию каких-либо стилистических (узуальных) ограничений как ограничений грамматического характера. Известно, например, какое значение при выведении «формулы» или «модели» построения сложного предложения придается правилам порядка частей, устанавливающим диапазоны позиционных возможностей придаточных предложений. Однако в ряде случаев эти правила являются лишь отражением привычного литературного узуса и с грамматической точки зрения не являются обязательными; ср., например, препозицию придаточного причины с союзом *потому что*, которая запрещена только нормой книжно-письменной речи: «А незнакомец тем временем отбежал довольно далеко. Умка пустился вдогонку. *И потому что он бежал на четырех лапах, скоро снова приблизился к двуногому*» (Ю. Яковлев, Умка). Таков же, видимо, характер некоторых запретов, налагаемых на сочетаемость придаточности с местоименными и другими формами вопроса, который может быть не только риторическим по функции, ср.: «Но он никак не решался. *Потому что — а друг скажут?*» (Ю. Трифонов, Долгое прощание). Еще очевиднее неграмматический характер ограничений, касающихся употребления номинативных, инфинитивных и вообще неглагольных предложений

<sup>13</sup> Т. В. Булыгина, О границах между сложной единицей и сочетанием единиц, стр. 225.

<sup>14</sup> F. D a n e š, *Typy tematických posloupností ...*, стр. 126.

<sup>15</sup> В. Матезиус, *Язык и стиль*, в кн.: «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 515 и сл.

<sup>16</sup> М. В. Федорова, Простое предложение как основа для изучения сложного предложения, «Уч. зап. МОПИ», 197, 13, 1967.

в качестве компонентов сложного<sup>17</sup>, а также ограничений, сопровождающих описание сочинительной связи предложений (например, правил синтаксического параллелизма, неповторения общих членов, прономинализации и др.). Выявление сверхсинтаксических (текстовых) характеристик сложного предложения составляет одну из важных предпосылок к решению вопроса о его системном языковом статусе<sup>18</sup>. Понятно, что чем больше подобных характеристик обнаруживает та или иная разновидность сложного предложения, тем больше оснований для ее интерпретации как сверхсинтаксического образования.

Основу для сопоставления сложного предложения с текстовыми последовательностями разного типа составляет тот факт, что, как и последние, оно строится на базе связей, выходящих за пределы отдельного предложения и называемых иногда его «внешними» синтагматическими связями. Однако в отличие от связей, устанавливающихся в простой последовательности предложений, эти связи имеют грамматически выраженный характер, т. е. обслуживаются определенными структурными средствами. Благодаря этим связям между предложениями складывается тот или иной тип синтаксических отношений, которые могут быть названы грамматическим значением сложного предложения. Естественно полагать, что именно наличие грамматического значения и обеспечивает ему статус грамматической единицы.

Однако при определении реального круга явлений, принадлежащих к области сложного предложения, этот факт, как правило, не принимается во внимание. Решающее значение придается интонационной стороне сложного предложения, характеризующейся ритмо-мелодической несамостоятельностью его компонентов. Но при таком подходе граница между сложным предложением и текстом фактически перестает существовать, так как, не будучи собственно грамматическим средством, интонация сама по себе, без опоры на определенные структурные показатели, не способна создавать и выражать синтаксических отношений; ср., например, следующие последовательности предложений, приведенных в связь лишь «соединительной силой» интонации (которая практически беспредельна): «Мы поехали мимо пруда: на грязных и отлогих берегах еще виднелись ледяные закрайки» (Аксаков); «Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь» (Тургенев). Хотя большинство исследователей и признает, что отношения, складывающиеся внутри таких последовательностей, подлежат интерпретации с позиций не «формального», а «лексического», или «имплицитного», синтаксиса<sup>19</sup>, тем не менее сами эти последователь-

<sup>17</sup> Особенно строго регламентируется употребление номинативных предложений в функции придаточных. Утверждается даже, что такое употребление «противоречит их специфике» (см.: Ф. К. Бу ж е н и к, Номинативные предложения в составе сложных конструкций, «Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», 144, 1958, стр. 83). Ср., однако, несколько далеко не уникальных примеров из разных сфер речи — разговорной: «Шубы я не взял, *потому что обуза*» (Л. Н. Толстой — из письма к жене, 7 дек. 1884); публицистической: «... в этом своем поступке я перед историей *отвечу, так как, черт возьми, такая дата!*» (Вс. М е й р х о л ь д, Из выступления 1939 г.); художественно-повествовательной: «Казахов уговорили переселиться в домик: как-то чудно, *чтобы на центральной усадьбе — юрта*» (В. С о л о у х и н, На степной реке); стихотворно-поэтической: «*Когда сентябрь, тепло и воздух хлипок, / и все бегут с учений и работ, / Нас озаряет золото улыбок / у станции метро „Аэропорт“*» (Б. А х м а д у л и н а, Сперва дитя явилось из потемок небытия ...). Впрочем аналогичные материалы приводятся и в названной работе.

<sup>18</sup> См.: Н. Ю. Ш в е д о в а, О структурной схеме сложного предложения, сб. «Единицы разных уровней...».

<sup>19</sup> О формальном и имплицитном синтаксисе и различиях между ними см.: V. S k a l i č k a, Über die besonderen Formen der Syntax, «Rusko-české studie», II, 1960; е г о ж е, Syntax promluvy (enunciace), SaS, 1966, 4. См. также разграничение синтаксиче-

ности продолжают рассматриваться в рамках сложного предложения, что несовместимо с пониманием его как грамматической единицы. С другой стороны, установка на обязательную интонационную «цельнооформленность» сложных предложений вынуждает исследователей не считать таковыми соединения, которые хотя и содержат грамматические показатели связанности своих компонентов, неоднородны по целеустановке или разделены паузой. Подобные соединения — не всегда, правда, последовательно — выносятся в область сложных синтаксических целых, т. е. трактуются как своего рода текстовые аналоги сложных предложений.

Представление об интонации как о главном дифференцирующем признаке сложного предложения складывалось одновременно с формированием взгляда на сложное предложение как на одно предложение, в некотором отношении вполне тождественное простому. Этот взгляд теоретически противопоставлялся пониманию сложного предложения как соединения или сцепления нескольких предложений, которое в отечественном языкознании опиралось на известные положения Ф. Ф. Фортунатова, А. А. Шахматова и особенно А. М. Пешковского, концепция которого подверглась специальному обсуждению. Именно в ходе этого обсуждения основу внутреннего единства сложного предложения как одного предложения и стали усматривать в его интонационной и смысловой завершенности, т. е. в тех сопутствующих («побочных») признаках, которые А. М. Пешковский сознательно оставлял вне поля зрения, сосредоточив все свое внимание на г р а м м а т и ч е с к о м сопоставлении простого и сложного предложения с точки зрения представленной в них «структуры отношений»<sup>20</sup>. Вместе с тем привлечение интонационных и смысловых критериев подготовило почву для дальнейшей интерпретации сложного предложения как единицы дуалистической по самой своей природе, которая со стороны формы предстает как сочетание предложений, а со стороны функции — как одно предложение.

Это последнее, компромиссное, решение, получившее широкое признание и принятое в «Грамматике» 1970 г., представляется наименее убедительным, так как оно исходит из глубокого, по существу, полного разрыва между структурой грамматической единицы и ее употреблением, хотя известна системная предопределенность, взаимосвязь и соотносительность этих двух сторон. Оценивая одну из первых попыток в направлении такого разрешения дискуссии (А. А. Земский, С. Е. Крючков, М. В. Светлаев, 1948), Н. С. Поспелов с неудовлетворением констатировал, что в результате «понятие „предложение“ раздваивается в своем значении»<sup>21</sup>. В последнее время с критикой этой концепции выступил Л. Ю. Максимов, отстаивающий понимание сложного предложения как одного — и по назначению, и по структуре — предложения<sup>22</sup>. Однако его аргументацию в защиту своей точки зрения нельзя признать вполне доказательной, поскольку она сама базируется в основном на гипотезе о связующей функции видо-временных и модальных соотношений между частями сложного предложения (см. его замечания о «специфической парадигмати-

ских и несинтаксических сложных предложений в кн.: K. S v o b o d a, *Souvětí spisovné češtiny*, Praha, 1970.

<sup>20</sup> См. соответствующие тезисы А. М. Пешковского, а также развернутое изложение его точки зрения (с дополнительной аргументацией в ее пользу) в кн.: А. М. М у х и н, *Структура предложений и их модели*, М., 1968.

<sup>21</sup> Н. С. П о с п е л о в, *О грамматической природе сложного предложения*, сб. «Вопросы синтаксиса современного русского литературного языка», М., 1950, стр. 321.

<sup>22</sup> Л. Ю. М а к с и м о в, *Сложноподчиненное предложение в ряду других синтаксических единиц*, в кн.: «Мысли о современном русском языке», М., 1969; е г о ж е. *Многомерная классификация сложноподчиненных предложений*. Автореф. докт. диссерт., М., 1971.

ке сложного предложения»). Известно, что многолетние и напряженные попытки обосновать грамматическую значимость таких соотношений пока не дали желаемых результатов<sup>23</sup>, более того — за последние годы стали появляться работы, вообще рассматривающие эти соотношения как проблему не «формального», а «семантического» синтаксиса<sup>24</sup>. На связь данного признака с содержательной стороной сложного предложения неоднократно обращала внимание В. А. Белошапкова<sup>25</sup>, подчеркнувшая также его причастность к организации текстовых последовательностей<sup>26</sup>. Тенденцию к полному или частичному<sup>27</sup> исключению модальных и видо-временных соотношений из числа специфических признаков сложного предложения нельзя не расценивать как известный отход от того весьма широкого понимания формы сложного предложения, которое сложилось к настоящему времени<sup>28</sup>.

Вместе с тем этот отход можно усмотреть и в возрождении некоторых далеко не периферийных идей «логического» и «формального» направлений в изучении сложного предложения. Прежде всего оно проявляется в том, что все большее распространение и признание получает общая трактовка сложных предложений как сугубо синтагматических единиц (фразовых синтагм), составляющие которых являются предложениями в п о л н о м с м ы с л е с л о в а<sup>29</sup>. В то же время для уяснения способов образования таких синтагм, их устройства и типологии все большее теоретическое значение приобретает сложившееся в рамках «формального» направления противопоставление так называемых одночленных и двучленных (у А. А. Шахматова — «односоставных» и «двусоставных») конструкций. Цель этого противопоставления заключалась в том, чтобы из общей массы «сложных целых» выделить такие сочетания предложений, в которых, по замечанию А. М. Пешковского, «подчинение явно преобладает над сочинением»<sup>30</sup> и которые парадигматически, т. е. с точки зрения реализующейся в них «структуры отношений», являются, однако, о д н и м пред-ложением. Иначе говоря, речь идет о конструкциях, в которых одно предложение выступает как элемент структуры другого предложения. Характерная асимметричность этих конструкций, которые в одном отношении (линейно-синтагматически) оказываются сложными, а в другом (парадигматически) — простыми, побуждает исследователей квалифицировать их то как простые<sup>31</sup>, то как квази-сложные<sup>32</sup>, то как сложные предложения в узком и строгом смысле этого слова<sup>33</sup>.

<sup>23</sup> На неясность («недостаточную изученность») этого явления с точки зрения его релевантности для структуры сложного предложения прямо указывается в работе: М. К у б и к, Условные конструкции и система сложного предложения, Прага, 1967.

<sup>24</sup> К. Б о л л а и др., указ. соч.

<sup>25</sup> В наиболее четкой форме эта мысль изложена в «Грамматике» 1970 г., стр. 653.

<sup>26</sup> В. А. Б е л о ш а п к о в а, Сложное предложение в современном русском языке, М., 1967, стр. 20; см. также: Г. В. В а л и м о в а, О сочинительных союзах в сложном предложении, в кн.: «Материалы IX и X конференции Северо-Кавказского зонального объединения кафедр русского языка», Ростов-н/Д, 1971, стр. 87.

<sup>27</sup> М. К у б и к, Условные конструкции...

<sup>28</sup> См., например: В. А. Б е л о ш а п к о в а, О понятии «формула сложного предложения» на уровне синтаксиса сложного предложения, в кн.: «Единицы разных уровней...».

<sup>29</sup> См., например, определение сложного предложения в работе: Б. М. Г а с п а р о в, Проблемы функционального описания предложения. Автореф. докт. диссерт., Минск, 1971, стр. 35.

<sup>30</sup> М. А. П е ш к о в с к и й, Русский синтаксис в научном освещении, 6-е изд., М., 1938, стр. 407.

<sup>31</sup> См., например: L. D' u g o v i č, Obsahové vedl'ajšie vety, Jazykovedné štúdie, IV, Brno, 1959.

<sup>32</sup> Н. С. П о с п е л о в, Сложное предложение и его структурные типы, ВЯ, 1959, 2.

<sup>33</sup> А. М. П е ш к о в с к и й, указ. соч.

Разнонаправленность функциональных связей, присущих одночленным и двучленным конструкциям, близость первых из них к простому предложению<sup>34</sup>, а вторых — к элементарным текстовым последовательностям проявляется весьма многообразно. Так, если обратиться к области словопорядкового оформления этих конструкций, которая как будто еще не привлекалась для иллюстрации различий между ними, то можно обнаружить, по меньшей мере, следующее. В то время как одночленные конструкции способны реализовать такие принципы актуального членения высказывания, которые полностью уподобляют их простым предложениям (*Я выжилицами боюсь когда они играют, О тебе нет минуты чтобы я не думала, Письмо ты хорошо сделала что отослала* и т. п.)<sup>35</sup>, актуализация двучленных конструкций не дает подобного результата, поскольку охватывает не все сложное предложение в целом, а каждый его компонент в отдельности. Иными словами, актуализация не играет здесь никакой синтезирующей роли. Скорее наоборот: когда в сферу ее действия попадают союзы (что случается очень часто), их связующая функция значительно ослабляется, и сложное предложение начинает граничить с бессоюзным соединением предложений; ср., например: «[Федя]... но на моем месте, если ты, милая, чуткая девочка, была бы, как ни странно это сказать, — на моем месте, — ты бы наверное сделала то, что я» (Л. Толстой, Живой труп, II, 2); «Россия, я твой капиллярный сосудик. Мне больно когда, тебе больно, Россия» (А. Вознесенский, Лонжюмо)<sup>36</sup>.

Говоря о ретроспективных тенденциях в современной теории сложного предложения, нельзя не коснуться вопросов классификации, которая в славянской лингвистической традиции остается главным инструментом его изучения и описания<sup>37</sup>. Здесь прежде всего обращают на себя внимание два момента из области изучения подчинения предложений: повышение интереса к синтаксическому поведению (дистрибуции) придаточных и попытка создать (иногда на совершенно новой основе — с учетом единства функции, значения и формы)<sup>38</sup> их полную типологию, хотя известно, что с некоторых пор сама постановка такой задачи считается в принципе неприемлемой. Что касается традиционного языкознания, то здесь указанная тенденция выступает как некая альтернатива структурно-семантическому подходу к сложному предложению, само формирование которого шло под знаком негативного отношения к функциональной

<sup>34</sup> См. ряд конкретных исследований на данную тему: Ю. И. Леденев, О случаях сближения простого и сложного предложения, в кн.: «Вопросы изучения русского языка», Ростов-н/Д, 1962; Т. Е. Гильченок, Употребление предложения в функции сказуемого, в кн.: «Вопросы изучения русского языка», Ростов-н/Д, 1964; Е. А. Иванчикова, О структурной факультативности и структурной обязательности в синтаксисе, ВЯ, 1965, 5; И. Н. Кручина, Позиционные эквиваленты слова в составе предложения. Канд. диссерт., М., 1968; А. Н. Стеценко, Предложения с предикативными единицами в функции членов предложения, РЯШ, 1970, 1; Г. П. Уханов, Двусоставные конструкции с придаточным во второй части, в кн.: «Мысли о современном русском языке», М., 1969.

<sup>35</sup> Подробнее об этой аналогии в связи с историей литературного языка см.: И. Н. Кручина, Об одном способе линейной организации сложного предложения, сб. «Синтаксис и норма» (в печати). Богатые материалы из живой современной речи приводятся в работе: Е. А. Земская, Русская разговорная речь, ВЯ, 1971, 5.

<sup>36</sup> Из последних работ на эту тему см.: Л. П. Даниленко, Сложные предложения с союзом внутри придаточного, «Вестник ЛГУ», 1971, 2.

<sup>37</sup> Попытку объяснить этот факт спецификой самой синтаксической системы языка предпринял Я. Бауэр; см. его ответы в сб. «Zeichen und System der Sprache», I, Berlin, 1961, стр. 38.

<sup>38</sup> Я. Бауэр, Проблема классификации придаточных предложений в славянских языках, «Actes du X<sup>e</sup> Congrès international des linguistes», Bucarest, 1970. См. также: Г. П. Уханов, О грамматической природе придаточного предложения. Автореф. докт. диссерт., М., 1970.

стороне изучаемых явлений. Отказавшись от первоначальной классификации сложных предложений по признаку их функциональной общности, который был признан «внешним», «случайным» и «искусственным», сторонники этого подхода выдвинули требование структурного единства классов. Однако его практическое осуществление, особенно в области одночленных конструкций, оказалось во многом затруднительным. Так, все типологии, исходящие из этого требования, обязательно содержат четыре класса конструкций: 1) местоименно-соотносительный, 2) изъяснительный, 3) присубстантивный и 4) прикомпаративный, однако реальный состав этих классов (точнее, первых двух, образующих ядро данной классификации) оказывается у разных исследователей далеко не одинаковым.

Основные разногласия концентрируются вокруг вопросов, связанных с определением границ местоименно-соотносительного типа. В соответствии с требованием структурного, а не функционального единства данного класса, в его состав включаются не только конструкции типа *Кто..., тот...*, но и большой массив изъяснительных предложений, все обстоятельственные, построенные по формуле *t/k* (в том числе и с составными союзами: *потому, что; для того, чтобы* и др.), специфические уступительные конструкции типа *где бы ни.. всюду, когда бы ни.. всегда*, местоименно-союзные соединения типа *так красиво, что..., такой большой, (что) как будто...* и др. под. Такое расширение границ класса вообще вряд ли целесообразно. В то же время нельзя не заметить, что само структурное единство столь разнородных конструкций обеспечивается таким признаком (прикрепленность придаточного к местоименному корреляту), конструктивная роль которого совершенно минимальна. За исключением местоименно-союзных конструкций, в которых отсутствие соотносительного слова нормально только в условиях определенной семантической компенсации, и небольшой группы сугубо книжных оборотов с изъяснительным значением (*начать с того, что...; заключаться в том, что...; кончиться тем, что...* и под.), употребление местоименного коррелята **п р и н ц и п и а л ь н о н е о б я з а т е л ь н о**. Это обстоятельство в значительной степени «реабilitирует» функциональный подход к соответствующим конструкциям, одни из которых все чаще начинают распределяться по другим типам, а другие — выделяться в особую сугубо функциональную группу так называемой «фразовой номинации».

Выдвижению проблемы «придаточности» в круг центральных проблем синтаксиса сложного предложения, несомненно, способствовали и попытки его описания методами генеративной грамматики<sup>39</sup>, и возросший интерес к семантике, который, обострив внимание к вопросам синтаксической (пропозитивной) номинации, актуализировал даже элементы теории сокращения придаточных<sup>40</sup>. Однако последние направления в изучении сложного предложения, в большей мере затрагивающие область его семантической, нежели собственно грамматической, структуры, требуют специального рассмотрения, поскольку складывающаяся здесь проблематика имеет самостоятельное значение, выходящее за рамки непосредственных интересов традиционного описательного синтаксиса.

<sup>39</sup> На неизбежность использования функциональных понятий при генеративном подходе к сложному предложению обратил внимание, в частности, Р. Зимек в рецензии на книгу М. Кубика «Трансформационный синтаксис русского языка» («Ceskoslovenská rusistika», 1971, 1).

<sup>40</sup> См., например: Н. Д. А р у т ю н о в а, О номинативном аспекте предложения, стр. 71—72; W. G a r t u n g, указ. соч., стр. 12.

РЕЦЕНЗИИ

Marks, Engels, Lenjin o jeziku. Izbor, redakcija i pre dgovor M. Čanadanović. Prevod M. Boškov. — Beograd, «Kultura», 1970. 198 стр.

Учение Маркса — Энгельса — Ленина в наши дни является методологической и теоретической основой исследований не только в области обществоведения, но и в области всех естественных и гуманитарных наук. Для каждого специалиста, в какой бы области он ни трудился, произведения классиков марксизма-ленинизма, их высказывания и замечания по отдельным конкретным вопросам представляют сокровищницу идей, служащих незаменимым ориентиром и базой в решении любых теоретических и практических вопросов.

Неоценимо значение учения Маркса — Энгельса — Ленина и для развития языкознания. Марксизм-ленинизм дает ученым единственно правильную методологическую основу лингвистических исследований, подлинно научные критерии оценки достижений и недостатков старых и новых лингвистических теорий, оказывает помощь в борьбе с идеалистическими извращениями или отклонениями в языковедческой науке и в практике языкового строительства. Поэтому в Советском Союзе и в других странах все, кто проявляет интерес к языку, сталкивается с языковедческими вопросами в своей научной или практической деятельности, стремятся познакомиться с марксистско-ленинским учением о языке, с мыслями и высказываниями вождей революционного пролетариата по различным вопросам языкознания, с их оценками тех или иных языков или имеющих отношение к языку фактов и явлений.

Классики марксизма-ленинизма не оставили работ, всесторонне и систематически излагающих их учение о языке. Обращение к лингвистике и лингвистическим вопросам у них было связано в большинстве случаев с необходимостью решения тех или иных вопросов общесоциологической проблематики. Естественно, что лингвистическая концепция основоположников марксизма-ленинизма в полном объеме может быть глубоко изучена и оценена лишь в том случае, если положения и высказывания о языке будут рассматриваться и восприниматься в общем контексте тех произведений, где они употреблены, имея в виду единство и цельность всего учения Маркса — Эн-

гельса — Ленина и разработанной ими марксистско-ленинской методологии. Однако большую помощь при ознакомлении с наследием К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина в области языкознания могут оказать и особые сборники, справочники, хрестоматии и т. п., где специально подобраны высказывания классиков марксизма-ленинизма по лингвистическим вопросам, дающие основные сведения по интересующим читателя проблемам в связи с марксистско-ленинским учением о языке и содержащие необходимый библиографический аппарат, отсылающий читателя к произведениям, из которых эти выдержки извлечены.

Три года назад такое пособие получили югославские читатели: в белградском издательстве «Культура» вышел сборник «Маркс, Энгельс, Ленин о языке». Сборник открывается небольшим предисловием. В нем на нескольких страницах (стр. 5—10) составитель М. Чанаданович дает перечень основных языковых проблем и вопросов, которые рассматривались в произведениях К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Следует отметить, что отдельные высказывания автора предисловия, сделанные, к сожалению, в категоричной форме, представляются не совсем точными.

Так, на стр. 5 М. Чанаданович пишет что в составленном им сборнике «впервые в одном месте» собраны важнейшие высказывания К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина о языке. Создается впечатление, что автору предисловия не известно о подобных хрестоматиях и сборниках, издававшихся до появления его книги. В СССР, например, несколько таких сборников было создано еще в 30-е годы: в 1932 г. Т. П. Ломтев и Я. Лоя составили «Ленинскую хрестоматию о языке» (М.— Л.), в 1933 г. появилась книга «Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин и проблемы языка и мышления» (Л.), несколько позднее П. Г. Иванов составил хрестоматию «Вопросы языка в высказываниях Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, академика Марра и Максима Горького» (Саранск, 1934) и т. п. Создавались такие пособия и в последующие годы. Очевидно, в предисловии следовало бы уточнить, что, характеризуя свой

сборник как хрестоматию, в которой впервые собраны важнейшие высказывания классиков марксизма-ленинизма о языке, М. Чанаданович имел в виду Югославию, где его книга, действительно, является первым пособием такого рода.

Нуждается в уточнении и следующее положение автора: «В истории марксизма и в лингвистике до сих пор об интересах классиков марксизма в области языкознания говорили, в основном, вскользь, кратко и имея в виду обычно лишь несколько их наиболее известных положений о происхождении языка в процессе трудовой деятельности и взаимосвязи мышления и языка» (стр. 5—6). По-видимому, и в этом случае автор имел в виду положение в югославской лингвистике, так как во многих других странах лингвистика давно уже пережила тот период, когда о языковедческих интересах К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина говорились вскользь. Задолго до издания рецензируемой книги появилось много работ, специально исследующих вклад классиков марксизма-ленинизма в науку о языке. Здесь нет возможности назвать все эти исследования. Отметим, что эта проблема привлекала внимание таких известных советских и зарубежных ученых, как Е. М. Рыт, М. Г. Долобоко, Е. Д. Поливанов, В. М. Жирмунский, В. В. Виноградов, Т. П. Ломтев, М. П. Алексеев, Р. А. Будагов, Ф. П. Филин, Т. Фрингс, Я. Ружичка, Б. Гавранек, М. Козн и многих других исследователей. Значение идей К. Маркса и Ф. Энгельса для современного языкознания обсуждалось на ряде специальных конференций<sup>1</sup>. Список работ, раскрывающих вклад В. И. Ленина в языкознание, которые опубликованы в СССР только в период с 1965 до 1969 г., насчитывает более 20 названий<sup>2</sup>. Можно и нужно говорить о том, что значение идей классиков марксизма-ленинизма для языкознания еще выявлено недостаточно, но утверждать, как это делается в предисловии к рецензируемому сборнику, что до сих пор языковедческие взгляды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина в лингвистике всюду представляются только как «попутные замечания», «некоторые общие методологические положения» и т. п., значит неточно информировать читателя о том, какую роль уже сыграли и продолжают играть эти взгляды в развитии современного языкознания. Надо полагать, что это утверждение является следствием неудачного изложения, не стражая убеждения автора: в 1966 г. в статье «Диалектическое направление

в лингвистике»<sup>3</sup>, написанной под руководством югославского лингвиста Милки Ивич, М. Чанаданович представлял современное состояние лингвистики в этом отношении более точно. В этой статье он говорил о ведущейся в ряде стран работе по перестройке языкознания на основе марксистско-ленинской философии, о дискуссиях, отражающих пути «марксистского преобразования» лингвистики, о «марксистском учении о языке», которое развивается на базе научного наследия классиков марксизма-ленинизма особенно интенсивно и плодотворно в СССР и Чехословакии. В предисловии к рецензируемому сборнику автор, обращаясь к массовому читателю, к сожалению, всего этого сказать не сумел. Лишь говоря о выступлениях В. И. Ленина в пользу равноправных языковых отношений, он оговаривает, что и в наши дни эти высказывания «сохраняют полностью теоретическую и практическую ценность и актуальность» (стр. 9).

Однако предисловие, как уже сказано, очень кратко и занимает незначительную часть сборника. Основное и самое ценное содержание его составляют выдержки из произведений классиков марксизма-ленинизма — из их книг, статей, речей и писем, — представляющие важнейшие положения К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина о языке. Большинство цитат приведено по осуществленным уже ранее и изданным в Югославии переводам классиков марксизма-ленинизма на сербско-хорватский язык. Некоторые высказывания и целиком работа Ф. Энгельса «Франкский диалект» переведены впервые специально для сборника М. Бошковой.

Значительное место в сборнике занимают высказывания К. Маркса, Ф. Энгельса, в которых раскрывается проблема происхождения языка и мышления, философское материалистическое понимание языка. Представлены в сборнике положения о роли труда в процессе выработки сознания и создания человеческого языка, о диалектической связи языка и мышления, языка и идей, о марксистском понимании характера отношений между языковым знаком и означаемым предметом, о взаимосвязи истории языка и истории общества, о формах и степени влияния экономического и социального развития на различные ярусы языка, о специфичности законов развития языка и т. д.

Высказывания В. И. Ленина о языке, приведенные в сборнике, представляют собой дальнейшее продолжение и развитие учения К. Маркса и Ф. Энгельса и применение учения в конкретном опыте практических революционных преобразований. В книге приводятся клас-

<sup>1</sup> См., например: ИАН ОЛЯ, 1968, 5, стр. 477—480.

<sup>2</sup> См.: «В. И. Ленин и наука. Библиографический указатель литературы», Харьков, 1970, стр. 45—47.

<sup>3</sup> См.: М. Ч а н а д а н о в и ч, Диалектики права и лингвистики, «Прилози проучавању jezika», 2, Нови Сад, 1966, стр. 1 и сл.

сические положения В. И. Ленина, высказанные им при определении общей природы языка и его социальной сущности, о связи языка и мышления, о сущности языкового знака, об обусловленности языкового развития социальным положением и прогрессом в развитии его носителей и т. п. Представлены в сборнике ленинские положения о языке из его речей по национальному вопросу (о «государственном» языке, об устранении любых ограничений и принуждений в обучении и использовании языков и т. п.). Приведены также отрывки из ленинских работ, отражающие его постоянную заботу о чистоте русского языка, о языковой культуре, письма и указания о необходимости создания словаря русского языка и т. п.

Составитель не стремился учесть все высказывания классиков о языке. В сборнике мы не найдем, например, интересных замечаний Ф. Энгельса о южнославянских языках<sup>4</sup>, мыслей В. И. Ленина о приемах изучения иностранных языков<sup>5</sup> и много других высказываний.

Приведенный в конце сборника перечень работ К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, из которых сделаны извлечения, имеет, к сожалению, расхожде-

<sup>4</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 9,2-е изд., М., 1957, стр. 9.

<sup>5</sup> В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 55, стр. 208, 226.

ния с библиографическими указаниями, данными в самом сборнике. В названии работы К. Маркса «Основе критике политичке економије» допущено искажение: вместо слова «основы» («основе») употреблено слово «основные» («основне»). Письмо Ф. Энгельса Лауре Лафарг датировано 11 IV 1888, Блоху — 22 IX 1890, а в тексте сборника указаны иные даты: 10—11 IV 1888 и 21—22 IX 1890.

Оценивая сборник в целом, следует прежде всего указать на его важность и актуальность. Отвечая на все возрастающий интерес широких кругов к учению Маркса — Энгельса — Ленина, составитель и переводчик сборника положили начало большой и благодарной работе по ознакомлению югославского читателя с марксистско-ленинским наследием в области языкознания, создав нужное и полезное пособие.

Ценность рецензируемого сборника была бы несравненно большей, если бы собранные в нем материалы приводились не как иллюстрация того, насколько многосторонними и глубокими были интересы К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина в области языка, а сопровождалась бы специальными комментариями, показывающими, какое значение имеют высказывания классиков марксизма-ленинизма для развития современного языкознания.

*П. А. Дмитриев*

**И. К. Белодед. Ленинская теория национально-языкового строительства в социалистическом обществе. — М., изд-во «Наука», 1972. 214 стр.**

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина и 50-летия образования Союза Советских Социалистических Республик советские языковеды опубликовали ряд работ, в которых рассматриваются важные теоретические и методологические проблемы марксистско-ленинского языкознания. Одной из таких работ является новая книга И. К. Белододеда, посвященная вопросам ленинской теории и практики национально-языкового строительства в СССР.

Рецензируемая книга представляет собой как бы продолжение и обобщение нескольких предыдущих работ И. К. Белододеда, в которых содержится многосторонняя интерпретация методологических принципов марксистско-ленинской теории развития языков в связи с развитием общества и широко освещаются актуальные вопросы ленинской национально-языковой политики, а также обусловленные последовательным осуществлением этой политики исторические успехи в культурно-языковом развитии

советских народов<sup>1</sup>. Разработка этой проблематики получила в новой работе дальнейшее развитие.

Структура рецензируемой книги, состоящей из краткого «Введения» (стр. 5—6), шести разделов и «Указателя имен» (стр. 208—212), в частности последовательность ее разделов, подчинена еди-

<sup>1</sup> См.: И. К. Белодед, Развитие языков социалистических наций СССР, Киев, 1969 (на укр. яз.—1967); е го ж е, Ленінська теорія національно-мовного будівництва в соціалістичному суспільстві, Київ, 1969; е го ж е, Русский язык — язык межнационального общения народов СССР, Киев, 1962; е го ж е, Лінгвістика і соціологія, «Мовознавство», 1967, 2, и др. Эти работы были положительно оценены в рецензиях М. С. Джунусова и М. И. Исаева (ИАН ОЛЯ, 1965, 5), Ф. П. Филина и М. И. Исаева («Українська мова і література в школі», 1967, 11), Г. П. Ижакевич и К. К. Целуйко (ВЯ, 1970, 6).

ному композиционному принципу. Согласно этому принципу, начальные два раздела содержат, главным образом, изложение и анализ высказываний В. И. Ленина, затрагивающих вопросы функционирования и развития языков, ленинских установок в национально-языковой политике и основных характеристик стиля ленинского языка; осуществление ленинских положений в полувековой практике развития и взаимодействия языков многочисленных народов Советского Союза рассматривается в последующих трех разделах; последний раздел посвящен разработке связанного с национально-языковым развитием советского общества важного теоретического вопроса о советском народе как новой исторической общности людей, актуальность которого заметно возросла после XXIV съезда КПСС.

В разделе 1 «Общественно-языковые проблемы в трудах и деятельности В. И. Ленина» (стр. 7—67) рассматривается весь комплекс вопросов, касающихся языковых отношений в многонациональных государствах, в том объеме, в каком эти вопросы освещались и разрабатывались В. И. Лениным. Четко характеризуется отрицательная позиция Ленина по отношению к единому государственному языку в многонациональном государстве, ленинское положение о целесообразности добровольно избираемого всеми народами страны языка межнационального общения, ленинское понимание важности родных языков как могучих рычагов культурного подъема каждого народа. Значительное место в разделе отводится критической оценке точек зрения представителей современной Ленину западной социал-демократии (О. Бауэра, К. Каутского, К. Реннера). Читатель, таким образом, получает возможность составить довольно глубокое и правильное представление о сущности проблемы языкового развития в многонациональном государстве и о путях ее интернационалистического решения в социалистическом обществе.

В разделе 2 «Пламенное слово Ленина» (стр. 68—107) основное внимание уделяется ведущей роли литературной деятельности В. И. Ленина в развитии публицистического и научного стилей русского языка и особенно роли Ленина в создании административно-делового стиля советской эпохи. Имеющиеся уже в литературе характеристики языкового стиля В. И. Ленина автор дополняет своими наблюдениями над ленинским языком; в частности, проводится стилистический анализ статьи В. И. Ленина «К деревенской бедноте», вызвавшей в свое время восторженный отзыв А. М. Горького<sup>2</sup>.

И. К. Белодед приходит к заключению: «Язык Ленина, стиль ленинской речи — это огромная, органическая часть всей его революционной, партийной, государственной деятельности, его деятельности как ученого, писателя, борца на фронте просвещения и культуры» (стр. 106).

Раздел 3 «Язык и история» (стр. 108—135) образует в книге переход от освещения ленинской деятельности в области языка к рассмотрению с марксистско-ленинских позиций конкретных вопросов языкового развития в СССР. Говоря о большой роли языка в общественном прогрессе, И. К. Белодед подчеркивает, что эта роль сохраняется за языком и в период современной научно-технической революции. Одной из важнейших задач языковедения в этом плане автор считает прогнозирование языкового развития общества, характера предстоящих изменений в языке.

Конкретные исторические процессы развития многочисленных языков народов СССР в условиях ленинской национальной политики, начиная с первых лет Советской власти и кончая настоящим периодом, специально рассматриваются в разделе 4 «Социалистическая культура и национальные языки» (стр. 136—170). Автор всесторонне анализирует особенности осуществления культурной революции в многоязычной стране, подчеркивая ленинское положение о том, что развитие социалистической культуры необходимо начинать «с завоевания революционным путем предпосылок»<sup>3</sup> для такого развития. Отмечая, что вопросу развития национальных языков в ленинской теории национально-культурного строительства принадлежит большое место, И. К. Белодед пишет: «Это вытекает из понимания значения языка в истории человечества, прогресса как средства связи между историческими эпохами, как духовной сокровищницы человечества, сохраняющей достоинства его материальной и духовной культуры, а в социалистическом обществе — как одного из могущественных факторов привлечения широчайших масс разных наций и народностей к активной государственной, политической, общественной, культурной и материально-производственной жизни и деятельности» (стр. 148). Автор останавливается на вопросах о соотношении культуры и языка, являющегося одной из форм национальной культуры (стр. 162), о соотношении социалистической культуры и социалистической идеологии (стр. 163—170) и др. Раздел изобилует интересным и убедительным фактическим материалом.

К предыдущему разделу непосредственно примыкает раздел 5 «Плодотворные пути языкового взаимодействия (на материале русского и украинского язы-

<sup>2</sup> См. об этом: И. М и н ц, В лаборатории А. М. Горького, Лит. газ. 1 V 68, стр. 6.

<sup>3</sup> В. И. Л е н и н, Полн. собр. соч., 45, стр. 381.

ков» (стр. 171—181). Подчеркивая большое значение контактов с русским языком для развития всех функциональных стилей украинского литературного языка, особенно научного и административно-делового, И. К. Белодед пишет: «Основным принципом этих контактов является их двусторонний характер — активное взаимодействие, взаимообогащение, при котором на первый план выступают не непосредственные заимствования, а параллельные процессы в области словообразования, синтаксиса и в других сферах, обусловленные общностью социально-экономической и культурной жизни народов» (стр. 178). Здесь же уточняется, что эти параллельные процессы осуществляются в результате воздействия моделей одного языка, преимущественно русского, на другой.

В разделе 6 «Советский народ, нации, языки» (стр. 182—207) основное внимание автора сосредоточено на разработке вопросов, связанных с взаимоотношением понятий «советский народ как новая историческая общность людей» и «нации и народности в многонациональном социалистическом государстве». После краткого анализа правового и политического положения национальных меньшинств в некоторых капиталистических странах (США, Канаде, Великобритании) проводится сопоставление национальных отношений в капиталистических странах с социалистической действительностью. В разделе освещается характер сближения культур социалистических наций в СССР и взаимодействие их языков, убедительно показывается, что национальные языки в Советском Союзе неуклонно развиваются по своим внутренним законам и вместе с тем обнаруживают постепенно вырабатывающиеся черты общности в определенных компонентах их структуры (в частности, расширение интернационального фонда лексики и фразеологии).

Рассматриваемая в книге И. К. Белодеда социолингвистическая проблематика, непосредственно увязывающая языкознание с теорией научного коммунизма, с ленинской национальной политикой и с практикой коммунистического строительства, требует постоянного внимания советских языковедов. На каждом новом этапе развития общества разработка этой

проблематики должна дополняться и углубляться. Рецензируемая работа представляет заметный вклад и в разработку данной проблематики и в пропаганду важнейших положений советского языкознания, касающихся развития и взаимодействия языков в социалистическом государстве. Автору, несомненно, удалось в доходчивой и даже увлекающей форме осветить основные положения ленинской теории развития наций и национальных языков, изложить главные принципы ленинской национальной политики Коммунистической партии и показать огромные успехи этой политики, достигнутые за полувековой период развития советского многонационального государства. Вместе с тем, в работе содержится ряд новых соображений, способствующих углубленному пониманию таких теоретических вопросов, как вопрос о едином государственном языке и о языках республик в многонациональном социалистическом государстве, вопрос о формах национальной культуры и о языке как одной из этих форм, понятие советского народа в его отношении к понятию социалистической нации и к другим понятиям, подводимым под выражение «народ», и т. д. Все это делает книгу И. К. Белодеда интересной не только для специалистов языковедов и социологов, но и для широкой общественности.

Книга содержит много полезной фактической информации о положении наций и развитии национальных языков не только в Советском Союзе, но и в ряде зарубежных стран. Рассматриваемый в книге фактический материал удачно отобран и довольно тщательно обработан. Как на недосмотр в этом плане следует указать на противоречие между приводимыми в двух разных местах данными о количестве языков народов СССР, на которых издается печатная продукция: на стр. 192 говорится о 89 таких языках, а на стр. 196 — о 75. Отдельные недосмотры допущены в стилистическом и техническом оформлении текста.

В целом книга И. К. Белодеда находится на высоком идейно-теоретическом уровне и, безусловно, заслуживает положительной оценки.

*А. С. Мельничук*

**Ф. П. Филин.** Происхождение русского, украинского и белорусского языков. — Л., изд-во «Наука», 1972. 655 стр.

Рецензируемая книга является продолжением другого исследования автора<sup>1</sup> и в свою очередь предшествует тру-

<sup>1</sup> Ф. П. Филин. Образование языка восточных славян, М.—Л., 1962.

ду, основной целью которого будет описание литературных восточнославянских языков в их становлении и развитии. Таким образом, мы имеем дело со второй частью своеобразной научной трилогии, посвященной комплексному изучению

ранних этапов изменения восточнославянских языков — русского, украинского и белорусского. Уже из этого ясно, что вышедшие книги написаны в русле сравнительно-исторического языкознания и в целом совпадают по авторской концепции, а также по отношению к материалу и к предшествующим исследованиям в данной области.

Однако новая работа Ф. П. Филина отличается от предыдущей. Она отличается по методу исследования, который стал более строгим и точным применительно к конкретным фактам, рассмотренным в сравнительном и в историческом, но не в типологическом сопоставлении с однородными, или одновременными, но не однозначными фактами языка; в результате мы получили более глубокую историческую перспективу в изложении материала, чем это было в предыдущей книге — там само членение материала и условности реконструкции позволяли представить скорее систему диалектных несоответствий, чем их неуклонное движение во времени. Новая книга отличается также большим числом диалектных дифференциальных признаков (более 260), с древнейших времен образующих изоглоссы на восточнославянской территории — это рисует более точную территориальную перспективу диалектного членения, показывает изменения языка в пространстве. Обе указанные особенности исследования проявляются в заключительных разделах к отдельным главам, где диалектные признаки рассмотрены и сгруппированы в зависимости от времени их образования.

Синтетичность этой книги не в синтезе как в единственном методе исследования или способе группировки материала. Напротив, элемент анализа здесь преобладает, особенно в описательных разделах. Автора интересуют только те явления языка, которые хотя бы краткое время образовывали на восточнославянской территории изоглоссу — все равно, совпадает ли она с границами современных восточнославянских языков или нет. Все такие особенности проанализированы очень основательно, с критическим изложением существующих точек зрения, с добавлением нового материала, с уяснением временных и территориальных границ распространения той или иной особенности. Именно в этой части работы подчеркивается, что одно и то же явление (например, фонетическое) своими вариациями могло значительно увеличивать число диалектных изоглосс и притом в различные периоды истории языка иметь свою специфику развития и диалектного варьирования. Так, преобразование фонемы *ѣ* на разных синхронных срезах дают совершенно различные изоглоссы и притом не в бинарном противопоставлении (да — нет), а самыми различными вариациями. То же касается реализации безударных гласных и многих других фонетических

особенностей. Все это не просто увеличивает возможности диалектного членения на основе довольно ограниченного числа элементов, но и позволяет подойти к принципиальным вопросам исторической диалектологии.

«...любые диалектизмы... не всегда являются результатом дифференциации исходной единой языковой системы. Имелись диалектизмы, которые древнее этой системы..., такие, которые являются своего рода рубцами, шрамами исчезнувших языковых и диалектных областей» (стр. 469). В работе обнаруживается последовательность диалектного членения, отслаиваются изоглоссы, характерные для разных исторических периодов развития языка; особое внимание обращается на те явления, которые лишь краткое время создавали изоглоссу и теперь не оставили никаких следов своего существования. На восточнославянской территории к числу таковых относятся: этапы утраты редуцированных (стр. 220), смягчение заднеязычных (стр. 307), некоторые этапы изменения *ѣ* в связи со вторичным смягчением согласных (стр. 205), оглушение звонких согласных (стр. 335), развитие категории одушевленности в формах ед. числа (стр. 402) и т. д. Недостаток прежних работ по исторической диалектологии Ф. П. Филин справедливо видит в стремлении схематизировать сложный процесс диалектного членения, представить его в ограниченных попарных противопоставлениях, как это сделано, например, у Н. С. Трубецкого: «для этой схемы характерно сведение фактов к заранее созданной „модели“, а не выведение из фактов истины» (стр. 54). Бинарный характер оппозиций языковой системы Н. С. Трубецкой (а вслед за ним Т. Лер-Сплавинский и Р. И. Аванесов, см. стр. 64) автоматически распространил на диалектные зоны, тем самым совмещая систему языка и диалектную систему.

Существенным вопросом исторического языкознания является вопрос о причине изменений. Ф. П. Филин, естественно, не оставляет его в стороне, но, в соответствии с целями своего исследования, рассматривает этот вопрос с несколько новой точки зрения. Подобно тому как в изучении диалектизмов не следует говорить об общей системе языка, потому что сами диалектизмы не составляют какой-либо системы (стр. 94), специалист по исторической диалектологии интересуется не причина изменения, а причина образования ареала по данному признаку. С одной стороны, это как будто устраняет проблему языкового развития или помещает ее на второй план. Однако косвенным образом эта проблема постоянно присутствует в изложении конкретных языковых изменений, являясь тем эвристическим подтекстом, без которого обсуждение вопроса о генерации изоглосс оказалось бы непродуктивным. Степень разработанности

того или иного вопроса, характер доказательств, имеющих в литературе, достоверность собранного материала — все в конечном счете оказывает влияние на самый набор языковых явлений, привлеченных к исследованию, на их оценку, на их рассмотрение в плане определенного синхронного варьирования. Ф. П. Филин постоянно подчеркивает разную доказательную силу тех или иных фактов (но не в сопоставлении разных уровней: лексические изоглоссы для него столь же важны, как и фонетические — несмотря на их пестроту и частую факультативность), указывает на трудности изучения тех или иных языковых уровней (по этой причине грамматические материалы количественно и качественно уступают фонетическим и лексическим материалам).

При рассмотрении конкретных вопросов автор стремится заполнить исследовательские лакуны: если по обсуждаемым проблемам представлено мало иллюстративных примеров — он добавляет собранные и тщательно им проверенные материалы (см. разделы, посвященные аканью — стр. 121 и сл., переходу *e* в *o* — стр. 191 и сл., цоканью — стр. 257 и сл., и особенно главу, посвященную лексическим диалектизмам); если материал противоречив — он проводит специальное обсуждение фактов с целью их интерпретации, выясняя, отражают ли расхождения во мнениях противоречивость самого материала или его ошибочную расшифровку. В крайнем случае он воздерживается от окончательного решения, оставляя вопрос открытым. Так, например, обстоит дело с цоканьем (стр. 265 и сл.) или с восточнославянскими рефлексивами напряженных редуцированных (стр. 242). Есть основание полагать, что консонантная корреляция по мягкости — твердости первоначально охватывала не всю восточнославянскую территорию, и соответствующее расхождение длительное время образовывало диалектную изоглоссу; тем не менее Ф. П. Филин не включает эту особенность в свое рассмотрение (стр. 304; ср., впрочем, рассуждения на стр. 310). К этой же группе относится множество морфологических изменений (стр. 441, 468) и некоторые синтаксические (стр. 476), а также акцентологические расхождения, которые в принципе могли давать изоглоссы (и на самом деле их давали), но пока еще не описаны с достаточной степенью надежности (см. стр. 369, 394, 401, 409, 438 и мн др.). Возможно недоверие автора к уже имеющимся работам в этой области продиктовано присущей ему осторожностью в выводах, которые он не может проверить лично, однако отсутствие например, акцентологических изоглосс воспринимается как досадный пробел.

Синтетический характер монографии сказывается и в том, что к обсуждению привлекаются любые точки зрения и ги-

потезы, все материалы и толкования фактов. Исследование Ф. П. Филина не страшится встречи с оппонентами — потому что и в этом столкновении автор рассчитывает найти дополнительные аргументы и факты в пользу своей концепции. Мы получаем полный свод критически проверенных сведений.

«В изучении происхождения языков, их исходных основ историческая диалектология — важнейшая, определяющая дисциплина» (стр. 4). Этим, собственно, и определяется общий замысел книги, ее построение, характер изложения и конечные результаты. Автор уверен, что «диалекты с четко очерченными границами — плод лингвистической абстракции, а не лингвистическая реальность» (стр. 63); особенно верным это кажется для древнейших периодов. «На самом же деле таких монолитных диалектных единиц в древнерусскую эпоху не существовало. Разного рода изоглоссы обычно не совпадали друг с другом, пересекая восточнославянскую территорию в разных направлениях. Если даже предложенные нами в настоящей книге реконструкции не выдержат испытания временем и будут заменены другими, от этого, как я уверен, общая картина диалектного состояния древнерусского языка мало в чем изменится. Древнейшие изоглоссы хронологически разного происхождения, причем в позднее время они подверглись серьезным изменениям» (стр. 630). Само обозначение диалектных зон по административным признакам («смоленско-полоцкие», «ростово-суздальские» говоры и т. д.) «относится к истории и географии, а не к лингвистической единице»; изучение не системы диалекта, а только его «особенностей» приводило исследователей к тому, что диалект «оказывается не лингвистическим, а только географическим понятием» (стр. 87).

Напротив, Ф. П. Филина интересуют причины все новых диалектных членений, различные этапы в развитии диалектных особенностей, характер и объем диалектных различий в древнерусскую эпоху, их отношение к истории народа и т. д. В книге конкретно-исторически, применительно к каждому факту изучаются названные вопросы.

Диалектное варьирование возникло в результате неравномерного развития системы, являясь следствием хронологического несовпадения одних и тех же процессов (см. иллюстрации на стр. 201, 215, 219, 220, 357 и др.), в результате непрерывного взаимодействия языков и диалектов (стр. 341). проявляясь в изменениях отдельных слов и морфем (стр. 217). Поэтому исследователь имеет право и даже обязан проследить различные этапы в развитии диалектных особенностей; так фонетические особенности группируются в три разряда в зависимости от времени их образования, надежности

проявления или отдаленных последствий в образовании новых диалектных различий (стр. 342 и сл.; по-видимому, изоглоссы II, 1 на стр. 349 и II, 12 на стр. 352 следовало бы отнести к I группе различий, а II, 11 на стр. 352 — к III, также III, 6 на стр. 355 скорее относится ко II группе изоглосс, поскольку связано с изменением II, 6).

Древнерусские диалектные зоны (в понимании Ф. П. Филина) различались не только наличием — отсутствием какой-либо особенности, но и регулярностью — нерегулярностью того или иного явления, разной его частотностью (стр. 303, ср. 216), различными проявлениями одного и того же изменения (например, изменениями редуцированных или ближайшими следствиями их утраты).

Толкование диалектных признаков в книге до конца лингвистично. Ф. П. Филин говорит о постепенном «нарастании диалектизмов» (стр. 634), о «накоплении локальных языковых признаков» (стр. 527), что представляет собою «длительный исторический процесс» (стр. 636), в течение которого «народный язык» начинает «развиваться только по ему присущим внутренним законам» (стр. 638). Это самое общее определение, видимо, и следует понимать как признание того факта, что общим источником диалектной новации всегда является развивающаяся система данного языка. Поскольку автора «прежде всего интересуют не логические возможности, заложенные в языковой системе, а действительные реализации языковых изменений» (стр. 95), сугубое внимание к факту и трезвое отношение к его интерпретации в конечном счете приводит к системе, которая развивается — но приводит со стороны факта, а не гипотезы, со стороны изменения, а не его условий и предпосылок, ретроспективно, а не на основе дедуктивных операций.

Постепенное накопление первоначально несущественных диалектных различий приводит к образованию сложной системы частных изоглосс — воображению она напоминает старинное зеркало, которое покрывается патиной и сетью неуловимых трещинок, прежде чем расколоться — не без посторонней помощи, в данном случае, не без ввелингвистических факторов, которые являлись «социальной базой реализации закономерностей, заложенных в самом языке» (стр. 638). Как для более ранних эпох (рассмотренных в предыдущей книге) ни общность археологической культуры, ни более или менее достоверный антропологический тип, ни общность прародины, географические границы которой менялись во времени, а только языковое единство может служить критерием этнической общности, так и в феодальную эпоху, по мнению автора, «современные восточнославянские языки возникают не на базе племенных подраз-

делений и феодальных княжеств» (стр. 634) — последние только способствуют образованию диалектных изоглосс, но не создают их. История народа действительно связана с историей языка, но только общностью языка определяются границы этноса. По этой причине «пополнение наших знаний об истории народа посредством лингвистических данных — высшая цель исторического языкознания» (стр. 87).

Такая постоянная «лингвистическая непрерывность» древнерусской и генетически связанных с ним современных восточнославянских языков, этот постоянный и плодотворный акт языкового творчества, неуловимые во всех деталях линии внешней истории языка приводят автора, с одной стороны, к композиционному отстранению от внутренней истории языковой системы, а с другой — к явному нежеланию омертвить эти живые нити изменения, ограничивая их определенным диалектом, или говором, или зоной. По-видимому, в этом можно видеть причину того, что даже в заключение автор не дает реконструкции основных диалектных зон древнерусского языка хотя бы по «пучкам» важнейших изоглосс и хотя бы применительно к какому-то одному синхронному срезу. Впрочем в данном случае свое значение имеет и интерпретация лексических изоглосс, специфический характер которых распространяется автором на все виды диалектизмов, вызывая к ним (к каждому по отдельности) некоторое недоверие. По той же причине автор справедливо не доверяет тем концепциям, которые слишком многие диалектные изменения приписывают влиянию иноязычного субстрата (стр. 250, 265, 311, 336 и др.).

Сказанное определяет также отношение Ф. П. Филина к материалу и источнику исторической диалектологии. Автор стоит на реальной почве фактов, понимая под ними данные современных говоров и письменных памятников русского языка (особое внимание уделено берестяным грамотам, граффити, разного рода надписям, точнее всего отражающим разговорный язык своего времени<sup>2</sup>. Факты языка в исключительных случаях могут быть дополнены анализом структуры языка (стр. 212), которая при этом также становится фактом для исследования. Но это делается очень редко, потому что языковую систему нужно предварительно реконструировать. Повышенная же требовательность автора к безукоризненно проверенным фактам заставляет его отказываться и от очевидных проявлений «структуры языка». Так, приходится настаивать на том, что для реализации глас-

<sup>2</sup> Обоснование этого см.: Ф. П. Филин. Об одном важном источнике истории русского языка, в кн.: «Вопросы теории и истории языка» II., 1963.

ных в древненовгородских говорах важна была структура слога (открытый — закрытый), а не характер последующего согласного (твердый — мягкий, стр. 232), и именно с этим связаны условия проявления здесь так называемого нового *ѣ*; ориентация же только на характер последующего согласного противоречит засвидетельствованным изменениям: в северо-восточных русских говорах, для которых как раз издавна характерна зависимость гласного от характера последующего согласного, новый *ѣ* не фиксируется столь же рано.

Диалектизмы грамматического уровня, привлеченные к исследованию, связаны с формой слова или предложения, с вариациями плана выражения, очень часто основанными на фонетических же (основных для автора) изменениях (см. разделы, связанные с обобщением основ, стр. 377 и сл.), с выравниванием флексии у местоимений (стр. 426), с глагольными флексиями (стр. 438—468) и т. д. Лексические изоглоссы также строятся, в основном на уровне лексемы, а не семы (ср., впрочем, стр. 525, 550, 553 и некот. др.). Таким образом, в качестве доказательного лингвистического факта в книге принимается форма, знак, обозначение, но не значение лингвистической единицы, потому что это последнее требует иных критериев оценки достоверности и очень редко способно давать изоглоссу. «А если нет материальных доказательств, то любая, даже самая остроумная гипотеза будет не больше догадки, которую можно принимать во внимание, а можно и нет» (стр. 188).

Как и в других исследованиях по исторической диалектологии, из монографии намеренно изъята группа данных, связанных с консолидирующим воздействием литературного языка. Например, здесь не рассмотрены возможные диалектные вариации различных форм прошедшего времени в период становления современной видо-временной системы, некоторых типов причастий и т. д., которые наиболее четко представлены как раз в литературных текстах. Это тема следующей части трилогии. Тем не менее, учитывая это обстоятельство, следовало бы точнее sobлюсти и ориентацию на источники, отражающие разговорную речь. В частности, не следовало бы безусловно доверять в этом смысле тексту летописи, потому что она представляет собою сборник текстов разного жанра: летописное *лимень* на самом деле вынесено из древней «Повести о том, како крестися Володимѣрь возмзя Корсунь» (стр. 530), *рѣнь* — из жития Владимира (стр. 532), *лѣплькъ* — из Киево-Печорского патерика (стр. 555) и т. д.

Зато как бы в возмещение указанных лакун каждая включенная в исследование диалектная особенность рассмотрена на широком фоне всей славянской территории, ибо в соответствии с целями иссле-

дования автору важно показать и те диалектные особенности живого разговорного («народного») языка, которые выходят за пределы современных восточнославянских языков, потому что возникли еще до формирования этих языков. В распоряжении автора и сравнительные данные других славянских языков, и монографические исследования по частным темам исторического изменения.

В связи со сказанным ясно, что перед нами не опрокинутая в прошлое лингвистическая география современных восточнославянских языков, а собственно историческая диалектология со своим предметом, целями и методами исследования, со своими предварительными результатами. Это не ретроспекция со стороны современных говоров, а изучение последовательного членения на восточнославянской территории.

С этим же связано преимущественное внимание не к современному говору, а к историческому источнику. Возможности лингвогеографии в историческом исследовании — более чем скромные — оцениваются по заслугам, но не преувеличиваются. Данные современных говоров предварительно должны быть расшифрованы, и только тогда их можно включить в историческое исследование в качестве факта: непосредственное соотнесение диалектных данных с историческим изменением чревато преувеличениями, как это хорошо показано на примере интерпретации некоторых типов безударного вокализма (стр. 106—107, 126, 130, 256, 272 и др.). Внутренняя реконструкция только тогда доказательна, когда исходные факты верно истолкованы, чего нет, например, в известном случае с установлением относительной хронологии современного *аканья* (стр. 104—105; некоторые возражения Ф. П. Филина можно найти еще в ранних работах Л. Л. Васильева, ныне незаслуженно забытых).

Книга Ф. П. Филина восстанавливает доверие к историческому источнику — «древнерусская письменность является первостепенным источником для исторической диалектологии... Локализация диалектизмов основывается прежде всего на массовости свидетельств (та или иная особенность встречается не в одном или двух памятниках, а во многих) и на совпадении географии изучаемой особенности в древней письменности и современных говорах (если, конечно, древнерусский диалектизм дожил до наших дней)» (стр. 92, ср. стр. 164, 321 и др.).

Несправедливо отклонять «странности» древнерусской орфографии как не отражающие языковое изменение (стр. 124—125); подобные исключения необходимо расшифровать, потому что «пренебрежение, мягко выражаясь, не есть лучший способ объяснения фактов» (стр. 170). Конечно, «нормы древнерусского произношения с трудом пробивались через бро-

ню орфографического наследства» (стр. 239); некоторых нарушений орфографического эталона вообще невозможно себе представить из-за ограниченности графических средств древнерусского письма (так обстоит дело с передачей *z* и *γ* — стр. 251, *в* и *ш* — стр. 290, дзеканья — цеканья — стр. 313 и мн. др.); все это невероятно осложняет анализ и с самого начала лишает нас возможности получить достоверную информацию относительно некоторых элементов системы. Однако сами по себе неоднократные, часто повторяющиеся факты нарушения традиционной орфографической системы должны настораживать и вызывать желание их расшифровать (стр. 239). Отклонение от орфографии, позиционно обусловленное смещение букв имеет «фонетическую значимость» (см. толкования на стр. 123, 207, 290, 310 и др.), и только изменения, не давшие в результате никакого фонематического различия, никогда не находили отражения на письме (стр. 189). Если же вдобавок отклонения от орфографической нормы совпадают с современным произношением слова или формы, никаких оснований для скептицизма относительно фонетического характера таких отклонений не должно оставаться (стр. 189, также 193 и др.). Впрочем во многих случаях имеется только видимость связи древнерусского и современного диалектного факта, и их не следует объединять причинно-следственной связью (ср. пример с древнерусским новым *ѣ* в *дѣнь*, *тепѣрь* и современным диалектным произношением *д'ин'*, *топ'ир'* на стр. 231). По этой причине для Ф. П. Филина характерно внимательное изучение динамики орфографических навыков древнерусского писца (ср. раздел, посвященный второму полногласию, и обсуждаемые там вопросы передачи сложного фонетического сочетания), желательного в статистически точном варианте (стр. 216, 257 и др.). Объективным критерием фонетического характера изменения, давшего изоглоссу, для него является отражение такого изменения только на ограниченной территории или только в одно время с другим, параллельным ему, но действительно фонетическим изменением (причем в той же самой позиции): так, перегласовки *e > o* и *a > e* происходят одновременно и сначала только в позиции после шипящих и йота — и это служит достаточным основанием для признания фонетического характера второй (*a > e*) перегласовки. Так же параллельно рассмотрены изменения, связанные со II и I полногласием, со смещением аффрикат и параллельным ему смещением шипящих со свистящими и т. д. В этом проявляется специфический для исторической диалектологии системный подход к фактам.

Изложенные критерии лингвистического анализа письменных источников не представляют собою ничего нового, но,

использованные последовательно и строго, дают весьма внушительное представление о возможностях древнерусского источника. Значение комплексной методики, представленной в книге, повысится, если учесть, что здесь используются результаты внутренней реконструкции, анализ лексикализованных фонетических закономерностей или отражения фонетических изменений в заимствованной лексике, учитываются условия, «механизм», причины, последовательность опорных для исторической диалектологии фонетических изменений, выявляется относительная и по возможности абсолютная хронология изменения. Впрочем для ранних изоглосс, по-видимому, принимается чересчур отдаленная датировка; так, изменения типа *květ- > cvět-* или изменения в группах *tl, dl* относятся здесь к III — IV вв. н. э., тогда как большинство современных исследователей по различным основаниям принимает в качестве возможного времени изменения VI — VII вв. н. э. для первого и VII — VIII вв. н. э. для второго преобразования. Другие замечания касаются частностей. Например, самые ранние примеры мены букв *в* и *у* из древнерусских памятников до середины XII в., по-видимому, не могут быть интерпретированы как отражающие «мену» *в/у*, поскольку написания *Паоуль*, *Аугуста* передают произношение заимствованных слов, а *оуселеноу*, *въгодити* и под. могут быть результатом совмещения различных приставок и основанной на этом ложной этимологии (стр. 291) — такие написания и встречаются в русских рукописях вплоть до XV в., в том числе и не отражающих «мены» *в/у*. Смещения слогов типа *ра — ря* или *рж — рю* в рукописях XI в. также осторожнее было бы связывать со вторичным смягчением согласных, а не с отвердением [р'] (стр. 314—315).

Гораздо сложнее обстоит дело с теми признаками диалектного варьирования, которые могут быть поняты только на фоне действующей языковой системы. Прежде всего это относится не к диалектным признакам изменения или «смещения» фонем и не к различным фонетическим реализациям той или иной фонемы, а к проявлениям синтагматического изменения фонем, к числу которых относятся и аканье. По-видимому, истолкование таких признаков в границах лишь исторической диалектологии оказывается недостаточным. Попробуем показать это на примере безударных гласных.

Ф. П. Филин абсолютно прав, подчеркивая специфичность православного «аканья», не связанного с редукцией безударных гласных (стр. 346), а обязанного чисто парадигматическим соотношениям дифференциальных признаков в вокалической системе (отсутствие ДП по лабиализации и включение в систему этого ДП, различным образом проте-

кавшее на разных праславянских территориях). Однако из этого вовсе не следует отрицание связи аканья и редукции для другой, более поздней системы (и притом редукции не обязательно количественной: есть основания предполагать качественную редукцию безударных гласных, связанную с признаком напряженности), где сами принципы контекстуальной нейтрализации становятся иными. Если «сторонники гипотезы позднего происхождения аканья неправомерно игнорируют праславянскую фонологическую систему» (стр. 113), вряд ли следует обратным образом повторять их ошибку и настаивать на «типологическом» сходстве всякого варианта «аканья». В этом смысле любые попытки фонологической интерпретации конкретно-исторического варианта аканья, напротив, следует признать плодотворными, даже если покамест они не обоснованы всесторонне (ср. высказывание Ф. П. Филина на стр. 108). Особенно интересное толкование предложено В. К. Журавлевым, по-видимому, нашедшим принципиальную разницу между праславянским и русским аканьем<sup>3</sup>, которая основана на нейтрализации по разному признаку. В других случаях также можно обнаружить некоторые противоречия в изложении древнерусских фактов, и они всегда связаны с синтагматическим изменением фонем (ср. еще отрицание фонетической дистрибуции фонемы *ǣ* в XI в. на стр. 161 и ее признание на стр. 164—165).

Все это приводит к мысли, что пределом компетенции исторической диалектологии является та лингвистическая единица плана выражения, которая способна самостоятельно служить средством диалектного разграничения: фонема, морфема, лексема. Более того, соединяя вместе все описанные в книге признаки диалектного варьирования, легко обнаружить, по

<sup>3</sup> В. К. Журавлев, О праславянском кратком *ǣ/o* и аканье, в кн.: В. И. Георгиев, В. К. Журавлев, Ф. П. Филин, С. И. Стойков, Общеславянское значение проблемы аканья, София, 1968, стр. 41 и сл.

каким именно признакам синхронной системы намечается диалектное варьирование — эти признаки периферийны по отношению к действующей системе, которая одна и представляет собою на каждом синхронном срезе действительный язык. Диалектное же варьирование организуется на признаках, преобразующих эту систему. Это ясно уже из того, что временные диалектные признаки впоследствии утрачиваются потому, что связаны с развивающейся системой (см. примеры, приведенные выше: преобразование редуцированных и т. д.). Вот почему для исторической диалектологии система каждый раз оказывается неуловимым феноменом — но это не значит, что на других уровнях описания следует отказываться от всяких попыток ее реконструкции. Разумеется, такая реконструкция предполагает уже совершенно другую точку зрения на материал и на принципы его исследования.

Последующие разработки в области русской исторической диалектологии, солидной базой которых явится монография Ф. П. Филина, внесут некоторые уточнения в конкретные ее результаты — автор и сам рассчитывает на такую возможность. Будет всесторонне оценена эмпирическая база книги. В нашу задачу входит лишь дать общую оценку теоретическим принципам построения восточнославянской исторической диалектологии. Разумеется, можно спорить с автором в истолковании отдельных особенностей изменения, отводить некоторые факты или досадовать на опечатки (особенно многочисленные в сносках), однако совершенно ясно, какое большое значение эта монография имеет для современной разработки исторической диалектологии. Это не просто итоговый труд по теме, которая в последнее время выходит на повестку дня; работа Ф. П. Филина вместе с тем указывает направление поисков, возможности исторической реконструкции диалектного членения языков, сформировавшихся «на глазах истории». Это направление историческое.

В. В. Колесов, В. М. Марков

**М. М. Гухман.** Язык немецкой политической литературы эпохи Реформации и Крестьянской войны. — М., изд-во «Наука», 1970. 275 стр.

Лингвистическое исследование немецкой политической литературы XVI в. находится как бы в центре пересечения различных дисциплин и, безусловно, заслуживает самого пристального внимания. С одной стороны, проблема «Язык и политика» весьма актуальна в наши дни, ибо в последнее время за-

дачи лингвистики значительно расширились и вышли далеко за пределы анализа системы языковых знаков в узком смысле — на первый план все более и более выступает изучение конкретного акта коммуникации, исследование и описание классов коммуникационных ситуаций. Тем самым становятся очевидными и део-

логические компоненты лингвистики как социальной науки<sup>1</sup>.

С другой стороны, в центре германистических лингво-исторических исследований стоят проблемы, связанные со становлением нормы современного литературного языка. Несмотря на долгую историю изучения, многие вопросы еще нуждаются в выяснении. При этом исследовании развоятся, в основном, в двух направлениях: используются новые методы (структурные, статистические и др.) и расширяются источники в географическом, хронологическом и социологическом планах, а также в отношении изучения различных уровней языка<sup>2</sup>. Рецензируемая работа находится как раз в русле всех этих проблем.

И в частных исследованиях, и в фундаментальных работах автор показал себя большим знатоком истории немецкого языка и истории германских языков. В рецензируемом труде автор обращается к исследованию языка XVI в., который по сравнению с более ранними периодами долгое время оставался за пределами внимания языковедов. Исследование концентрируется вокруг материалов, игравших до сих пор весьма незначительную роль в лингво-исторических штудиях: так называемых «листочков». Автор справедливо считает XVI в. эпохой больших социальных потрясений, которые в сравнительно короткое время породили богатую литературу самых различных жанров. Однако, по мнению автора, историки языка до настоящего времени делали весьма односторонний выбор из всего этого литературного богатства: кроме языка художественной литературы, исследовались, прежде всего, язык религиозной прозы, а также так называемый деловой или канцелярский язык. Впрочем утверждение автора о том, что «за пределами интересов языковедов все еще оставались целые пласты различных жанров немецкой письменности этой эпохи» (стр. 11), представляется нам слишком категоричным. Имеются работы, посвященные рассмотрению научной прозы<sup>3</sup>,

языку народных книг (Volksbücher)<sup>4</sup>, а также другим текстам (частью частного характера), отражающим язык различных слоев населения<sup>5</sup>. Следует, наконец, указать на исследование правовых памятников<sup>6</sup>.

Во всяком случае заслуга автора состоит в том, что он со всей определенностью указал на важность исследования листовок XVI в. для истории языка<sup>7</sup>. Под термином «листочек» имеются в виду предназначенные для массового распространения печатные материалы различного жанра, объема (от 3 до 50—60 стр.) и содержания: альманахи, полемические сочинения (частично в форме диалогов), информация о событиях того времени (и не только политического характера), публикации песен светского и религиозного содержания и др. Составителями листовок являлись известные личности, например, Томас Мюнцер, Мартин Лютер и Ульрих фон Гуттен; многие листовки, однако, остались анонимными, даже без указания имени печатника или места издания. Нередко одна и та же листовка публиковалась в самых различных местах. Сейчас уже нет возможности восстановить полный перечень листовок, появившихся в рассматриваемую эпоху; однако определенное представление об этом дает изданный П. Хоэнэмзером список листовок из имеющегося во Франкфуртена-Майне (неполного) собрания. Он описывает свыше 800 листовок на немецком и латинском языках за период с 1520 по 1530 г., в которых речь идет об актуальных событиях того времени.

Изучение политических листовок с точки зрения истории языка требует выяснения стоявших за ними политических сил и сущности классово-войн того времени. Автор решает эти задачи в двух первых главах своей работы (1. «Политическая литература эпохи Реформации и Крестьянской войны. Задачи исследования»; 2. «Общая характеристика листовок как особого

<sup>4</sup> Ср., например: E. Hagfors, Die Substantivdeklinaton im «Volksbuch vom Doctor Faust», «Memoires de la Société néophilologique», 2, Helsingfors, 1897.

<sup>5</sup> Ср., например: E. Hartmann, Beiträge zur Sprache Albrecht Dürers, Halle, 1922; K. Krieger, Die Sprache der Ravensburger Kaufleute um die Wende des 15/16 Jahrhunderts, Heidelberg, 1933.

<sup>6</sup> Ср. обзор: R. Grobe, Zur sprachgeschichtlichen Untersuchung der spätmittelalterlichen deutschen Rechtsdenkmäler, «Forschungen und Fortschritte», 38, 1964.

<sup>7</sup> Ср. об этом в настоящее время также: H. Winkler, Der Wortbestand von Flugschriften aus den Jahren der Reformation und des Bauernkrieges in seiner Einheitlichkeit und landschaftlichen Differenziertheit, Diss., Leipzig, 1971.

<sup>1</sup> Ср., например: B. W. Schmidt, Zur Ideologiegebundenheit der politischen Lexik, «Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», 22, 1969; P. Suchsland, Über den Zusammenhang von gesellschaftlichen Strukturformen und menschlicher Sprache, «Sprachpflege», 21, 1972.

<sup>2</sup> Ср., например, изданную Г. Фойделем серию «Bausteine zur Geschichte des Neuhochdeutschen», опубликованную в рамках «Публикаций Центрального института языкознания» Академии наук ГДР в Берлине.

<sup>3</sup> Ср., например, обзор: G. Eis, Mittelalterliche Fachliteratur, Stuttgart, 1962, куда включены работы, относящиеся к XVI в.

типа письменности и их жанровые разновидности»), обращая особое внимание на наиболее существенные моменты. Объектом исследования при этом служит содержание определенных листовок. В частности, разбирается один из наиболее древних памятников немецкой утопической литературы — изданная в 1527 г. в Лейпциге Г. Херготом листовка «Von der neuen wandlung eynes Christlichen Lebens».

Значение листовок для истории языка состоит прежде всего в том, что они представляли собой средство вовлечения широких народных масс в религиозное и политическое движение, что в свою очередь открывало новые области использования немецкого языка. Применение языка для непосредственной политической агитации и пропаганды означало появление новой социальной функции немецкого языка. При этом листовки вовсе не отличаются единообразием — ни по содержанию, ни по жанру, ни в отношении территориального или социального характера их языка.

Автор следующим образом формулирует основные задачи своего исследования: анализ языковой вариантности и определяющих ее факторов (территориальных, жанрово-стилистических, социальных, индивидуальных особенностей автора и издателя); соотношение языка листовок и развивающегося литературного языка на фоне все усиливающегося процесса унификации языка; определение статуса листовок в пределах системы форм существования языка рассматриваемой эпохи. Уже из этого перечня задач, которые поставил перед собой автор, видно, что рассмотрение политических листовок не ограничено здесь узкими рамками анализа звуковых, графических и грамматических явлений; автор стремится связать лингвистическую характеристику этой группы источников с основными проблемами современного языкознания.

Поставленные задачи определяют выбор материала. Автор рассмотрел более 400 листовок; около 150 из них объемом более 2500 страниц (они относятся к периоду с 1519 по 1529 г.) положены в основу исследования. Больше половины исследованного материала составляют первоисточники, остальной материал почерпнут автором из лингвистически безупречных изданий. Как показывает автор, центры издания этих листовок лежат в южно- и средненемецких областях.

На вопрос о том, правомерно ли объединять рассматриваемые весьма разнородные печатные материалы под общим термином «листовки», автор отвечает положительно, и мы всецело присоединяемся к нему в этом отношении. В качестве основного аргумента автор называет актуальность содержания листовок. Это

находит свое выражение в нередко наблюдаемом в листовках непосредственном обращении к определенным лицам; возникают целые серии листовок, в которых обращение и ответ лиц, участвующих в полемике (например, Лютера и Эмзера) соотносены друг с другом. Злободневность, а также некоторые другие особенности создания листовок, как правило, исключали тщательную языковую обработку политической литературы с точки зрения звуковых, графических и грамматических явлений; однако общественная функция листовок определяла характер их языка: составители стремились к ясности, наглядности, убедительности и действенности, в связи с чем применяли соответствующие языковые средства. Излюбленными приемами полемики являлось использование цитат из библии, пословиц и поговорок, уничижительное перемещение букв в имени и фамилии противника (например, *Murner* > *Murnarr*), использование грубой лексики. Правда, эти приемы не применяются в одинаковой мере во всех листовках.

Особую роль играли диалоги. Традиции классического диалога перешлетаются здесь с традицией шуточной народной комедии. Представители угнетенных классов обычно выступают в диалогах как поборники прогрессивных идей.

В обширной третьей главе своей работы («Влияние локальных факторов на дифференциацию языка политической литературы», стр. 71—197) автор обращается к языковым явлениям и в первом разделе исследует роль печатника в локальной дифференциации языка листовок. Основной вопрос заключается в том, в какой мере печатники влияли на язык рукописи или определяли его. В связи с этим возникает целый ряд проблем. Автор по-новому подходит к решению всех этих вопросов, хотя из-за отсутствия другой специальной литературы ему приходится ограничиться только работами Гётце. Возможность непосредственного сопоставления рукописи и ее отпечатка в значительной мере исключена, так как мы почти не располагаем рукописными оригиналами листовок. Вместо этого можно сравнивать (хотя также лишь при определенных условиях, которые не всегда налицо): 1) различные печатные издания одного и того же текста; 2) различные произведения одного и того же автора, отпечатанные у различных печатников; 3) печатные издания произведений различных авторов, отпечатанные одним и тем же печатником.

В качестве объекта исследования на основе первого из этих методических принципов автор избрал антипанистскую листовку Ульриха фон Гуттена, изданную в Аугсбурге в 1521 г. и перепечатанную в Эрфурте, Спрасбурге, Вормсе и Шпайере; кроме того, исследуются крестьянские «Zwölf Artikel», которые пред-

ставлены более чем двадцатью различными печатными изданиями, а также диалог «Карстханс». Отдельные печатные издания одного и того же произведения не обнаруживают почти никаких различий в тексте и в содержании, очень незначительно отличается их лексика и морфология. Определенные расхождения наблюдаются только на уровне фонетики и графики. Однако эти различия не отражают в полной мере особенностей первоисточника или места переиздания. Мы не думаем, что последнее можно считать «несколько неожиданным», как утверждает автор (стр. 87); скорее всего для рассматриваемого периода было вполне нормальным, что вместилище печатников в звуковой и графический облик листов было непоследовательным и неполным. Автору, видимо, следовало бы несколько больше учитывать характер соотношения отдельных текстов. Для рассматриваемых проблем весьма важно, например, что издание «Карстханса», выполненное Раммингером в Аугсбурге, не является непосредственной перепечаткой предыдущего аугсбургского издания Надлера, а основывается на издании Петри в Базеле. Кроме того, как сейчас выяснилось, мнение Буркхардта о том, что одна из перепечаток была осуществлена Вольфом Кёпфелем (автор опирается на эти данные, стр. 88), оказалось неверным; печатное издание было выполнено М. Малером в Эрфурте<sup>8</sup>.

Использование второго методического принципа иллюстрируется автором на материале произведений Г. Кеттенбаха, Т. Мюнцера, И. Экка и И. Фабри. И на основе этого сопоставления выясняется, что вариативность языковых средств проявляется прежде всего на фонетико-графическом и частично морфологическом уровне; это в значительно меньшей степени или вовсе не относится к синтаксису, лексике и стилю. Речь идет об известных явлениях нововерхненемецких дифтонгов (*min — mein, uf — auf*), о лабиализации или делабиализации, о вариативности суффиксов (*-nis — -nus*) и др. При этом наблюдаются значительные расхождения в деятельности отдельных печатников, и даже различные произведения, печатавшиеся одним и тем же издателем, не обнаруживают языкового единства. Это вполне понятно, поскольку в то время не было еще обязательной кодифицированной языковой нормы и поэтому печатники стремились лишь приблизиться к существующему языку.

Третий методический принцип положен в основу исследования печатных произведений из Аугсбурга, Бамберга, Шпайера, Страсбурга, Эрфурта и других восточносредненемецких городов. При этом автор устанавливает существование из-

вестных различий. В то время как печатные произведения из Бамберга, Шпайера и Страсбурга обнаруживают исключительно пеструю картину, аугсбургские печатные произведения дают возможность выделить более стабильные фонетико-графические общие черты. Это позволяет автору «постулировать существование определенной нормы аугсбургских книгопечатников» (стр. 102), хотя позднее об этом говорится более сдержанно (стр. 148). Наконец, автор особо выделяет восточносредненемецкий ареал. Ни в одном другом районе Германии не наблюдается в эти годы столь значительного числа издательских центров с такой огромной продуктивностью в издании политической литературы, как в этом районе. Язык этих печатных произведений отличается значительным единообразием; различия наблюдаются чаще всего лишь в ограниченной группе определенных лексем. Это положение имеет большое значение для понимания роли восточносредненемецкого ареала в процессе унификации немецкого литературного языка.

Во втором разделе третьей главы автора интересует не соотношение между авторской редакцией текста и редакцией печатника, а соотношение между специфическими для данного центра формами и формами, свойственными чуждой письменной традиции, включаемыми в данное издание. Делается попытка установить фонетико-графические (старые монофтонги *i, û, î*, старые дифтонги *uo, ðe, ou*, явления повышения и понижения, апокопа, *a/o* в *soll, oder*) и морфологические (личные окончания глагола во мн. числе, парадигма глаголов *haben, sein, stehen, gehen*, вариантность префиксов и суффиксов, образование уменьшительных имен существительных) изоглоссы; в качестве дополнения привлекаются также лексические элементы (*nit — nicht — nüt* «nicht»; *losen — horen, beiten — warten* и др.). Однако автором не рассматриваются консонантные явления типа *gegen* «*gegen*», *rauer* «*Vauer*» и *pusch* «*Busch*», начальное *s-* перед согласной (*sl-/schl-* и т. д.), вариация *-b-* и *-w-*, а также такие морфологические явления, как различия в формах мн. числа существительных и различия, возникающие при выравнивании претеритальных форм сильных глаголов. Таким образом, фундамент исследования в этом отношении все же несколько узок. Выводы не являются неожиданными: язык политической литературы (как в пределах одного и того же издательского центра, так и — в еще большей мере — в различных центрах) характеризуется множественностью вариантов. Противопоставляются, однако, два замкнутых ареала — юго-западная и восточносредненемецкая языковая область. Автор считает правомерным говорить здесь о «двух подсистемах, или двух локальных вариантах» (стр. 197)

<sup>8</sup> Ср.: Н. Winkler, указ. соч., стр. 52, 92 и сл.

К выводам третьей главы, в основном, можно вполне присоединиться и особенно приветствовать предложенную автором методическую процедуру. Однако в некоторых местах приводимый языковой материал или его интерпретация представляются спорными или требующими некоторых корректив. Так, *schepffen*, *gewiſt* (стр. 86), *wirdig* (стр. 91) приводятся в качестве примеров делабиализации («Entgründung»), хотя на самом деле современные формы *schöpfen*, *gewußt*, *wurdig* являются более поздними. В отдельных случаях вместо простой регистрации и инвентаризации различных форм желательнее было бы обратить больше внимания на их историческое истолкование. Это относится, в частности, и к параллельному использованию *sin/sein* и др. в «Карстхансе», которое автор называет «смешением дифтонжированных и недифтонжированных форм» (стр. 88). Здесь вряд ли можно говорить о «существовании диаметрально противоположных закономерностей» (стр. 148), ибо речь идет о действии лишь одной закономерности: появлении новых дифтонгов в письменной традиции. Эта тенденция развития, однако, реализуется не сразу, что вполне обычно для явлений подобного рода.

Колебания в использовании *o* и *u*, которые играют определенную роль при фонетико-графической характеристике большинства листовок (ср. также стр. 167—169), можно истолковать правильно, если различать следующие явления.

#### 1. Для средневерхненемецкого *o*:

1.1. Поднятие до *u* в случаях типа *Wuche* «Woche», *hufft* «hofft», *uben* «oben». У кратких гласных это является и в наши дни особенностью языка определенных слоев населения, говорящих на восточносредненемецком *Umgangssprache* (за исключением позиции перед *r*).

1.2. Действие аналогии в аблаутных формах с *u* в случаях типа *gewurffen* «geworfen», *gehulffen* «geholfen».

1.3. Наличие древневерхненемецких или средневерхненемецких параллельных форм с *o/u*, например, *trucken* — *trocken*, *puchen* — *pochen* и т. д.

#### II. Для средневерхненемецкого *u*:

2.1. Понижение до *o* перед *r* (*torm* «Turm»). Сейчас это является особенностью некоторых разновидностей восточносредненемецкого *Umgangssprache*, но отсутствует в письменном языке.

2.2. Понижение до *o* перед носовыми, например, *son* «Sohn», *fromm* «fromm» — весьма характерное явление для современного литературного языка.

2.3. Понижение до *o* в нейтральной позиции, например, *Schoß* «Schuß», *Zober* «Zuber» не представлено в литературном языке и почти не встречается в восточносредненемецком *Umgangssprache*.

2.4. Аналогические образования и ста-

рые параллельные формы, например, *hulden* — *holden* «дать клятву верности»; *gulden* — *golden*.

Пересекающиеся тенденции привели к колебаниям в написании того или иного слова. Довольно рано засвидетельствованные написания слов с *o* (*Sonne*, *Sonntag*, *Wonne*) оказывали консервирующее влияние друг на друга.

Как уже отмечалось, огромная заслуга рецензируемой книги состоит в том, что ее автор выходит в своем исследовании далеко за пределы характеристики листовок с фонетико-графической точки зрения. Языковое многообразие этих памятников следует объяснять не только территорияльными, но и стилистическими различиями. Этот вопрос очень четко ставится в четвертой главе («Жанрово-стилистическая дифференциация языка политической литературы», стр. 198—234). Языково-стилистическими критериями являются использование лексики более «низкого» обиходного языка, применение метафор и сравнений, элементов диалога. С другой стороны, следует принять во внимание использование латинских элементов либо в форме целых цитат из латинских произведений, либо в форме отдельных слов (геср. словосочетаний). Они имеют двоякую функцию: 1) в качестве традиционных стилистических средств они придают тексту книжную окраску; 2) либо служат дополнительным языковым средством дискредитации католической церкви. По традициям латинской риторики используется также нагромождение эпитетов и синонимов.

Для исследования жанрово-стилистических различий привлекаются также синтаксические явления, а именно: причастные конструкции, позиция субстантивного определения в гонитиве, глагольная рамка в главном и придаточном предложениях. Тем самым рассматриваются существенные и весьма показательные явления, и выводы, которые мы не имеем возможности привести здесь подробно, позволяют сделать ценные дополнения к известным фактам синтаксического развития в этой области. Так, в определенной части листовок использование причастия I в качестве традиционной синтаксической модели книжного языка выходит за пределы адъективно-атрибутивной функции. Что же касается глагольной рамки (стр. 227—235), то учет синтаксической структуры элементов, находящихся вне рамочной конструкции, мог бы, очевидно, еще более уточнить и дифференцировать картину; в настоящее время предожженные словосочетания и сравнения имеют тенденцию выходить за рамку («Ausrahmung»).

В связи с социальной характеристикой языка листовок (глава 5, стр. 235—251) автор справедливо указывает на то, что в них непосредственно не отражается

язык народных масс, а используется литературный язык. Это относится и к крестьянским двенадцати тезисам. Наддиалектный характер языка обнаруживается прежде всего в определенном выборе местных языковых признаков и в замене территориально ограниченных особенностей элементами «чуждой» письменной традиции. В этой связи, с одной стороны, исследуется соотношение между языком листовок и языком народных проповедей и народной драмы; с другой стороны, анализируется соотношение языка листовок с деловым и канцелярским языком. В большинстве политических листовок явления наддиалектного характера не встречаются в том объеме, который типичен, например, для языка канцелярии курфюрста Саксонского. Это позволяет сделать вывод об иных социальных источниках изучаемого языка. Автор приходит здесь к исключительно интересным положениям относительно процесса языковой унификации и нормирования. Справедливо указывается, что «диалектика этого сложного процесса заключалась в том, что на раннем историческом этапе объединительные тенденции вызвали появление дополнительных вариантов, поскольку формирование изоглос-

широкого охвата не сразу вело к исчезновению узколокальных форм» (стр. 249). Наконец, в этой связи еще раз подчеркивается особый статус языка политической литературы восточноевропейского ареала (стр. 251).

Подведем итоги. Рецензируемая работа заслуживает самого большого внимания уже потому, что в ней исследуются памятники, до сих пор находившиеся вне поля зрения историков языка. Анализ производится частично на основе новых методических принципов и является великодушным примером комплексного исследования древних текстов, начиная от изучения фонетико-графических явлений вплоть до стилистической характеристики. Тем самым вносится ценный вклад не только в лингвистически фундаментальное описание и дифференциацию листовок, но и в методику исторических исследований языка. Используя выводы, полученные на основе описания текстов, для характеристики процессов языковой унификации и выявления закономерностей становления единой кодифицированной нормы, автор вносит свой вклад в обсуждение одной из ведущих проблем истории немецкого языка.

В. Флайшер

Перевел с немецкого М. М. Маковский

**«Развитие фонетики современного русского языка. Фонологические подсистемы».**—М., изд-во «Наука», 1971. 344 стр.

Содержание рецензируемого сборника широко. Семь разделов сборника представляют разные аспекты фонетики и фонологии: это и публикация беседы В. Н. Сидорова с молодыми сотрудниками Института русского языка АН СССР о московской фонологической школе, и рассмотрение факторов, определяющих развитие фонетической системы современного русского языка, и исследование разговорной речи и просторечия. В сборнике помещены и работы, основанные на инструментальном и шире — экспериментальном анализе звуковых явлений, интересная подборка коротких «заметок о русской фонетике» и, наконец, статьи, посвященные описанию принципов работы с фонетическим вопросником. Учитывая особую важность обсуждения некоторых общих вопросов, мы ограничились здесь рассмотрением лишь тех статей, где вопросы эти раскрыты наиболее подробно.

Речь идет, прежде всего, о причинах фонетических изменений; о том конкретном материале, который является исходным при фонетическом анализе, а также о методе анализа этого материала; наконец, о тех отношениях, которые существуют между фонологической системой современного литературного языка и под-

системами, выделяемыми на основании фонетических характеристик.

Программная статья сборника — «О грамматических факторах развития фонетической системы современного русского языка» (авторы — М. Я. Гловинская, Н. Е. Ильина, С. М. Кузьмина, М. В. Панов). Основная мысль статьи заключается в том, что фонетическая система языка развивается в соответствии с тенденциями развития грамматики: как образно выражаются авторы, «... фонетика только четко отвечает на потребности грамматического развития и преданно следует за ней (за грамматикой.— Л. Б.)» (стр. 21).

Считая основным направлением грамматического развития в современном русском языке стремление к аналитизму и агглютинативности, авторы рассматривают, каким образом это отражается на судьбе консонантизма и вокализма общеупотребительных слов и на судьбе фонетики редких слов.

Тенденции грамматического развития приводят, по мысли авторов, к тому, что возникает необходимость, с одной стороны, в сохранении единообразного вида морфемы в разных словах, с другой, в более резком разграничении морфем, следующих друг за другом в слове.

В области согласных, как пишут авторы, происходит ослабление позиционной зависимости звуков в потоке, которая ранее «разъедала» стык корня и аффикса, «роль диэремы, морфемного шва, возрастает» (стр. 22). Это подтверждается следующими фактами: 1) отвердение зубных<sup>1</sup> согласных перед мягкими губными *u[j]* ([зб']*уть* вместо старого [з'б']*уть*). «Агглютинативность торжествует» (стр. 22), так как все приставки получают единообразный фонетический облик; 2) ослабление ассимиляции согласных по месту и способу образования (*ра* [ш'ч']*истить* вместо *ра* [ш'ш']*истить*); 3) отсутствие упрощения в сочетаниях <стк>, <зdk>, <стл>, <нтск>, <стн>: *гига*[нтс]*кий* вместо *гига*[нс]*кий* и т. д.; 4) вытеснение старого [ж'] новым [ж] в результате выравнивания чередований, т. е. устранения таких чередований, которые мешают отождествить морфемы.

Аргументация в пользу усиления фонетических признаков морфемных швов и процессов «уединоображивания» фонетического облика морфемы не кажется бесспорной даже на основании того, что сказано в этой статье. К примеру, факт отвердения зубных перед губными — [з]*буть* вместо [з']*буть* — едва ли можно трактовать как свидетельство стремления к этому «уединоображиванию»: сами авторы пишут, что чередование твердых и мягких согласных «не мешает отождествлять морфемы, не усложняет процесс этого отождествления: твердые и мягкие звуки фонетически коррелятивны, т. е. связаны друг с другом уже на фонемном (фонетическом) уровне...» (стр. 26). В чем же тогда «грамматический» смысл отвердения зубных согласных перед последующими губными?

Основной факт, подтверждающий влияние агглютинации на систему вокализма, — это разные, по мнению авторов, процессы, характеризующие безударные гласные в основе и во флексии. Речь идет в первую очередь о возможности употребления безударного гласного заднего ряда (э) после мягкого согласного. Такое употребление, по мнению авторов, несвойственно основе — [с'эм'д'ис'ит], но встречается во флексии — [кós'ът], что приводит к усилению роли морфемного шва. Вопрос о качестве заударного гласного после мягкого согласного требует специального рассмотрения, так как постулируемая в статье противоположенность флексии и нефлексии экспериментально не подтверждается. Однако рассуждения авторов относительно вокализма вызывают и другие вопросы: если имеется тенденция «уединоображивания» морфем, то почему она распро-

страняется только на флексии, оставляя в стороне основы? Почему побеждает иканье (стр. 29), которое неизбежно приводит к «разнообразному» звучанию морфемы ([п'ир'э]еран, но [п'ер'и]дан)?

Влияние грамматических тенденций развития языка на фонетический облик редких слов выражается, по мнению авторов, ярче всего в произношении долгих согласных и в произношении твердых согласных перед <э>. Сравнение произношения долгих согласных в заимствованных словах у представителей старшего и младшего поколений, проведенное М. Я. Гловинской, показало, что молодежь на 5% реже употребляет долгие согласные. Это объясняется тем, что «... долгий согласный в русском языке служит показателем стыка морфем, а распространение произношения долгих согласных в корнях заимствованных слов привело бы к потере ими этого своего значения» (стр. 31). Употребление же твердого согласного перед гласным <э> одинаково в речи обоих поколений — из этого делается вывод о том, что в открытом слоге, в связи с допустимостью и твердого и мягкого согласного перед гласным <э>, мягкость согласного «грамматизируется, становится показателем морфологического стыка» (стр. 32): *кашнэ*, но *войне*.

Заключается статья следующим образом: «Общий вывод нашего обзора достаточно прозрачен: все существенные изменения в фонетике современного русского литературного языка за последние пять-шесть десятилетий можно рассматривать как следствие грамматических процессов» (стр. 32). Однако этот вывод не подтверждается ни фактами, приводимыми в самой статье, ни данными, содержащимися в других статьях рецензируемого сборника.

Вопрос о взаимоотношении между фонетическими процессами в литературном языке и в городском просторечии — один из неясных вопросов в теории формирования нормы, и тем не менее естественно предположить, что основные тенденции развития литературной нормы определенным образом связаны с тем, что наблюдается в просторечии. Интересная статья Ж. В. Ганиева «О произношении рабочих — уроженцев г. Москвы», помещенная в сборнике непосредственно вслед за программной статьей коллектива авторов, не подтверждает гипотезы об усилении роли морфемного шва в современном произношении.

Автора интересуют в основном два вопроса: твердость — мягкость согласных в положении перед мягкими согласными (стр. 34—50) и произношение некоторых сочетаний согласных (стр. 50—52). Относительно первого вопроса Ж. В. Ганиев высказывается достаточно определенно: «Практически любое произнесение слова *списать* в этой среде будет со смяг-

<sup>1</sup> Здесь и ниже сохраняется терминология и транскрипция, употребляющиеся в сборнике.

чением [с'], несмотря на межморфемную границу» (стр. 37); «Не имеет заметного влияния на массовое произношение и стык между предлогом и именем» (стр. 38); «Несмотря на книжный характер и морфемную границу в сочетании *з* + [в'], процент твердых произнесений слова *возвел* ниже, чем у слов *свеча*, *разве...*, хотя последние — межстилевые слова и между зубным и губным границы (приставка/корень) нет» (стр. 38—39). Такие же формулировки см. на стр. 40—41, 42, 45. Все это свидетельствует о том, что влияние морфемного шва на фонетическую реализацию сочетаний согласных в живой речи едва ли так велико, как об этом говорится в первой статье.

Рассматривая произношение сочетания *с* + [ч'], Ж. В. Ганиев пишет следующее: «Сочетание [ш'ч'] встречается в произношении реже, чем [ш'ч'], даже в условиях выделенной межморфемной или межсловной границы» (стр. 50). Такой вывод не согласуется с высказыванием авторов первой статьи, утверждающих, что «на стыке... морфем действительно распространяется [ш'ч']» (стр. 25).

Добавим также, что помещенное в сборнике экспериментально-фонетическое исследование Р. Ф. Пауфошмы и Д. А. Агаронова «Об условиях ассимилятивного озвончения согласных на стыке фонетических слов в русском языке» с достаточной определенностью доказывает, что процесс ассимиляции по звонкости, например, зависит не от морфемного шва, а от наличия или отсутствия синтагматической границы. Фактов, не согласующихся с основной мыслью о подчиненности фонетических процессов грамматическим, можно найти достаточно в пределах сборника.

Рассмотрим теперь, как согласуется «грамматическая гипотеза» с более ранними работами, цитируемыми авторами программной статьи. В первую очередь здесь следует упомянуть книгу из серии «Русский язык и советское общество» — «Фонетика современного русского литературного языка. Народные говоры» (М., 1968). В разделе, посвященном описанию безударного вокализма, мы читаем следующее: «... 2. Фонетическая система русского вокализма совершенно „отказалась от услуг“ грамматики: реализация фонем <а> и <о> целиком определяется фонетическими причинами... 3. Уменьшилось количество позиций, в которых морфемная граница фонетически выражена»<sup>2</sup>. Эта характеристика дана для ситуации, сложившейся в середине XX в. — думается, что за несколько лет,

прошедших между выходом только что цитированной работы и обсуждаемой здесь статьи, вряд ли ситуация могла так сильно измениться.

Основной способ исследования звучащей речи в сборнике — слуховой. Как известно, человеческое ухо является одним из самых совершенных инструментов анализа; такие крупные отечественные фонетисты, как А. И. Томсон, Л. В. Щерба, В. А. Богородицкий проводили великодушные фонетические исследования именно при помощи слухового анализа. Поэтому ставить под вопрос правомерность такого метода было бы бессмысленно. Однако реальные возможности слухового анализа все же ограничены, особенно в тех случаях, когда его проводит лингвист, уже сформулировавший для себя определенную гипотезу. Требуется проверка слуховых наблюдений инструментальным и шире — экспериментальным путем.

Статья М. Я. Гловинской «Об одной фонологической подсистеме в современном русском литературном языке», посвященная изучению произношения двойных согласных и твердого согласного перед <э>, основана на слуховом анализе интересных автора явлений. Около 200 слов, в которых встречаются двойные согласные, были записаны на магнитную ленту в произношении большой группы информантов (около 120 человек). Для сравнения результатов, полученных при слуховом анализе, проведенном автором, с результатами прослушивания другими исследователями три слова в произношении двадцати информантов были предъявлены квалифицированным аудиторам. Такая проверка собственных наблюдений кажется автору достаточной, а объяснения того, почему не был проведен хотя бы выборочно инструментальный анализ, звучат неубедительно. По словам автора, длительность двойных согласных не исследовалась экспериментально потому, что «... еще не установлено, какое значение для оценки звука как долгого в русском языке имеют такие факторы, как реальная долгота согласного..., его интенсивность, долгота или краткость предшествующего и последующего гласного, закрытость слога» (стр. 60). Но ведь именно при исследованиях такого рода, какое проводит М. Я. Гловинская, определяя на слух долготу или краткость согласного, и имеет смысл анализировать соответствующие физические корреляты с тем, чтобы определить их значимость при восприятии. Во всяком случае, даже сравнение средних длительностей двойных и одиночных согласных в аналогичных фонетических положениях придало бы наблюдениям М. Я. Гловинской больший вес.

Непонятно объяснение того, почему не исследовались акустические характеристики твердых и мягких согласных. Неверно

<sup>2</sup> Стр. 55. Особенно удивляет то, что слова эти принадлежат одному из авторов программной статьи С. М. Кузьминой. Ср. также: С. М. Кузьмина, О фонетике заударных флексий, сб. «Развитие фонетики современного русского языка», М., 1966, стр. 24.

толкую данные, приведенные в специальной экспериментальной работе, М. Я. Гловинская полагает, что «глядя на спектрограмму согласного, невозможно однозначно определить, мягкий согласный перед нами или твердый» (стр. 61). Однако речь идет о сочетаниях согласного с гласным «э», а за последние 10 лет появилось большое число работ, в которых показаны акустические признаки мягкости согласного, реализующиеся на соседнем гласном. Подобная аргументация, не учитывающая возможностей инструментального анализа речи, не может свидетельствовать о том, что инструментальная проверка не помогает слуховому анализу. В частности, доказательством противоположного служит уже упоминавшаяся прекрасная экспериментально-фонетическая работа Р. Ф. Пауфшми и Д. А. Агаронова.

К вопросу о способах получения и оценки фонетических фактов непосредственное отношение имеют статьи М. В. Панова «О том, как составлялся вопросник по произношению», Г. А. Бариновой и М. В. Панова «О том, как кодировался фонетический вопросник» и Г. А. Бариновой, Н. Е. Ильиной и С. М. Кузьминой «О том, как проверялся вопросник по произношению». Принципиальная возможность и допустимость обследования произносительных привычек по вопроснику требует специального доказательства. Оно тем более необходимо, что использование этой методики получения фонетических данных производится в широких масштабах. Знакомство с тремя статьями, посвященными вопроснику, не убеждает читателя в том, что такая методика получения фонетических сведений оправдана. В статье М. В. Панова показаны основные недостатки этой методики: зависимость ответов от фонетического слуха испытуемых, от типа вопроса, от умения информанта анализировать грамматическую структуру слова, от орфографии и, наконец, от степени усталости информанта.

Предлагаемые способы избавиться от этих недостатков дают немного. Например, в 28 пункте вопросника из пяти предлагаемых информанту слов одно — последнее — служит для контроля его внимания/степени его усталости (дается возможный и невозможный вариант произношения этого слова). Непонятно, однако, как в этом случае расценивать ошибочный ответ: устал ли информант только к моменту предъявления данного слова, или уже в самом начале 28-го вопроса, или даже несколько раньше? Малоэффективными кажутся и приемы, призванные разрушить представление об орфографическом написании: ведь речь идет не о сиюминутном воздействии буквенной последовательности, а о влиянии усвоенных человеком правил написания слов.

Сравнение результатов, полученных при работе с «Вопросником», с теми сведениями, которые были получены при анализе фраз, записанных на магнитофон, проводимое в статье Г. А. Бариновой, Н. Б. Ильиной и С. М. Кузьминой «О том, как проверялся вопросник по произношению», показывает, что действительно ответы информантов при работе с «Вопросником» часто не отражают реального произношения. В ряде случаев расхождения между данными самооценки и произношением могут быть очень велики: ср. частоты мягкого согласного (в %) по записи и по «Вопроснику»: *без них* — 88,5—29,0; *вбежала* — 81,0—20,3 и т. д. В этой статье рассматривается вопрос о том, какие факторы (кроме перечисленных в статье М. В. Панова) влияют на точность оценки собственного произношения информантов; оказывается, что наиболее точная самооценка наблюдается только в тех случаях, когда исследуемый произносительный вариант достаточно распространен. Если же возможны колебания в произношении, то и самооценки информантов сильнее расходятся с их реальным произношением. Точность самооценки зависит также и от места данного звукосочетания в слове и, наконец, от типа звукосочетания: расхождения при оценке твердости или мягкости согласного могут не совпадать с расхождениями при проверке произношения гласных в безударном слоге и т. д. Авторы несколько раз говорят о том, что «использовать данные анкеты-вопросника при изучении рассмотренного произношения нужно с большой осторожностью» (стр. 337, см. стр. 342). И приведенные цифры, свидетельствующие о возможных больших расхождениях, и эти высказывания самих авторов приводят читателя к выводу, что все же лучше исследовать реальное произношение, чем ответы на «Вопросник»; окончательное мнение авторов этой статьи о том, что «в целом данные, собранные с помощью вопросников, в достаточной степени отражают реальное произношение» (стр. 342), не кажется поэтому убедительным.

Непонятно, почему расхождение между данными самооценки и реального произношения, составляющие 10—15%, считаются «несильными» (ср. 5% различий в произношении долгих и кратких согласных в речи молодежи и старшего поколения, которые М. Я. Гловинская считает существенными). Некорректно выглядят некоторые эмоциональные оценки фактов произношения, встречающиеся в статье Г. А. Бариновой и М. В. Панова «О том, как кодировался фонетический вопросник»: «... невозможно в литературной речи произношение [з + д']; оно за пределами нормы и, по всей вероятности, встречается (не на стыке морфем) у литературно говорящих лиц лишь как уродливое исключение» (стр. 308).

Вопрос о соотношении системы и подсистем — больше фонологический, чем фонетический, однако он имеет непосредственное отношение к оценке фонетического строя современного русского языка. Теоретически вопрос об определении подсистем наиболее подробно рассматривается в названной статье М. Я. Гловинской. Прежде всего необходимо решить вопрос о том, какая именно подсистема обсуждается: идет ли речь о подсистеме слов или о подсистеме фонем? В статье М. Я. Гловинской рассматриваются обе эти подсистемы. Говоря о подсистеме редких слов, автор считает общим признаком, их объединяющим, необычность их произношения с точки зрения обычных литературных норм. Здесь речь идет скорее о некотором открытом перечне слов, характеризующихся своеобразным произношением, чем об упорядоченной системе. Однако даже если признать, что есть не просто перечень, а система (подсистема) редких слов, значит ли это, что имеется и система редких фонем?

Рекомендации автора по выбору критериев для определения принадлежности слова к системе или подсистеме (см. стр. 58) не подкреплены конкретными операциями — автор ссылается на отсутствие литературных данных о частотах встречаемости слов и фонем (имеющиеся частотные словари, статистики звуков и сочетаний звуков и слогов, сведения о соотношении субъективных и объективных вероятностях слов в расчет не принимаются). Обратимся к тем операциям, которые позволяют выявить в подсистеме редкие фонемы. Этим фонем М. Я. Гловинская насчитывает 22: <ш'>, <ж'>, <ч'>, <к'>, <г'>, <х'>, <б'>, <п'>, <м'>, <ф'>, <ф'>, <д'>, <т'>, <т'>, <п'>, <н'>, <л'>, <л'>, <с'>, <с'>, <р'>, <к'> (стр. 62). Согласные <ш'>, <ж'>, <ч'> встречаются в единичных словах (*пшют, жюри, бухгалтер*), согласные <к'>, <г'>, <х'> некоторыми исследователями включаются в систему фонем языка. Таким образом, основной

корпус «фонем подсистемы» составляют долгие согласные в заимствованных словах. Являются ли они самостоятельными фонемами или сочетанием двух соответствующих кратких фонем? М. Я. Гловинская решает этот вопрос несколько неожиданно: так как в основной системе фонем долгие правильнее толковать как сочетания фонем, ибо они встречаются на стыке морфем, в подсистеме лучше считать их долгими, «поскольку в ней подавляющая часть долгих приходится не на стык морфем» (стр. 68—69). Но ведь возможно и обратное заключение: так как в системе долгие согласные представляют собой сочетания фонем, то логично перенести такую их трактовку и на подсистему редких слов. Практически вывод автора о том, что долгое произношение двойных написаний согласных чаще встречается в тех случаях, когда имеются согласные, «которые возможны как двойные на стыке морфем в основной системе» (стр. 71), противоречит основному мотиву, по которому М. Я. Гловинская считает долгие согласные подсистемы монофонемными в отличие от бифонемных в основной системе. Стремлением найти обязательные отличия подсистемы от системы, видимо, объясняется и неожиданное с фонетической точки зрения решение считать немаркированным членом в противопоставлении твердых и мягких согласных мягкий, а не твердый. Таким образом, выделение особой подсистемы фонем базируется на спорных положениях.

Рассмотренные вопросы принципиально важны для теории описания звучащей речи, для понимания сущности языковых единиц и отношений, которые определяют происходящие звуковые процессы и которые в свою очередь зависят от этих процессов. Поэтому нужно признать необходимым серьезное обсуждение всех этих вопросов в рамках разнотипных направлений, существующих в отечественной фонетике.

Л. В. Бондарко

*Е. Э. Биржакова, Л. А. Войнова, Л. Л. Кутина. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования. — Л., изд-во «Наука», 1972. 431 стр.*

Рецензируемая книга, созданная в группе Словаря русского языка XVIII в., составляемого ЛО Института языкознания АН СССР, посвящена одной из актуальных для русского языка XVIII в. проблем. По богатству привлекаемого материала это пока первое и единственное исследование: всего здесь охвачено более

11 000 слов, извлеченных более чем из 500 источников разных жанров.

Книга состоит из краткого Предисловия (стр. 3—4), Введения (характеризующего проблему в целом, ее роль для изучения русского языка XVIII в. и состояние ее изучения, стр. 5—22), четырех основных глав и Приложения, содержащего «Хро-

ноголо-этимологический словарь иноязычных заимствований» (стр. 334—408; он же служит словоуказателем к книге), списки источников фактического материала и указатель сокращений (стр. 409—429).

Первая глава (стр. 23—89) посвящена характеристике внешних условий заимствования иностранных слов русским языком в XVIII в. и источников изучения этого процесса; вторая (стр. 83—177) — статусу иноязычной лексики в речевом обиходе XVIII в. Статус этот представлен, прежде всего «Словарем вхождений» (стр. 101—170), содержащим сведения о времени появления заимствований (и их иноязычных этимонах), фиксации их в словарях XVIII в., об их вариантах и ударении, о сферах их распространения и др. В третьей (стр. 178—240) и четвертой (стр. 241—333) главах освещаются процессы адаптации заимствований XVIII в. в русской лексической системе.

Структура книги отвечает избранному жанру научных очерков: описание характеризуется известной выборочностью, что не противоречит его многоаспектности (см. перечень избираемых аспектов на стр. 98—100): в поле зрения оказываются не все заимствования и иностранные контакты этой поры, а только западноевропейские (включая заимствования из славянских языков и классических языков европейской учености); внимание сосредоточивается на собственно лексических заимствованиях, особенно на протяжении первых 2—3 десятилетий их вхождения на русскую почву. В этой связи безынтересны предложенные принципы отбора источников при изучении заимствований. Слагается с жанром очерков и разнообразие представленных в книге форм лингвистического наблюдения: здесь и собственно лексикологическое исследование, и обильные лексикографические материалы, и ценнейшие статистические выкладки.

Книга содержит богатые сведения по теории и истории заимствований в русском языке. Материал книги служит дополнительному подтверждению (иногда опровержению) уже существующих мнений, а в целом — развитию теории заимствованного слова. Так, здесь можно найти не одно убедительное свидетельство в пользу тезиса о сильной вариантности и семантической диффузности иностранного слова в начальный период его проникновения на заимствующую почву. Представляют интерес положения об исторической изменчивости наиболее активных в отношении заимствований функциональных сфер и литературных жанров (стр. 62, 296), о детерминации в первую очередь основных и общенаучных терминов (стр. 278), о непрямолинейном характере адаптации иноязычного материала (стр. 221), ее многослойности

и национальной специфичности (стр. 184, 221). Некоторые определения и положения потребуют в дальнейшем самого пристального внимания, например, определение функциональной сферы как понятийного поля, с которым «соотнесено в языке известное число лексико-семантических групп (обычно смежных, соприкасающихся, перекрещивающихся)» и внутри которого «существуют свои связи, свои членения, свои тенденции роста на каждом историческом этапе» (стр. 85). То же следует сказать о распространении понятий «супермаркированная и маркированная единица», а также «слабый вариант» на распределение вариантных возможностей заимствованного слова (стр. 179).

Постоянно ощущаемое стремление проецировать наблюдаемые конкретные явления на фон общей теории (будь то проблема системности лексических изменений или вопрос о соотношении языка и речи) ставит рецензируемое исследование в ряд теоретико-описательных.

Основной упор сделан на этимологию, хронологизацию и адаптацию заимствований в начальный период их истории в заимствующем языке. Благодаря обилию рассмотренных конкретных фактов XVIII в., картина получается полной и достоверной. Подробно рассмотрены адаптация заимствований, широкая вариативность их на первом этапе, активно действующая идея сопоставительного словаря, что специфично для процесса заимствования в русском языке XVIII в. (стр. 290—291).

Объект книги не замыкается в рамках литературного языка (стр. 21). В то же время связь изучаемых явлений с развитием литературной нормы в книге отчетлива. К вопросу о норме авторы обращаются всякий раз, когда речь идет о наиболее значительных языковых сдвигах: ср. сведения о состоянии общей нормы литературного языка в петровскую эпоху — время наибольшего притока в русский язык иностранных слов (стр. 48), о характере частных, орфографической и орфоэпической, норм при исследовании фонетической и морфологической адаптации слов (стр. 183), о наиболее типичном способе разрешения в XVIII в. языковых коллизий — языковой смене (стр. 295) и причинах, этот способ обусловивших. Другое дело, что упомянутое стремление не является в этом труде определяющим: норма постоянно имеется в виду, но специально в связи с заимствованием не изучается.

К числу бесспорных достоинств исследования относится также включение конкретных языковых процессов в широкую рамку культурно-исторических сведений, хотя желательнее было бы видеть здесь более органичное слияние материала. Работа содержит немало интересных и свежих сведений о внешней политике

Русского государства в XVIII в., его торговых и культурных международных связях, о состоянии в это время русского образования, науки, искусств, изучения в России иностранных языков, о русской журналистике, лексикографии, о филологических спорах вокруг заимствований, о сложности и многообразии явлений, условно объединяемых для этого времени понятием «пуризм» (стр. 73—74).

Как и всякое большое исследование, книга не лишена некоторых неясностей и недостатков. К их числу относится, прежде всего, слабая связь между некоторыми общими посылками и конкретными описаниями: только намечены и не развиты здесь тезисы о лексических утратах (стр. 295), о взаимообогащении в XVIII в. русского и иностранных языков (стр. 47), о развитии значений у иноязычного слова на русской почве (стр. 266). Слишком бегло рассмотрены такие, по-разному оцениваемые различными исследователями, моменты, как польское (стр. 52) и французское (стр. 157) влияние на русский язык в петровскую эпоху.

В отличие от третьей главы, посвященной конкретной характеристике процесса фонетической и морфологической адаптации заимствований в русском языке XVIII в., четвертая, посвященная их семантической адаптации, оказывается скорее изложением теории адаптации с иллюстрациями, нежели характеристикой живого языкового процесса XVIII в. Возможно, это объясняется противоречием, в которое вступает стремление авторов характеризовать семантическое освоение слова языком и объективные свойства этого слова на начальном этапе в речи. Противоречивы по существу и два отраженные в книге подхода к русскому языку XVIII в.: с одной стороны, как к целому (стр. 289), с другой — как к прерывной линии (см. периодизацию на стр. 6 и 86: петровская эпоха и 30-е годы; 40—60-е годы; 70—90-е годы).

Далеко не всегда выдерживаются заданные принципы описания. В ряде случаев исследование отличается высокой степенью научного синтеза (см., например, о переходе слова из одного лексико-семантического ряда в другой на стр. 263), где внимание авторов сосредотачивается на пучках и рядах явлений и их связях, иногда же оно оказывается излишне атомарным, когда вместо класса явлений изучается отдельный факт (стр. 93—96, 281—284 и др.). Последнее, впрочем, неизбежно бывает при словарном подходе, также отраженном в этих очерках.

Укажем еще на нечеткость в некоторых случаях терминологии: нет определения терминов «дублет» и «вариант» (стр. 222); термин «чередование» применяется для обозначения «пустых» вариантов, не имеющих звуковой реальности в звуковой си-

стеме русского языка в прошлом (стр. 89, 184, 194).

В одних случаях следовало бы пожелать большей четкости определений, в других — смягчения их категоричности. Недостаточно сформулированы в книге внутренние основания для градации литературных и нелитературных памятников (стр. 61—62). Слабо согласуется с общим тезисом об упрощенности структуры иноязычного слова в момент его заимствования (стр. 256) указание на «неопределенно-широкое употребление» его на первом этапе (стр. 257). Излишне безоговорочно звучит заявление, что «иноязычное слово с точки зрения своей словообразовательной структуры нечленимо» (стр. 223) или что «... Ломоносов выступает против использования иноязычных слов в современном ему языке...» (стр. 75). Вывод о том, что языком-источником является язык, на почве которого сложилось заимствуемое значение, не может быть универсальным уже потому, что известны случаи (стр. 93) заимствования слов с изменением значения.

Досадным упущением является отсутствие в книге списка языковедческих источников, а иногда и прямых ссылок на таковые — особенно там, где имеет место резкая полемика (как, например, на стр. 170 — с мнением о том, что «... вторая треть века... практически может не учитываться при изучении заимствований XVIII в...»). Недостаточно внимания уделено в культурно-исторической части исследования русским деятелям отечественного прогресса, прежде всего — М. В. Ломоносову, а также вопросу о подготовленности петровских реформ предшествующим развитием России.

Отметим недочеты и в лексикографической части книги. Принципы отбора слов в Словник и Словарь авторами не определены, и остается неясным, почему, одни слова из свежих заимствований, имеющих, по нашим сведениям, в Ленинградской картотеке «Словаря русского языка XVIII в.», включаются в списки, а другие — нет, о чем остается только пожалеть. Словник по своему составу полностью перекрывает Словарь, а целесообразность идеографической классификации во втором сводится к нулю там, где обширная по существу рубрика иллюстрируется всего лишь несколькими примерами, из которых только один — не окказиональный (стр. 133—135 — «Внешнеполитические отношения, союзы, договоры, гарантии, привилегии»). Не вполне логичным представляется, что сведения по этимологизированию слов XVIII в. современниками помещены не в «Хронологическо-этимологический словарь», а в «Словарь вхождений». Дериваты от иностранных слов, к сожалению, фиксируются только в статьях на те слова, от которых они произведены; не лучше ли было бы дать им место с соответствующей

пометой, с отсылкой к производящему слову и в заглавной части словаря? Слова, фиксируемые только Словарем Н. Яновского, вопреки намерению авторов не включать их в словник (стр. 84), спорадически попадают в него (*металлургия* и *космолог* на стр. 145, 157). Единство сетки описания в словнике не выдержано: набор сведений об одном слове нередко оказывается намного шире, чем о другом, для некоторых же слов хронологизация совсем отсутствует. Неудобен для читателя вынос условных обозначений в лексикологическую часть: за их расшифровкой приходится обращаться к разным страницам (стр. 94, 95, 97, 101), равно как и отсутствие алфавитного расположения для списков слов в IV главе (например, стр. 290—291). Имеются в книге и повторения (ср. стр. 85, 255 и др.). Недочетов, однако, не так уж много.

Отмеченные недостатки никак не умаляют несомненных достоинств рецензируемого исследования. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в будущем ни одна работа об истории заимствований в русском языке — будь то новое исследование, учебник или популярная брошюра — не сможет быть создана без обращения к этому капитальному труду. Если сформулировать главное, что дает он будущему исследователю, то это точка отсчета для прослеживания исторических

судеб основной массы новых западноевропейских слов в русском языке, которая представлена здесь столь определенно и полно.

В заключение несколько слов о плодотворности историко-лексикологических исследований, осуществляемых силами словарных коллективов Академии наук СССР. Служившие некогда исключительно только прямому своему назначению — созданию словарей и грамматик, академические картотеки ныне превращаются в базу лингвистического исследования в масштабах всей страны. Не случайно в выходящих трудах и в диссертациях все чаще можно встретить сокращения: ДРС, СДР, Карт. XVIII в. Роль этих картотек повышается благодаря постоянному их пополнению, растущему объему. А поскольку выходящие в свет словари не могут учесть их богатств в полном объеме, картотеки приобретают самодовлеющее значение для изучения русского языка.

Создаваемые на базе таких картотек исследования, помимо самостоятельного научного значения, получают тем самым и дополнительное — надежных и подробных путеводителей по академическим картотекам. И в этом смысле значение вышедшей книги также бесспорно.

И. А. Василевская

**Йиржи Иирачек.** *Интернациональные суффиксы существительных в современном русском языке* (структурно-сопоставительное исследование). — Universita J. E. Purkyně, Brno, 1971. 281 стр.

Во «Введении» рецензируемого труда автор справедливо отмечает, что проблемой существительных с интернациональными суффиксами, функционирующих в русском языке, в полном объеме никто еще не занимался (стр. 7).

В работе исследуются все русифицированные интернациональные суффиксы существительных (стр. 8), т. е. те, которые проявили в той или иной степени словообразовательную активность на русской почве, давши образования от русских основ. Это следующие морфемы: *-изатор* (*эровизатор*), *-(у)фикатор* (*русификатор*), *-ёр* (*шумёр*), *-ист* (*связист*), *-изм* (*хвостизм*), *-ит* (*солонит*), *-аж* (*листаж*), *-изация*, *e(u)фикация*, *-анция*, *-енция* (орфографически слова на *-изация*, *-(у)фикация*, *-анция*, *-енция*, ср. *советизация*, *русификация*, *распеканция*, *штукенция*) (стр. 8). Исключаются из описания слова с формантами *-ик* (*подагрик*), *-ант* (*музыкант*), *-ент* (*ассистент*), поскольку они не встречаются в сочетании с русскими основами и, следовательно, к ним не приложимо понятие словообразую-

щих морфем на почве русского языка. Этим определяется позиция автора относительно объекта исследования — изучаются только существительные с интернациональными суффиксами, обладающими словообразовательной самостоятельностью в русском языке.

Определив таким образом объект исследования, Й. Иирачек анализирует и описывает указанные существительные в разных аспектах, не исключая из сферы внимания теоретические проблемы словообразования и общие вопросы заимствования.

Перечень разделов книги достаточно полно раскрывает содержательную направленность исследования. В «Общей части» (стр. 15—30) автор раскрывает методические предпосылки работы и определяет понятия «интернациональные слова», «интернациональный суффикс», различая при этом понятия «заимствованный суффикс», «иноязычный суффикс» и положив в основу определений свое понимание суффикса и мотивационных отношений. В этом же разделе книги освеще-

щается этимология изучаемых формантов и дается типологическая характеристика индоевропейских (славянских и неславянских) и неиндоевропейских языков относительно распространённости существительных с интернациональными суффиксами.

«Специальная часть» (стр. 35—118) составляет ядро монографии. В ней представлено разноаспектное исследование и описание существительных с интернациональными суффиксами в современном русском языке в следующих разделах: «Способы обогащения словарного состава исследуемыми словами» (стр. 35—41), «Словообразовательный анализ существительных с интернациональными суффиксами в современном русском языке» (стр. 41—50), «Существительные с интернациональными суффиксами — словообразовательная база в современном русском языке» (стр. 51—66), «Акцентуация» (стр. 67—72), «Структурно-семантическая классификация» (стр. 73—111).

Среди способов пополнения словарного состава словами с интернациональными формантами — наряду с заимствованиями, калькированием и так называемым семантическим образованием — рассматриваются способы собственно словообразования от иноязычных и от русских основ, а также сложносуффиксальный способ словообразования. В качестве примеров образования на русской почве от иноязычных основ указываются такие слова, как *акмеизм*, *акмеист*, *планеризм*, *активист*, *аквапланист*, *бульдозерист*, *грейдерист*, *деррикист*, *волейболист*, *спиннингист* и др. (стр. 37); отмечается довольно раннее появление образований с интернациональными суффиксами от русских основ, число которых с течением времени увеличивается — *отзовист*, *уклонизм* и *уклонист*, *хвостизм* и *хвостист*, *большевизм*, *меньшевизм*, *значист*, *службист* и др. К образованиям сложносуффиксальным способом отнесены единичные композиты — *белобандит* (*белая банда*), *малоформист* (*малая форма*), *третьинтернационалист* (*Третий интернационал*).

Раздел, посвященный словообразовательному анализу изучаемых существительных, автор начинает с замечаний общего характера, раскрывающих его понимание словообразовательного анализа, основанное на противопоставлении его анализу морфологическому. В основу словообразовательного анализа, по мнению автора, следует положить принцип бинарности: «анализ словообразовательный выделяет в слове лишь два члена (невзирая на количество морфем), которые связаны определенными структурно-семантическими отношениями, а именно словообразовательную основу и словообразовательный формант» (стр. 41). Деривационная модель, пишет далее автор, по своей сущности бинарна. Возможность

бинарных сопоставлений опирается на представление о «непосредственной мотивировке». Так, слова *четвертьфиналист*, *учительство* непосредственно опираются на *четвертьфинал*, *учитель*, хотя формально и семантически связаны со словами *финал* и *учить*. Фактический материал в разделе анализируется с точки зрения лексико-грамматического характера и морфонологического строения основ, с одной стороны, и морфонологических явлений, возникающих на морфемных швах, — с другой. Автором используются понятия интерфиксов и «связанной основы».

Большой и детально разобранный материал содержит следующий раздел монографии, посвященный рассмотрению существительных с интернациональными суффиксами в качестве словообразовательной базы в современном русском языке. Автором устанавливается, что от существительных с интернациональными суффиксами «вторичные наименования» образуются посредством суффиксации, например, существительные *рафинёр* — *рафинёрщик*, *бандит* — *бандитство*, прилагательные *акклиматизация* — *акклиматизационный*, *кварцит* — *кварцитовый*; ресуффиксации: *абсолютизм*, *абсолютист* — *абсолютистский*, *идеализм*, *идеалист* — *идеалистский*; префиксации и квазипрефиксации: *антифашизм*, *иррационализм*, *неореализм*; словосложения: *самоmassage*, *светосигнализация*, а также сложносуффиксальным путем: *частный капитал* — *частнокапиталистический* и путем сокращения (так называемые сложносокращенные слова): *армвоенюрист*, *госарбитраж*. Особое внимание уделяет автор взаимодействию близких по значению суффиксов *-истическ-*, *-истск-* и *-истичн-*, наблюдая и описывая их формальное и семантическое размежевание (*иллюзионистическая философия* — *иллюзионистская группа*, *комический сюжет* — *комичный вид*), указываются также случаи параллельного образования (*натуралистический* — *натуралистичный* — *натуралистский*).

Ударение у существительных с интернациональными суффиксами подробно описано в разделе «Акцентуация». Проведены достаточно обширные сравнения лексикографических источников, отразивших колебания в ударении у некоторых типов изучаемых существительных, например, у существительных на *-аж*, для которых указано на тенденцию к постепенному переходу от постоянного ударения на основе к ударению конечному.

Классификационным критерием структурно-семантической классификации существительных с интернациональными суффиксами автор считает характер ономастологической структуры, выделяя в области производных существительных ряд ономастологических категорий — мутационного типа (имена носителя актив-

ного воздействия на предмет), трансформационного (имена действия) и модификационного (имена собирательные). Основной единицей описания являются словообразовательные категории, более детальные классификационные рубрики строятся на основе общности словообразовательного форманта. В соответствии с принятыми классификационными признаками автор выделяет и описывает группы имен со значением производителя действия, носителя активного воздействия на предмет, орудия действия, результата действия, носителя отношения к субстанции, а также имена действия и имена качества. Описание выделенных групп производится в рамках единого, достаточно последовательно выдержанного плана. Внутри групп существительные подразделяются по общности словообразовательного форманта с указанием мотивационных связей с разными по семантическим и лексико-грамматическим характеристикам словами (глаголами, существительными собственными и нарицательными, прилагательными). Большое внимание уделяется тонкой семантической детализации производных имен.

В связи с методом описания существительных по структурно-семантическим признакам уместно сказать еще об одном аспекте в исследовании. Вся монография построена на очень широких, впервые выполненных сопоставлениях русского и чешского материала. Эти сопоставления в виде цифровых и процентных сравнений, таблиц и схем находим почти на каждой странице книги. При структурно-семантической классификации существительных с интернациональными суффиксами такие сопоставления дают материал для общих и содержательных выводов о сходстве и различиях в словообразовательных системах русского и чешского языков, но, к сожалению, эти выводы автор делает не всегда. По-видимому, в дальнейшей работе углубление этой стороны проблемы могло бы принести выразительные результаты.

Проблема продуктивности, понимание которой в общем не выходит за рамки общепринятых представлений, решается автором на большом материале сравнений главным образом лексикографических данных раннего (30—40-е годы нашего века) и более позднего (70-е годы) времени. Наблюдения над увеличением неологизмов (и здесь в сопоставлении с чешским материалом) ведутся дифференцированно в семантическом отношении.

Книгу завершают «Заключение», «Изыбранная библиография», перечисление использованных словарей и список источников, резюме на чешском и английском языках, предметный указатель, указатель слов и список сокращений. Из одного перечисления видно, что справочный аппарат содержит необходимую информацию, облегчающую пользование книгой.

Особенно полезны предметный указатель и указатель слов, тщательная разработка которых может послужить образцом для подобных изданий.

Своеобразие слов с интернациональными суффиксами, будь то имена или глаголы, состоит в том, что несмотря на их морфологическую членимость, на принципиальную возможность соединения вычленяемых формантов с русскими основами, в словообразовательном отношении они не тождественны производным с исконными морфемами.

Как известно, единство словообразовательной модели в русском языке строится на тождестве лексико-грамматических характеристик производящих единиц. Производящие единицы одной и той же модели принадлежат к одной и той же части речи и характеризуются одними и теми же внутрикатегориальными свойствами (вид и залог при отглагольном словообразовании, одушевленность/неодушевленность, качественность/относительность при отыменном и т. д.). Эти признаки словообразовательной модели относятся к системным, так как определяют закономерности ее функционирования. Как следствие этого явления — или как его оборотная сторона — исконные словообразовательные морфемы обладают свойством избирательности относительно категориальных характеристик производящих единиц. Как бы ни были широки связи той или иной словообразующей морфемы, эти связи всегда могут быть определены в своих границах относительно категориальных характеристик производящих. Если по этим двум признакам (полнота категориальных характеристик производящих и избирательность словообразующих морфем относительно этих характеристик) сопоставим морфологические структуры с интернациональными формантами с явлениями исконного словообразования, то различия их станут очевидными.

Наблюдения над материалом показывают, что сочетаемость интернациональных формантов с иноязычными основами не может быть описана в каких-либо ограничениях, налагаемых категориальными характеристиками последних. В принципе для русского языкового сознания безразличны, например, такие факты, что формант *-ист* оказывается присоединенным к сложной основе в слове *футболист* (англ. *football*), к простой — в слове *италист* (нем. *Stärke*), к основе прилагательного в слове *футурист* (лат. *futurum*), к основе местоимения — в слове *эгоист* (лат. *ego*) и т. д. И это понятно: категориальная принадлежность иноязычной основы не может осознаваться на почве русского языка, она устанавливается путем специальных изысканий, не имеющих отношения к непосредственному употреблению и пониманию слова. Принципиальная возможность не осознавать

«категориальную принадлежность «основ» равна по сути дела их категориальной невыраженности на русской почве. Естественно поэтому, что интернациональные форманты лишены свойств избирательности относительно категориальных характеристик производящих. Этот признак сохраняется за ними и в тех случаях, когда они сочетаются с русскими основами, которые при этом не группируются по категориальным свойствам (ср. *связист, значкист, ручник, отзовист* и под.).

В рецензируемой монографии существительные с интернациональными суффиксами изучаются в плане сходства с

исконным словообразованием. Изучение их в аспекте различий не получило развития. Но, по-видимому, в интересах всестороннего решения проблемы и этот аспект подлежит рассмотрению. Он мог бы способствовать расширению сложившихся представлений о словообразовании и обогащению теории в этой области языкознания.

Большой и тщательно описанный материал монографии И. Йирачека «Интернациональные суффиксы существительных в современном русском языке» принесет несомненную пользу в дальнейшей разработке проблемы.

*В. Н. Хохлачева*

*А. В. Бондарко. Грамматическая категория и контекст. — Л., изд-во «Наука», 1971. 115 стр.*

Проблема грамматической категории — одна из центральных проблем теоретической грамматики. Поэтому понятен тот интерес, который вызвала в кругах языковедов книга А. В. Бондарко, вышедшая в серии «Вопросы теории языкознания», издаваемой Научным Советом по теории советского языкознания при Отделении литературы и языка АН СССР. В последние годы внимание лингвистов вновь обращается к вопросам семантики не только в области лексики, но и в грамматике. Исходным принципом рецензируемой книги является принцип «от значения к форме».

Рецензируемая книга содержит, кроме предисловия и краткого заключения, две главы: «Функционально-семантические категории» (стр. 5—75) и «Общие и частные значения грамматических форм» (стр. 76—113). Тем самым проводится принцип «от общего к частному»: книга начинается с постановки более общих вопросов, выходящих за пределы грамматики, на что указывается и в заключении (стр. 113).

В первой главе излагается теория функционально-семантического поля, которая в целом представляется убедительной, так как открывает перед лингвистами различные пути всестороннего описания языка и показа его как ряда взаимосвязанных субсистем. Можно полностью согласиться с автором, что поля могут быть исследованы не только при синхронном подходе, но и в плане диахронии. Очень полезной может оказаться теория полей при сопоставительном изучении языков, которое в конечном итоге должно привести к системе универсалий.

Основные принципы теории функционально-семантических полей сводятся к следующему. Функционально-семантическое поле не относится к какому-либо

одному уровню языка: в его построении участвуют средства разных уровней, обладающие общими инвариантными семантическими признаками. Несомненный интерес представляет мысль о соотносительности значений, выражаемых грамматическими и лексическими средствами, а также положение о правомерности выделения полей только при наличии разнородных средств. Само поле, по мнению автора, отличается сложной структурой: в поле выделяется ядро — центр, вокруг которого располагается периферия. В качестве ядра выступает обычно морфологическая категория, свойства которой определяют эту роль. В морфологической категории, представляющей собой организованную структуру и характеризующейся свойством обязательности, инвариантное содержание поля находит наиболее «специализированное» выражение. Компонентами морфологической категории являются ряды грамматических форм — граммы; морфологическая категория и граммма находятся в иерархических отношениях. Новой представляется идея фона и спецификаторов (стр. 68—72). Фон — это тот элемент микрополя, который обуславливает его семантическую основу. Он может быть общим для нескольких микрополей. Спецификатор отличает данное микрополе от других микрополей с той же семантической основой. Различие этих понятий позволяет полнее описать строение некоторых полей, в частности поля темпоральности.

Внимание читателя безусловно привлечет раздел об использовании морфологических категорий в несобственных функциях (стр. 62 и сл.). Широко представленное в русском языке, как, впрочем, во многих других, явление транспозиции форм истолковано интересно и

верно. А. В. Бондарко доказывает, что несобственная функция формы находится в прямой зависимости от ее основного прямого назначения, а потому «при взаимном перекрепчивании морфологических категорий в плане содержания в виде „несобственных функций“ не происходит дублирования языковых средств, т. е. несобственные для данной категории функции не повторяют, а дополняют и обогащают тот репертуар „собственных“ средств, которыми располагает другая морфологическая категория» (стр. 64). Автор показывает, как при употреблении форм повелительного наклонения различия между совершенным и несовершенным видом могут быть использованы для передачи дополнительных модально-экспрессивных оттенков. Эту в целом верную характеристику можно было бы расширить, отметив связь с полем отрицания. При употребительном: *не показывайте чемоданов!* и невозможном: *\*не покажите чемоданов!* в определенном контексте используется экспрессивно окрашенное: *Смотрите только не покажите чемоданов!*, высказывание, которое оказывается двузначным, обозначающим, смотря по ситуации, предупреждение или угрозу.

В первой главе описываются также отдельные поля. Поля даются несколько схематично, иногда они только намечены; этот упрек относится в первую очередь к полям модальности и залоговости. Книга много выиграла бы, если бы в ней была полностью дана структура хотя бы одного поля. Без этого у читателя возникают вопросы относительно методики построения поля, а также принципов выделения микрополей. Следовало бы больше показать взаимодействие средств поля, которые дают основания для его выделения.

Много неясностей связано с понятием локализованности — нелокализованности. Неясен статус этого явления. Локализованность — нелокализованность трактуется автором как особая функционально-семантическая категория, т. е. поле (стр. 56—60), и вместе с тем — как дифференциальный признак категории вида (стр. 102). Возникающее при этой трактовке противоречие автор должен был бы разъяснить, указав на специфически подчиненный характер этой функционально-семантической категории.

Теоретически интересна и вторая глава, в которой рассматриваются такие принципиальные вопросы, как общее и частное значение грамматической формы, дифференциальные семантические признаки, разделенные на постоянные и переменные. Можно полностью согласиться с утверждением А. В. Бондарко о том, что «идея дифференцирующей роли устанавливаемых семантических признаков в системе форм и идея инвариантного отношения формы к данному признаку принципиально отличают рассматриваемую

концепцию семантического содержания формы от механического перечня отдельных значений» (стр. 81). Это полностью применимо и к анализу грамматических категорий на материале других языков.

На наш взгляд, удачным является предложенное автором применение оппозиций Н. С. Трубецкого к грамматическим формам русского глагола. Убедительны противопоставления по принципу эквиполентной оппозиции настоящего, прошедшего и будущего времени и по принципу привативной оппозиции прошедшего совершенного (с точки зрения признака временной локализованности действия) прошедшему несовершенному как маркированного члена оппозиции немаркированному. Прямой аналогии между градуальной оппозицией и соотношениями грамматических форм автор не проводит, что представляется правильным.

Все же при чтении и этой главы<sup>7</sup> не возникает полной ясности по поводу ряда вопросов, в частности не уточняется соотношение общего значения и доминанты. Много вопросов вызывает методика выделения дифференциальных семантических признаков.

Остановимся на некоторых критических замечаниях общего характера. Название книги не полностью отражает ее содержание. В названии отсутствует даже упоминание о том, что в книге исследуются функционально-семантические категории, или функционально-семантические поля. Вместе с тем включение в название книги понятия контекста обязывает автора обратиться к теории контекста. Хотя по ходу изложения теории и практического анализа автор неоднократно обращается к контексту и показывает на конкретном материале его роль в формировании грамматических значений и их модификаций, теория контекста присутствует лишь имплицитно и в самом неопределенном виде. Так, контекст, в котором проявляется функционально-семантическая категория локализованности — нелокализованности, характеризуется автором как «контраст конкретной и абстрактной ситуации» (стр. 58). Эта слишком общая характеристика поясняется указанием на разные наречия, употребляющиеся в том или другом случае: *сейчас — всегда*. Очевидно, что на основе такого критерия нельзя разграничить разные виды контекста, ср.: *сейчас идет дождь, сейчас носят брючные костюмы*.

В книге рассматривается важная проблема транспозиции грамматических форм причем правильно замечается, что при транспозиции грамматическое значение формы не исчезает, а вступает в противоречие со значением контекста (стр. 94). Однако вряд ли можно согласиться с утверждением автора о том, что грамматическое значение формы в условиях

транспозиции оказывается образным, метафорическим. На наш взгляд, следует различать узуальную систему транспозиции грамматических форм, не создающую стилистического эффекта и не способствующую образному восприятию, и окказиональную, даже одноразовую транспозицию, применяемую в художественном произведении как стилистический прием. Только в последнем случае, пожалуй, можно говорить о метафоре в грамматике. Вообще идея переноса в область грамматики понятия метафоры, лингвистическое содержание которого и на лексическом уровне недостаточно определено, спорна, хотя и интересна.

Автор знаком со всеми основными работами по проблемам поля и грамматических категорий, хотя ограниченный объем книги не позволил ему не только подробно осветить историю вопроса, но даже упомянуть все работы, связанные с данной проблематикой; это, однако, и не входило в его задачу. Все же нельзя не упрекнуть автора в двойственном отношении к понятийным категориям И. И. Мещанинова. С одной стороны, автор стремится убедить читателя, что понятийные категории — это категории языковые (стр. 5—7), и подтверждает эту мысль цитатами из известной книги

И. И. Мещанинова «Члены предложения и части речи» и других работ. В то же самое время А. В. Бондарко решительно отказывается от термина «понятийная категория», «поскольку он дает основания думать, что имеются в виду логические понятия, а не категории языка» (стр. 8).

Сделанные замечания в большинстве носят дискуссионный характер, что свидетельствует о сложности рассматриваемых вопросов, таких же сложных и порою противоречивых, каким является сам язык. Рецензируемая книга заставляет читателя размышлять над существенно затрагиваемых вопросов.

В заключение хочется высоко оценить иллюстративный материал из классической и современной художественной литературы. Чувствуется любовное отношение автора к языку. Это выгодно отличает книгу А. В. Бондарко от чисто теоретических работ, носящих умозрительный характер.

Книга А. В. Бондарко свидетельствует о плодотворности теории полей, а также принципа «от содержания к форме» как одного из возможных при анализе языковых явлений.

*В. А. Белошапкова, Е. В. Гулыга*

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ ВИДА  
В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

В рецензии Н. А. Козинцевой (ВЯ, 1972, 2) кратко и умело реферировался труд Г. Б. Джаукяна о структуре армянского языка<sup>1</sup>. К сожалению, здесь не всегда точно очерчены заслуги автора рецензируемой книги. Например, рецензент пишет: «Категории типа и вида (в том виде, как они сформулированы в рецензируемой книге) впервые описаны Г. Б. Джаукяном... Г. Б. Джаукян разграничивает три класса основ, имеющих различные показатели для формы прошедшего совершенного» (стр. 138). Далее в рецензии разъясняется, что, по мнению Джаукяна, этими основами соответственно передаются понятия совершенности, несовершенности и нейтральности (там же). И еще: «Категория вида выделяется автором на основе различий грамматических средств оформления прошедшего совершенного» (там же). Из сказанного не видно, что же именно нового внес автор в понимание категории вида, поскольку ничего не говорится о том, как категорию вида в армянском языке понимали до Г. Б. Джаукяна.

Понятие вида в армянскую грамматическую литературу впервые введено М. Абегианом, который, однако, совершенно иначе понимал вид новоармянского глагола. М. Абегиан усматривал три грамматических вида: совершающийся (қаґагвоу), совершенный (қаґагјал) долженствующий совершиться (қаґагелі) и признавал наличие глагольных форм, которые не выражают вида, — это безвидовые («безаспектные») аңкерр) формы или же формы простого вида (parz керр). Вид могут выражать только аналитические формы глагола, в которых для передачи видовых значений участвует причастие (deгbaj); органические формы глагола являются безаспектными<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Г. Б. Джаукян, Развитие и структура армянского языка. Ереван, 1969 (на арм. яз.).

<sup>2</sup> М. Абегиан, Синтаксис новоармянского языка, Вагаршапат, 1912 (на арм. яз.), стр. 225 и сл.; е го же, Теория армянского языка, Ереван, 1931, стр. 308—405.

В 1958 г. С. Зарбаджи, пересматривая точку зрения М. Абегиана, отметила, что «способность выражения вида он приписывал только причастию, входящему в состав личной формы глагола, а не аналитической временной форме глагола в целом, искусственно разъединяя понятия вида и времени внутри одной временной формы»<sup>3</sup>. Здесь же справедливо указано, что «видовое значение не имеет своего формального показателя...» и в то же время «...каждая временная форма, в том числе и „простая“<sup>4</sup>, наделена определенным видовым содержанием и без него немыслима»<sup>4</sup>. С. Зарбаджи не сумела все же до конца преодолеть традицию и дифференцировать категории вида и времени; кроме того, ею рассматривались не все формы глагола, а только формы изъявительного наклонения.

В 1960 г. автор этих строк подверг критике господствовавшее до того времени мнение о категории вида и выдвинул положение, согласно которому «...в армянском имеются совершенный и несовершенный аспекты, а также налицо скривы (ряды<sup>5</sup>) глаголов, не различающих аспекта»<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> С. З а р б а д ж и, К вопросу о грамматической категории вида в современном армянском языке, «Изв. [АН АрмССР], Общественные науки, 1958, 7, стр. 81.

<sup>4</sup> Там же, стр. 80, 82. Более подробно об этом традиционном понимании вида в армянской специальной литературе см.: О. Х. Б а р с е г я н, Теория спряжения глагола современного армянского языка, Ереван, 1953 (на арм. яз.), стр. 148—158, особенно стр. 152.

<sup>5</sup> Иначе говоря: личные формы глагола.

<sup>6</sup> И. И. Ш и л а к а д з е, Ряды (скривы) глагола в новоармянском языке, «Труды Тбилисс. гос. ун-та», 91, Серия востоковедения, II, 1960 (на груз. яз., с русским резюме), стр. 243—244. Это положение доказывается на стр. 231—232 и 241—249 и наглядно иллюстрируется в специальной таблице.

Более подробно это положение развивается в другой нашей статье, специально посвященной вопросам вида древне- и новоармянского глагола<sup>7</sup>. В нашей работе о конъюгационных категориях новоармянского языка также сказано: «Формы, образованные от основы настоящего времени, выражают несовершенный вид, а образованные от основы аориста — совершенный вид. Однако в нескольких случаях для выражения совершенного вида новоармянский язык использует частицу *кэ*»<sup>8</sup>.

Изучая вопрос о виде в древнеармянском языке, А. Г. Шанидзе в свою очередь установил, что ряды глагола древнеармянского языка, производные от основы настоящего времени, выражают несовершенный вид, тогда как производные от основы аориста выражают совершенный вид<sup>9</sup>. Можно полагать, таким образом, что в процессе развития армянского языка принципы различения аспекта оставались неизменными. Суждения о категории вида в армянском языке довольно подробно изложены в рецензии А. Г. Шанидзе на работу И. И. Шилакадзе «Конъюгационные категории новоармянского языка»<sup>10</sup>.

Таким образом об аспекте армянского глагола существует специальная литература, в которой до конца 50-х годов господствовало мнение, не приемлемое для последующих исследователей (С. Зарбаджи, И. И. Шилакадзе, А. Г. Шанидзе), разработавших новое понимание аспекта, которое опирается на оппозицию совершенности действия. Формы глагола, не имеющие оппозиционных форм, не могут выражать ни совершенного, ни несовершенного действия, значит, они безаспектны, т. е. нейтральны в видовом отношении. Этого же понимания придерживается Г. Б. Джаукян, несколько иначе его формулируя: «Грамматическая

категория аспекта в плане выражения (*arġahajutjan planum*) характеризуется в первую очередь основоформирующими суффиксами *an, ac, ep, ec, z, n, ě, r*. Видообразующее значение вторично приобретает префикс *кэ*»<sup>11</sup>. Фактически, таким образом, Г. Б. Джаукян присоединяется к положению о том, что аспекты в армянском языке различаются по основе, поскольку аффиксы *an, ep, n, ě* формируют презентные основы, а *ac, ec, z, r* — аористные (из презентной основы образуется несовершенный вид, а из аористной основы — совершенный вид). Таким образом, формулировка Г. Б. Джаукяна отличается от вышеизложенного понимания вида только «в плане выражения».

Касаясь утверждения Г. Б. Джаукяна о том, что «в нескольких случаях для выражения совершенного вида новоармянский язык использует частицу *кэ*»<sup>12</sup>, отметим, что эта частица впервые только нами признана видообразующим элементом<sup>13</sup> (до того ее считали формантом составительного наклонения). Мы полагали, что форме с частицей *кэ* в новоармянском противостоят аналитические формы типа «причастие будущего времени + вспомогательный глагол», например: *knstem* «сяду» — *nstelu em* «буду сидеть». А. Г. Шанидзе, однако, выразил предположение, что форма, образованная с помощью вспомогательного глагола (*em*) и причастия будущего времени (*nstelu*), возможно, является не глагольной формой, а составным сказуемым<sup>14</sup>. Это мнение разделяет Г. Б. Джаукян (хотя А. Г. Шанидзе им здесь не упоминается; правда, позиция автора в данном случае не совсем ясна: «... армянские грамматисты (разрядка наша. — И. Ш.) считают, что *gnalu em, gnalu ji* — аналитические формы глагола, хотя ясно, что они не являются такими временными формами, какими являются *gnut em, gnacel em*, но фактически восполняют пробел этого ряда, выражающего значение несовершенного вида в отличие от глагольных форм *kgnat, kgnayis*»<sup>15</sup>. Казалось бы, Г. Б. Джаукян намерен констатировать мнение «армянских грамматистов», суждения которых

<sup>7</sup> И. И. Шилакадзе, Категория аспекта в армянском языке, «Труды [Тбилисс. гос. ун-та]», 99, Серия востоковедения, III, 1962 (на груз. яз.), особенно стр. 209, и резюме на русском языке.

<sup>8</sup> И. И. Шилакадзе, Конъюгационные категории новоармянского языка, сб. «Вопросы языка и стиля», II, Ереван, 1964 (на арм. яз.), об аспекте — стр. 211—248; см. также прилагаемую таблицу и резюме на русском языке, стр. 288.

<sup>9</sup> А. Г. Шанидзе, Теория скрив в применении к спряжению древнеармянского языка, «Совместная научная сессия Отделений общественных наук в Тбилиси и Ереване, 22—30.V.1948 г. Тезисы к докладам», 1949, стр. 20—23.

<sup>10</sup> А. Г. Шанидзе, Новый взгляд на природу спряжения новоармянского глагола, «Труды [Тбилисс. гос. ун-та]», 116, Серия востоковедения, V, 1965, стр. 427 и сл., особенно стр. 429.

<sup>11</sup> Г. Б. Джаукян, указ. соч., стр. 229.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> И. И. Шилакадзе, Ряды (скривы) глагола в новоармянском языке, стр. 236 (а также таблица); его же, Категория аспекта в армянском языке, стр. 195, 211; его же, Конъюгационные категории новоармянского языка, стр. 234, 285, а также таблица.

<sup>14</sup> А. Г. Шанидзе, Новый взгляд..., стр. 437, 438.

<sup>15</sup> Г. Б. Джаукян, указ. соч., стр. 273.

якобы вызывают сомнение. В действительности Г. Б. Джаукян разделяет точку зрения А. Г. Шанидзе. Логически рассуждая, Г. Б. Джаукян должен был бы прийти к выводу о том, что глагольные формы с частицей *kə* (*kgnat* «пойду», *kgnayi* «пошел бы я») не имеют оппозиционных форм, противопоставленных им по аспекту, и, следовательно, они являются нейтральными в видовом отношении. Г. Б. Джаукян этого вывода не делает, ограничиваясь тем, что некритически рассматривает чужие мнения и часто присоединяется к ним, не указывая,

однако, на соответствующие источники. Характерно, что в списке использованной литературы Г. Б. Джаукяном приведено 298 названий, а в сносках указано из них только 27.

Во всяком случае, в отношении изучения армянского вида неясная картина создается в работе из-за того, что Г. Б. Джаукян не всегда ссылается на ранее опубликованные труды. Рецензент обязан был уделить внимание и таким, на первый взгляд, незначительным мелочам.

*И. И. Шилакадзе*

## ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 26 по 29 августа 1971 г. в г. Сегеде (ВНР) состоялся симпозиум по вопросам речи, который явился непосредственным продолжением работы секции речи VII Международного Акустического Конгресса (18—26 августа 1971 г., Будапешт).

Симпозиум речи в г. Сегеде был посвящен проблемам акустики, физиологии и патологии речи. Общее число заявок для участия в работе симпозиума было равно 180. Причем наибольшее число заявок представила ВНР (78). Непосредственно в работе симпозиума приняли участие ученые из 20 стран: Австрии, НРБ, ВНР, ГДР, Дании, Ирана, Канады, Италии, Нидерландов, ПНР, СССР, США, СФР, Франции, ФРГ, СФРЮ, ЧССР, Швеции, Швейцарии и Японии. Специалистами этих стран было прочитано и обсуждено 80 докладов. Тематика последних была отражена в работе следующих секций:

1) Анализ патологической речи; 2) Производство и восприятие речи; 3) Акустическая структура речевого сигнала; 4) Структура речи и структура языка; 5) Логопедия и лингвистика; 6) Логопедия, лингвистика и акустика; 7) Прикладные исследования в области речи.

Огромный интерес вызвали доклады японских исследователей, посвященные артикуляционному анализу речи. Так, например, в докладе Х. Фудзикаки «Определение конфигурации голосового тракта по акустическим параметрам» было дано принципиальное описание метода для определения абсолютных значений пространственной функции голосового тракта. В докладе излагаются результаты параллельного анализа работы голосового тракта с помощью кинорентгена и акустических измерений. Значения пространственной функции устанавливаются по значениям формантных частот и значениям характеристик, снятых в ходе акустического анализа речевой волны. Цен-

ность проведенного анализа заключается также и в том, что автором проведено сравнение результатов предлагаемого метода с результатами, полученными другими методами.

Доклад С. Хики и Й. Оизуми (Япония) «Модель речевых органов» посвящен описанию модели механизма речевого синтеза по нейрофизиологическим параметрам. Описываемая в докладе модель основана на данных, полученных с помощью электромиографических и рентгенографических измерений.

Заслуживает внимания эксперимент, о котором докладывали Ф. Кемени и И. Субосиц (ВНР) в своем сообщении «Электромиографическое исследование звукового сочленения». Задача исследования заключалась в том, чтобы по данным губной артикуляции определить влияние соседних гласных. В докладе изложены результаты анализа миограмм губной артикуляции для следующих типов сочленения звуков: ГС, СГ, ГСГ, ГССГ.

В докладе П. Лейдефоджа, Й. Де Клерка и Р. Хершмана (США) «Параметры конфигурации движений языка» излагаются результаты кинорентгенографических исследований десяти гласных американского варианта английского языка в произнесении шести дикторов. Авторы указывают на наличие большой вариативности в конфигурации языка при произнесении одних и тех же гласных различными дикторами. Основным различающим признаком в данном случае может быть различная конфигурация языка у большинства дикторов при произнесении напряженных и ненапряженных гласных.

Огромный интерес вызвал доклад М. Савашимы (Япония) «Применение фиброскопии в исследованиях речи».

Автор доклада указал на то, что метод фиброскопии был предложен еще в 1968 г. Использование достижений волоконной оптики позволило японским исследователям осуществить прямое наблюдение движения голосовых связок в процессе речи. Согласно методике, описанной в докладе, с помощью фиброскопа осуществляется прямое наблюдение и одновременная кинорегистрация работы голосовых связок.

Анализу речи с помощью акустических методов было посвящено 15 докладов, среди которых три принадлежат советским ученым. Л. Л. Мясников (СССР) в своем докладе «Анализ древнерусской речи» изложил результаты экспериментов в области «фонетической археологии», которые позволяют реконструировать звучание таких фонем, как «ять», «юс малый», «ерь» и т. д. В докладе говорится об использовании анализа, синтеза, визуализации и распознавания речи в целях изучения звучания исчезнувших фонем.

Доклад Л. П. Блохиной (СССР) «Роль супrasegmentных характеристик в структуре интонационного фразового инварианта» посвящен проблеме нахождения инвариантных структур в интонационной системе языка. На основании данных акустического и перцептивного анализа автор приходит к выводу относительно роли частоты основного тона в формировании интонационного фразового инварианта.

Проблема пограничных сигналов и соотнесения последних с акустической структурой речевого сигнала дискутируется в докладе Р. К. Потаповой (СССР) «К вопросу об акустических коррелятах пограничных сигналов». Автор доклада излагает свою точку зрения на природу и функциональную нагрузку акустических коррелятов пограничных сигналов, в связи с чем вводятся понятия прямой и косвенной функций ПС.

Оригинальной представляется точка зрения, изложенная в докладе Х. Зайделя (ФРГ) «Анализ по основным компонентам применительно к речевым данным». Автор в противовес нелинейным способам обработки данных, полученных в результате анализа речевого сигнала, предлагает применить линейный способ, область применения которого охватывает в настоящее время многие отрасли знаний, в том числе теорию информации.

Частным вопросам специфики звукового строя языков были посвящены такие доклады, как «Длительность фонем и просодия в американском варианте английского языка» (Н. Умеда, К. Коукер, США), «Спектральный анализ датских гласных» (Л. Полс, Х. Тромп, Нидерланды), «Статистическое исследование акустических структур взрывных согласных

в сербохорватском языке» (Д. Костиц, Р. Дас, СФРЮ).

Целый ряд докладов был посвящен разработке проблем речевой патологии: например, «Исследования восприятия речи у детей с моторной афазией» (К. Геребен, ВНР), «Анализ патологического голоса» (Я. Мартони, Швеция), «Исследование патологически измененных голосов у новорожденных с помощью новых методов анализа» (Х. Шредер, Х. Гойдке, ФРГ), «Своеобразие губной артикуляции у слепых новорожденных» (В. Голес, ВНР) и мн. др.

Из числа докладов в области прикладных исследований речи следует остановиться на докладе Р. Шрага (ФРГ) «Автоматическая классификация речевых сигналов», в котором излагаются результаты по автоматическому распознаванию речи. В докладе на основании результатов эксперимента показана принципиальная возможность классификации образов по стационарным сегментам звуков.

В докладе Т. Терестиени (ВНР) «Признаки речевой коммуникации» изложена стройная система ситуативных признаков, характеризующих акт речевой коммуникации. К таким признакам автор доклада относит, например, время, в течение которого реализуется речевой акт; показатели кратковременной памяти участвующих в акте речевой коммуникации; культурный уровень участвующих в акте речевой коммуникации; возраст, пол, социальное положение общающихся посредством речевой коммуникации; намерения последних; присутствие других каналов коммуникации и т. д. Некоторые из названных ситуативных признаков описаны в терминах лингвистического прогнозирования.

Наряду с сообщениями, которые были прослушаны и обсуждены на секционных заседаниях симпозиума, следует упомянуть о заседании за круглым столом, посвященном современному состоянию и задачам в области исследования речи. Председателем этого заседания был венгерский лингвист Ф. Лоц. В дискуссии за круглым столом приняли участие: Л. А. Чистович (СССР), О. Фудзимура (Япония), Т. Тарноци (ВНР), Я. Мартони (Швеция), Ж. Дрейфус-Граф (Швейцария), Г. Вейхс (Австрия) и некоторые другие. Участники дискуссии обсудили целый ряд вопросов, посвященных таким проблемам, как: природа восприятия речи, восприятие и распознавание речи, роль лингвистики при решении ряда конкретных задач в области распознавания речи, фонетическая система конкретных языков и создание универсальной фонетической системы, фонология и патология речи, соотношение между артикуляцией, акустикой и восприятием.

В заключение следует подчеркнуть, что работа симпозиума отличалась большой интенсивностью, крайней насыщенностью

информацией и большой заинтересованностью всех участников симпозиума в обмене мнениями. Отсюда можно сделать вывод о большой практической и теоретической пользе симпозиума для решения целого ряда задач, стоящих перед исследователями в области лингвистики, психологии и физиологии речи, акустики и теории информации, патологии речи и целого ряда других областей знаний, непосредственно связанных с изучением речи.

*Л. П. Блохина, Р. К. Потанова*  
(Москва)

\*

17—19 мая 1972 г. в Калмыцком научно-исследовательском институте языка, литературы и истории при Совете Министров Калмыцкой АССР (г. Элиста) проходила Всесоюзная научная конференция, посвященная актуальным проблемам алтаистики и монголоведения и приуроченная к 100-летию со дня рождения видного алтаиста, крупнейшего монголоведа, калмыковеда, члена-корреспондента АН СССР, действительного члена Польской АН Владислава Людвиговича Котвича.

Открывая конференцию, Первый секретарь Калмыцкого обкома КПСС Б. Б. Городовиков подчеркнул, что калмыцкий народ получил все условия, необходимые для всестороннего и полнокровного развития экономики и культуры. И. К. Илишкин (Элиста) в докладе «В. Л. Котвич и калмыковедение» рассказал о научном вкладе исследователя в развитие этой дисциплины. Важным в теоретическом отношении вопросам был посвящен доклад И. Я. Златкина (Москва) «Проблемы социально-экономической истории монгольских народов эпохи феодализма».

Г. Д. Санжеев (Москва) в докладе «В. Л. Котвич — пионер нового направления в алтаистике» проанализировал взгляды ученого, считавшего основой алтайской общности не генетические связи, а типологические сходства, а также подчеркнул необходимость улучшения методики сравнительно-исторических исследований в области каждой отрасли алтаистики. В совместном докладе Т. А. Бертагаева и В. З. Панфилова (Москва) «Нивхско-монголо-тюркские связи» были приведены данные, свидетельствующие о типологических и некоторых материальных сходствах нивхского языка с алтайскими, что проявляется, в частности, в грамматике, лексике. На большом фактическом материале было проиллюстрировано наличие лексических

параллелей в нивхском, тюркских и монгольских языках.

Были прослушаны также доклады А. Ш. Кичикова (Элиста) «Джангароведение: состояние и перспективы», Д. Д. Лубсанова (Улан-Удэ) «Развитие востоковедения в Бурятии».

На конференции работали секции лингвистики, литературы и фольклора, истории.

На секции лингвистики было прослушано 33 доклада. В докладе «Якутские рефлексy тюркских и монгольских *j, ʃ, s* по В. В. Радлову» Е. И. Убрятова (Новосибирск) проанализировала наблюдения В. В. Радлова над различной судьбой этих согласных в якутском языке в словах тюркского и монгольского происхождения. Хотя гипотеза ученого о происхождении якутского языка не принята, его методика и вывод о разновременности тюркских и монгольских элементов в этом языке сохраняют значение для уточнения взаимодействия древних (тюркских, монгольских и эвенкийского) языков в процессе формирования якутского языка в X—XII вв. В докладе «Роль фонетических данных в решении вопросов этногенеза» В. М. Наделяев (Новосибирск) полагает, что учет фонетических характеристик (для установления артикуляционной базы) и фонематической системы (для выяснения вопросов исторической фонетики) являются исключительно важными факторами при определении происхождения носителей языка. В докладе «Палатальность консонантов в алтайских языках» П. Ц. Биткеев (Элиста), считая неправомерным распространенное в монголистике положение о том, что мягкие согласные являются результатом регрессивного влияния гласного *i*, пришел к выводу, что это явление ранее в монгольских языках и, в частности, мягкостью согласных отличались, вероятно, фонологические системы древних алтайских языков.

В. И. Цинциус (Ленинград) в докладе «О категории обладания в алтайских языках» показала, что соответствующие формы, выражающие отношения обладателя и обладаемого, являются как бы двумя аспектами одной идеи, в то время как их синтаксические функции диаметрально противоположны. Н. А. Баскаков (Москва) в докладе «Некоторые общеалтайские модели словообразования», проанализировав словообразовательные модели функциональных форм глагола (масдаров, причастий и деепричастий), установил, что большинство форм каждой категории имеет во всех группах алтайских языков общую семантику и функцию. Д. М. Насилов (Ленинград) в докладе «В. Л. Котвич о способах действия в алтайских языках», квалифицируя соответствующие формы как формы способов действия монголь-

ского глагола, показал общелингвистическую сложность проблемы, которая, по-видимому, должна решаться через реконструкцию праформ в каждой из групп языков преимущественно методами внутренней реконструкции. В прочитанном (в отсутствии автора) докладе А. П. Дульзона (Томск) «Происхождение алтайских показателей множественного числа» подчеркнут основной недостаток многих работ по этому вопросу — попытка объяснить умозрительно возникновение и развитие формального выражения множественности, без учета данных исторического развития языка. Указывалось на необходимость изучения формантов, свойственных языкам близкого и отдаленного родства, поскольку, по мнению докладчика, в урало-алтайское время уже существовали показатели множественного числа. Вопросы общности в структуре алтайских языков были затронуты в докладе «Грамматическое выражение выделительности в тунгусо-маньчжурских и других алтайских языках» Б. В. Болдырева (Новосибирск).

Анализу лексики алтайских языков были посвящены доклады: «К этимологии названий лошади в алтайских языках» К. А. Новиковой (Ленинград), «Названия деревьев и кустарников и их частей, общие для тюркских и монгольских языков» Л. В. Дмитриевой (Ленинград), «О названиях металлов в алтайских языках» Т. Г. Бугаевой и В. И. Цинциус (Ленинград), «О названиях для лица и наружности в алтайских языках» В. Д. Колесниковой (Ленинград). Т. Г. Бугаевой и В. И. Цинциус удалось проследить в названиях таких металлов, как «золото», «серебро», «медь», собственно алтайские компоненты и их позднее «подновение». Л. В. Дмитриева считает, что общность фитонимической терминологии в алтайских языках обусловлена, в основном, взаимовлиянием этих языков. Ф. С. Циплин (Москва) в докладе «Этнонимия в алтаистике» считает, что тюркские и монгольские этнонимы, встречающиеся на обширном пространстве Азии и Восточной Европы, — результат контактов тюркских и монгольских народов. Он отметил необходимость составления перечня-словаря тюркских и монгольских этнонимов. Многочисленные топонимы Казахстана этимологически восходят, как показал С. К. Кенесбаев (Алма-Ата) в докладе «О некоторых топонимических названиях в казахском языке», к тюркско-монгольским прототипам. Особое внимание уделено гидронимам и оронимам, которые, по мнению докладчика, позволяют говорить не только о языковом контактировании, но и о некотором языковом родстве. В докладе «Некоторые проблемы сравнительного изучения фразеологии тюркских и монгольских язы-

ков» З. Г. Ураксин (Уфа) остановился на совпадении семантики и сходстве внутреннего строения фразеологических единиц современного монгольского и башкирского языков, что, по его мнению, может свидетельствовать о генетическом родстве, длительности контактов носителей этих языков. С сообщением «Исследования Ц.-Д. Номинханова по монгольским и тюркским языкам» выступил Н. Н. Убушаев (Элиста).

Ряд докладов был посвящен вопросам монгольских языков. В докладе А. А. Дарбеевой (Москва) «Соотношение назывных и звательных слов в терминах родства в монгольских языках» было показано, что звательные слова, будучи весьма употребительными, являются наиболее подвижной частью терминов родства. В докладе «Об изучении языка шира югуров» Б. Х. Тодаева (Москва) квалифицировала этот язык как устойчивый монгольский язык, усвоенный некогда шира югурами от различных групп монгольских племен. В докладе «Ойрат-монгольские элементы в языке и этническом составе бурят» Ц. Б. Цыдендамбаев (Улан-Удэ) датировал XVI—XVII веками вхождение ойратского компонента в этнический состав бурят. Анализ языковых и историко-этнографических данных позволил Д. Г. Дамдинову (Улан-Удэ) сделать вывод о том, что в формировании оюнгских хамниган и их говора заметную роль сыграли ойратские черты. В докладе «Формы двойного отрицания в монгольских языках» Г. Ц. Пюрбеева (Москва) эти формы разделены на препозитивно-контактные и дистантные: два препозитивных отрицания усиливают друг друга, а при постпозитивно-контактном, дистантном употреблении два отрицания взаимно нейтрализуются. В докладе У.-Ж.Ш. Дондукова (Улан-Удэ) «О некоторых языковых особенностях исык-кульских калмыков» выделены фонетические и грамматические признаки языка исык-кульских калмыков в сравнении с киргизским и бурятским языками. Были прослушаны доклады Э. Ч. Бордасева (Элиста) «Монгольские термины, обозначающие пол, возраст и масть домашних животных» и М. Н. Орловской (Москва) «О некоторых грамматических особенностях языка „Алтан тобчи“».

Р. М. Бирюкович (Томск) в докладе «О некоторых исторических чередованиях в чулымско-тюркском языке» считает, что наличие здесь согласных *ц*, *ч*, *ш*, *с*, характерных различным тюркским и монгольским языкам, имеет существенное значение для восстановления праформы. Внимание тюркологов привлекли методы исследования, предложенные в докладе «Зависимость выделенности ударного гласного от его количественных характеристик в туркменском

языке» А. Моллаева (Ашхабад). Анализ лексической системы современного алтайского языка дан в докладе В. Н. Тадыкина (Горно-Алтайск) «Об одном древнейшем способе словообразования в алтайском языке».

Отдельным вопросам калмыцкого языка были посвящены доклады: Б. Д. Муниева (Элиста) «О некоторых новых явлениях в лексике калмыцкого языка» (проанализированы дифференциация рядов внутри отдельных частей речи, семантическое переосмысление слов), Д. А. Павлова (Элиста) «В. Л. Котвич и реформа калмыцкой письменности», М. У. М'онраева (Элиста) «О наречии в калмыцком языке», А. Л. Калыева (Элиста) «О качественных прилагательных в калмыцком языке», У. У. Очирова (Элиста) «Структура сложноподчиненных предложений в калмыцком языке», Д. А. Сусеевой (Элиста) «Структурно-типологическое сопоставление калмыцкого и русского языков в области морфологического словообразования».

На заключительном пленарном заседании выступили ученый секретарь отделения литературы и языка АН СССР Е. Ф. Трущенко и председатель оргкомитета конференции — секретарь Калмыцкого обкома КПСС И. Е. Намсинов.

Конференция приняла решения, в которых, в частности, подчеркивается необходимость периодически проводить конференции по алтаистике (не реже одного раза в три года), целесообразность создания в Советском Союзе постоянно действующего научного совета, который занимался бы вопросами координации научно-исследовательских работ по алтаистике и организации научных конференций. Кроме того, было признано целесообразным проведение семинаров по алтайским языкам сроком от двух недель до месяца по особой программе. Конференция считает необходимым обеспечить регулярную публикацию материалов конференций в наиболее короткие сроки, издание специального алтаистического ежегодника, а также наладить систематический обмен литературы, выходящей по алтаистике в СССР и за рубежом.

П. Ц. Биткеев (Элиста)

\*

10—12 ноября 1971 г. в Кишиневе прошло Всесоюзное совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка, которое было организовано Научным советом по диалектологии и истории языка при Отделении литерату-

ры и языка АН СССР и Институтом языка и литературы АН Молдавской ССР. В работе совещания приняло участие около 250 человек. Целью совещания было обсуждение двух кардинальных проблем: 1) лингвистические атласы (национальные и групп родственных языков) и 2) периодизация истории языка.

Чл.-корр. АН СССР акад. АН МССР Я. С. Гросул, открывая совещание, отметил большие успехи советской лингвистической географии, диалектологии и истории языка и приветствовал коллег, получивших высокую правительственную награду — Государственную премию СССР 1971 г., присужденную за цикл работ по белорусской лингвистической географии.

На пленарных заседаниях и на заседаниях двух секций было прочитано 35 докладов и 33 сообщения. Сверх программы<sup>1</sup> было прослушано еще 8 докладов и сообщений.

Председатель Научного совета по диалектологии и истории языка чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесов (Москва) в докладе «Задачи совещания по общим вопросам диалектологии и истории языка» отметил значительные успехи в области лингвистической географии. Составляются атласы различных типов, где интерпретируется диалектный материал и представлены как отдельные слова или формы, так и целые фрагменты структуры диалектной речи. Составляются атласы национальные и региональные, макро- и микроатласы, специализированные атласы — лексические, семантические, фонетические и фонологические и др. Ведутся работы над атласами групп родственных языков. Разнообразие объектов картографирования требует применения новых методов и приемов картографирования.

Касаясь проблемы периодизации истории языка, Р. И. Аванесов отметил, что история диалектного языка, по необходимости принимаемого вне его социально-стилистического членения, изучается по качеству его системы. Тут возможна отдельная периодизация истории фонологической системы, синтаксиса и т. п. самих по себе и в их связях и сводная периодизация развития системы языка в целом. История книжно-письменного языка изучается не только в развитии его качества, — последнее обычно отстает от диалектного языка, которым он питается, — но и в развитии его функций, социально-стилистического членения. Пе-

<sup>1</sup> См.: «Программа Всесоюзного совещания по общим вопросам диалектологии и истории языка. 10—12 ноября 1971 г.», Кишинев, 1971; «Тезисы докладов и сообщений Совещания по общим вопросам диалектологии и истории языка» (Кишинев, 10—12 ноября 1971 г.), М., 1971.

риодизацию как диалектного языка, так и языка книжно-письменного (позднее литературного), видимо, целесообразно строить на основе самих языковых черт и большей или меньшей стилистической расчлененности письменного языка, без необходимости не обращаясь к внеязыковым факторам. Кроме того, видимо, возможна «синтетическая» периодизация — периодизация языка в целом, как языка диалектного, так и языка книжно-письменного, при построении которой, видимо, придется выйти за пределы собственно языковые и обратиться к внеязыковым факторам — к данным истории общества.

Проблематика докладов и сообщений, посвященных вопросам лингвогеографии и диалектологии, свидетельствует о широком диапазоне деятельности советских диалектологов. В. Ф. Коннова (Москва) доложила о работе советских славистов по созданию Общеславянского лингвистического атласа (ОЛА). Успешно продвигается обследование русских, украинских и белорусских говоров по программе ОЛА. С большим интересом были встречены пробные карты, посвященные явлениям разных уровней языка, которые демонстрировались на Советании. Доклад Э. Р. Тенишева (Москва) был посвящен «Вопроснику к диалектологическому атласу тюркских языков СССР», разработанному сектором тюркских языков Института языкознания АН СССР. На основе опыта, накопленного при составлении национальных атласов киргизского, казахского, туркменского, азербайджанского, чувашского и других тюркских языков, планируется создание общетюркского атласа двадцати тюркоязычных народов СССР. Начат сбор материалов. Р. Я. Удлер (Кишинев) в докладе «Опыт группировки молдавских говоров на основе данных Молдавского лингвистического атласа» устанавливал основные территориальные подразделения молдавского языкового массива. Диалектные особенности фонетического, грамматического и лексического уровня учитываются в комплексе, с привлечением особенностей исторического развития края, специфики этнографического характера, социально-экономических показателей и др.

На заседании секции лингвистической географии были прослушаны доклад Т. В. Назаровой (Киев) «Некоторые вопросы рекартографирования» и доклад М. А. Бородиной, М. Г. Волох и Н. Л. Сухачева (Ленинград) «Микро- и макroatласы Романии». В последнем докладе рассматривалась возможность сравнительно-исторической интерпретации отдельных языковых явлений на основе лингвистической географии и выявление межъязыковых ареалов. Вопросы картографирования лексических и лексико-семантических различий были

посвящены доклады О. Н. Моравской (Москва), Ю. Т. Листровой (Воронеж), Л. И. Ионайтите и К. Ф. Моркунаса (Вильнюс), В. С. Сорбалэ (Одесса) и сообщения В. А. Комарицкого (Кишинев) и В. В. Корчмарь (Кишинев). А. А. Кривицкий (Минск) в своем сообщении доложил о работе над лексическим атласом белорусского языка (опубликован вопросник и разработана инструкция по сбору материала).

Межъязыковым украинско-молдавским, украинско-русским, тюрко-русским и другим связям, существующим в периферийных зонах или же в островных ареалах различной давности, были посвящены сообщения К. Ф. Германа (Черновцы), Н. М. Никитенко (Черновцы), Л. Л. Аюповой (Уфа) и Э. П. Здобновой (Уфа). В выступлениях С. В. Бромлей (Москва), В. К. Загаевского (Кишинев), А. Н. Думбравяну (Кишинев), Е. Н. Мамсуровой (Ленинград), С. А. Таниязова (Ашхабад), С. С. Апаровой (Ашхабад), С. Ф. Миржановой (Уфа) предметом рассмотрения были частные вопросы фонетики и грамматики говоров русского, молдавского, французского, туркменского и башкирского языков на основе данных лингвистической географии. Проблемы этимологии и статистики в лингвогеографии (на основе карт русского и молдавского атласов) были поставлены в выступлениях Н. Н. Пшеничной (Москва) и В. К. Павела (Кишинев). Взаимоотношения литературного языка и говоров в разные эпохи рассматривались в докладах Г. Г. Мельниченко (Ярославль) и М. П. Пуриче (Кишинев), а вопросы молдавской и казахской диалектной лексикографии — в сообщениях И. Д. Гриценко, И. И. Чебан (Кишинев) и Ш. Ш. Сарыбаева (Алма-Ата). С сообщениями о состоянии работ над Атласом латышского языка и над Атласом чувашского языка выступили С. К. Рааге (Рига) и Л. П. Сергеев (Чебоксары).

В выступлениях на советании неоднократно отмечалось, что для данного этапа работы по лингвистической географии национальных языков, когда по ряду языков картографирование уже в значительной степени продвинуто вперед или полностью завершено, характерно выдвижение новых задач — создание классификации говоров (например, молдавских), создание специализированных атласов (как лексический атлас белорусского языка), а также широкое развертывание работ по интерпретации данных атласов в самых различных аспектах.

По второй проблеме доклады и сообщения были посвящены преимущественно общим вопросам периодизации истории языка на материале книжно-письменных

и народно-разговорных языков с учетом их различий и взаимодействия. Большой интерес вызвал доклад Г. Б. Джаяна (Ереван) «О принципах периодизации истории языка (на материале армянского языка)»; в нем говорилось о необходимости построения полной (синтетической) истории языка, с учетом всех вариантов письменной и устной речи, охватывающей как историю литературного языка, так и историческую диалектологию, а также все «внешние» факторы. В докладе «Периодизация истории белорусского языка» А. И. Журавский (Минск) вскрыл специфику развития белорусского языка, выделив три основных периода его истории. Рассмотрев взаимоотношения книжно-письменного белорусского языка и народных говоров в разные периоды, докладчик показал, что современный белорусский литературный язык сложился на основе живых говоров без какой бы то ни было связи с письменным языком предшествующей поры.

Н. А. Баскаков (Москва) в докладе «К проблеме периодизации литературного языка „тюрки“» показал специфику развития языка «тюрки» и процесс его дифференциации на локальные варианты. И. И. Паленис (Вильнюс) в докладе «К вопросу о периодизации истории литературного языка» на материале истории литовского языка предложил для истории литературных языков с многовековой письменной традицией выделить два основных периода их развития: 1) донациональный и 2) национальный. Л. А. Покровская (Москва) в докладе «Лингвистические критерии периодизации истории гагаузского языка» раскрыла особые условия развития бесписьменного гагаузского языка. А. П. Еводошенко (Кишинев) поставил вопрос о выявлении структурных критериев периодизации истории языка.

В докладе «О двух периодах славяно-романских лингвистических связей», представленном на секции истории языка, Н. Д. Раевский (Кишинев) предложил разграничивать два хронологически отдаленных друг от друга периода славяно-романских языковых связей. В первом контактируют общеславянский язык и латинский язык, а во втором — древнеболгарский и восточнороманский языки. Т. Гаджиев (Баку) в докладе «К проблеме периодизации истории азербайджанского литературного языка» предложил понимать развитие литературного языка как эволюцию селективных фонетических, лексических и грамматических норм. И. М. Оранский (Ленинград) на материале иранских языков осветил взаимосвязь периодизации истории языка с существующей периодизацией памятников письменности и указал на недостатки установившейся трехчленной

схемы периодизации языков. Периодизации истории индоиранских языков, не имеющих древней письменности, посвятила свой доклад Д. И. Эдельман (Москва). Единственным средством установления последовательности процессов и определенных промежуточных этапов в четырехтысячелетнем пути развития индоиранских языков, не имеющих древней письменности, является внутренняя реконструкция и сравнительно-исторический анализ. О. С. Широков (Москва) доклад «Полифонемы влахо-македонских диалектов» посвятил выявлению сравнительно-историческим методом регулярных звуковых корреспонденций между близкородственными языками и диалектами; это позволило докладчику фонологический строй всех влахо-македонских диалектов рассматривать как цельную совокушность системы полифонем. О зависимости собственно языковых закономерностей развития языка от социальных условий было доложено В. И. Собиной (Воронеж).

В сообщениях, сделанных А. В. Широковой (Москва), А. С. Бархударовым (Москва), М. В. Федоровой (Воронеж), Г. М. Гожиным (Кишинев), А. С. Белой (Черновцы), В. И. Хитровой (Воронеж), В. И. Щеголихиной (Самарканд), Н. Х. Максумовой (Уфа), Н. Н. Убушаевым (Элиста) и др., рассматривались отдельные вопросы истории языка на конкретном материале славянских, романских, индоиранских, тюркских, монгольских языков. В сообщении В. А. Сенкевича (Магнитогорск) «Некоторые данные о количественных соотношениях в системе лексики диалекта, полученные с применением счетно-аналитических машин» говорилось о количественном анализе живой разговорной речи в ее диалектном и интердиалектном проявлениях.

На заключительном заседании утверждены (с некоторыми дополнениями) разработанный сектором тюркских языков Института языкознания АН СССР «Вопросник к диалектологическому атласу тюркских языков и диалектов СССР». Было высказано пожелание провести следующее Всесоюзное совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка в 1973 г. в Ереване и обсудить на нем следующие вопросы: 1) принцип и критерии диалектного членения языка; 2) междиалектные контакты и специфика развития говоров в иноязычной среде; 3) взаимоотношение книжно-письменных языков и диалектов в разные периоды их исторического развития.

*О. А. Князевская (Москва),*

*Р. Я. Удлер (Кишинев)*

\*

В Москве и Ленинграде состоялись собрания научной общественности, посвященные памяти выдающегося советского лингвиста и литературоведа проф. И. М. Тронского.

26 октября 1971 г. состоялось расширенное заседание кафедры классических языков МГПИИЯ им. М. Тореца. В заседании принимали участие члены кафедры классической филологии МГУ и представители некоторых других научных учреждений. Были прослушаны доклад В. Н. Ярхо «Научный путь И. М. Тронского» и три содоклада, посвященные работам И. М. Тронского в различных областях лингвистики и литературоведения.

К. П. Полонская (МГУ) в содокладе «И. М. Тронский — исследователь Менаандра» показала, что уже в «Истории античной литературы» И. М. Тронский внес существенные поправки к взглядам, установившимся на Менаандра. Б. Б. Ходорковская, посвятившая свой содоклад исследованиям И. М. Тронского в области древнегреческого языка, специально остановилась на его работах по древнегреческому ударению — одному из труднейших и самых запутанных вопросов языковедения.

Выступившая с содокладом «Работы И. М. Тронского по латинскому языку» Т. А. Карасева подчеркнула, что И. М. Тронский, продолжая традицию лингвистического исследования античных языков, заложенную в России Ф. Е. Коршем, И. А. Бодуэном де Куртенэ, И. В. Нетушилом, М. М. Покровским, всегда находился на уровне новейших достижений теоретического и сравнительно-исторического языковедения.

В своих трудах по древним языкам И. М. Тронский во многом успел пополнить программу, намеченную им в 1958 г. в статье «Задачи советского языковедения в области античных языков» (ИАН ОЛЯ, т. 17). Остался, однако, еще ряд проблем, разработка которых является долгом советских лингвистов-классиков — учеников и последователей И. М. Тронского.

После краткого обмена мнениями по прослушанным докладам участники заседания выразили пожелание, чтобы кафедра классических языков МГПИИЯ им. М. Тореца взяла на себя организацию ежегодных научных собраний памяти И. М. Тронского с постановкой на них докладов по истории античных языков и литератур.

7 и 6 июня 1972 г. в ЛО Института языковедения АН СССР состоялись первые чтения, посвященные памяти профессора И. М. Тронского.

С докладом «Вопросы исторической грамматики латинского языка в трудах

И. М. Тронского» выступил Ю. В. Откупщикова (Ленинград), который подробно рассмотрел основные труды И. М. Тронского по исторической грамматике латинского языка.

Л. Г. Герценберг (Ленинград) в докладе «Вопросы индоевропейской реконструкции в трудах И. М. Тронского» охарактеризовал вклад И. М. Тронского в индоевропейское сравнительно-историческое языковедение, подробно остановившись на разработке И. М. Тронским чрезвычайно методически важного понятия «праязыкового состояния», на интерпретации проблемы индоевропейских гуттуральных и на вопросах морфологической реконструкции.

И. А. Перельмутер (Ленинград) в докладе «О некоторых синтактико-стилистических особенностях языка аттической прозы» отметил ряд синтактико-стилистических черт, характерных для языка древнегреческой прозы и отличающих его от всех современных европейских литературных языков.

А. В. Десницкая (Ленинград) в докладе «К вопросу о значении винительного падежа у Гомера» отметила, что употребление винительного падежа в языке гомеровских поэм значительно отличается от нормы позднейших эпох. Это выражается в широте его объектных функций, а также в наличии обстоятельного употребления. Объектные и обстоятельные функции гомеровского винительного падежа связываются путем постепенных переходов в единую семантико-синтаксическую систему.

В. П. Нерознак (Москва) прочел доклад «Словарь Гесихия и его значение для изучения палеобалканских языков». В. Н. Ярхо (Москва) в докладе «О некоторых так называемых гомеризмах в греческом языке» высказал мнение, что среди слов древнегреческого языка, которые принято считать гомеризмами, а действительности много таких, которые являются обычными словами, заимствованными эпосом из обиходного языка.

Н. А. Чистякова (Ленинград) в докладе «Архаические метрические надписи» проанализировала шесть древнейших метрических надписей, локализуемых вне возможных мест создания гомеровского эпоса. Я. М. Боровский (Ленинград) в докладе «*Intemptata nites*. К толкованию оды Горация I, 5» отметил, что значение «неиспытанный» для *intemptatus* в рассматриваемой оде Горация, предлагаемое в «*Thesaurus linguae latinae*», VII 2112, 12—66 (1964), не подкрепляется ни одной параллелью в латинской литературе. Кроме того, при таком толковании этого слова стихотворение не получает удовлетворительного смысла, оставаясь на уровне плоского морализирования, влагаемого в него античным схолиастом.

М. Б. Мейлах (Ленинград) в докладе «Δῆῖτε в древнегреческой лирике» предпринял попытку объяснить, с одной стороны, значение понятия «повторения» любовного опыта в мелической поэзии, с другой — факт вытеснения наречием δῆῖτε, обозначающим это понятие, конкурирующих с ним слов.

З. А. Покровская (Москва),  
Ю. А. Лопашов (Ленинград)

\*

30 мая 1972 г. в ЛО Института Языкознания АН СССР на заседании недавно организованного постоянно действующего семинара «Язык фольклора» (в работе его принимают участие ученые Института русской литературы АН СССР, Института этнографии АН СССР, ЛГУ, Института театра, музыки и кинематографии и т. д.), состоялось обсуждение книги А. В. Десницкой «Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории языка» (Л., 1970). Обсуждение показало, что идея создания постоянного семинара, в работе которого участвуют языковеды, лингвисты, этнографы и др., чрезвычайно своевременна и плодотворна для изучения актуальных вопросов фольклористики.

Во вступительном слове А. В. Десницкая подчеркнула отличие своей точки зрения на природу койне от традиционной (которая связывает койне с образованием письменного-литературного языка): развитые устные койне наддиалектного характера существовали до образования литературного языка, в эпоху родо-племенного строя. Эти наддиалектные формы нормировавшейся устной речи отличались способностью консервировать языковые черты древних эпох и являлись очень важным фактором в истории любого языка. Признавая язык высоких жанров устной народной поэзии одним из видов наддиалектных койне, А. В. Десницкая полемизирует с А. П. Евгеньевой, которая считает, что язык фольклора нельзя отрывать от диалекта, на котором говорят его исполнители, что различие между языком устной поэзии и диалектной обиходно-разговорной речью заключается только в том, что язык поэзии получает наиболее совершенные формы и связан традицией.

Участники обсуждения отметили, что мысли, высказанные А. В. Десницкой, подтверждаются материалом многих языков. Н. М. Терещенко и А. Н. Жукова говорили о том, что язык фольклора народов Крайнего Севера — ненцев, чукчей и коряков, лишь недавно получивших письменность, несмотря на

их большую диалектную раздробленность, носит наддиалектный характер. А. Л. Грюнберг остановился на типологически сходной языковой ситуации в иранском языковом мире, хотя письменность там имеет тысячелетнюю традицию. В условиях билингвизма один диалект выступает в роли обиходно-разговорного, а другой — в роли наддиалектной формы речи (например, ваханский и таджикский языки на Памире).

Большое внимание было уделено постоянным фольклорным формулам, в которых отчетливо проявляется консервация древних языковых элементов и которые в обсуждаемой книге рассмотрены как в теоретическом плане, так и на конкретном албанском материале. Б. Н. Путилов отметил, что идея наддиалектного характера языка фольклора и древности постоянных формул, которые, по мнению А. В. Десницкой, происходят от формул бытового языка, проясняет многое в природе вариантов фольклорных сюжетов. Об историчности понятия формулы говорила И. М. Колесникова, оперируя примерами русской свадебной и земледельческой обрядности.

При обсуждении подчеркивалось, что идея консервации языковых черт имеет важное значение также для исследований по общему языкознанию, в которых этому вопросу не уделялось должного внимания (Л. Г. Герценберг, И. А. Аскадский). Н. А. Андреев заметил, что с позиции концепции А. В. Десницкой можно объяснить многие явления, существовавшие в праиндоевропейском языке и до настоящего времени оставшиеся непонятными.

Были высказаны также интересные соображения, дополняющие сделанное в книге заключение о различии языка разных жанров устного народного творчества. Приводились примеры устойчивости и традиционности языка таких сфер фольклора, как похоронные причитания, свадебные и обрядовые формулы, что во многом объясняется внеязыковыми, социальными причинами. В языке шаманских обрядов, как правило, вовсе непонятно слушателям, это его качество, по естественным причинам, сохранялось преднамеренно.

Критические замечания касались, по существу, одного вопроса. В книге рассмотрен главным образом один, хотя и «классический», период существования наддиалектного языка устно-поэтических сфер — его бытование в период развитого родо-племенного строя. Материалы фольклора, относящиеся к другим периодам, показывают существенные различия в его характере. О. П. Суник отметил, что у некоторых народов, стоящих на низкой ступени развития (например, современных тунгусо-маньчжурских), наддиалектные формы языка поэтических сфер отсутствуют. Произведения фоль-

клора исполняются здесь только на том диалекте, которым владеет исполнитель, при этом высоких жанров народной поэзии — эпоса здесь не существует. Видимо, это языковое состояние вообще характерно для древнейших этапов бытования устного народного творчества. О. Г. Пороховой было высказано мнение, что у народов, достигших высокого уровня развития (например, русского), в период сформировавшегося национального литературного языка наддиалектный устно-поэтический язык вступает в сложные, подчас неоднозначные взаимоотношения с литературно-письменным языком и живой речью. Учитывая это, отчасти можно объяснить дискуссию между автором книги и А. П. Евгеньевой. Приводя примеры влияния на язык русских былин литературно-письменного языка, О. Г. Порохова отмечала, однако, что даже в позд-

ние исторические периоды язык высоких жанров поэзии сохраняется как особая сфера, имеющая свои законы развития и применения.

Г. П. Князьков а говорила о тесном соприкосновении и взаимном проникновении языка фольклора и городских койне в русском языке второй половины XVIII в., что объясняется особенностями истории русского народа и его культуры.

Оценивая книгу «Наддиалектные формы устной речи...» как существенный вклад в изучение фольклора, выступившие подчеркнули, что высказанные в ней теоретические положения будут способствовать активизации исследований языка устного народного творчества.

*О. Г. Порохова, Т. В. Рождественская*  
(Ленинград)

---

The Editorial Board of the journal «Voprosy Jazykoznanija» is deeply obliged to the Publishing Houses who send us their books for review. The Editorial Board announces that it cannot guarantee the reviewing of all the books received at the Editorial Office. The critiques will be published according to the possibilities of our journal. Two offprints will be sent to the Publishers. Books received are not sent back.

\*

La rédaction de la revue «Voprosy Jazykoznanija» exprime sa gratitude profonde à toutes les maisons d'édition qui nous envoient leur production imprimée pour critique. La rédaction annonce qu'elle ne peut pas garantir la publication d'un compte-rendu pour chaque livre reçu à la rédaction. Les comptes-rendus seront publiés selon les possibilités de la rédaction. Deux tirages-à-part seront envoyés aux maisons d'édition. Les livres reçus à la rédaction ne sont pas rendus aux éditeurs.

\*

Das Redaktionskollegium der Zeitschrift «Voprosy Jazykoznanija» spricht sein tiefempfundenen Dank aus den Herausgeber, die uns Rezensionsexemplare ihrer Bücher senden. Das Redaktionskollegium teilt mit, daß alle erhaltene Bücher können in unserer Zeitschrift natürlich nicht besprochen werden. Die Rezensionen werden je nach den Möglichkeiten unserer Zeitschrift veröffentlicht. Zwei Sonderabdrucke werden unbedingt zu den Herausgeber abgeschickt. Die an die Redaktion erhaltene Bücher sind gewöhnlich nicht zurückgesandt.

---

## CONTENTS

**Articles:** F. P. Filin (Moscow). On the structure of modern Russian literary language; **Discussions:** K. B. Bektaev, S. K. Kenesbaev (Alma-Ata), R. G. Piotrovskij (Leningrad). Engineering linguistics; V. M. Mokienco (Leningrad). Historical phraseology: ethnography or linguistics? E. V. Sevortian (Moscow). On the sources and methods of Proto-Turkic reconstructions; **Materials and notes:** V. G. Admoni (Leningrad). Typology of the sentence and logical-grammatical types of the sentence; R. L'Hermitte (Paris). On the development of nominative sentence in Russian; G. N. Akimova (Leningrad). The size of the sentence as a factor of stylistics and grammar; V. V. Odincov (Moscow). Stylistic analysis of texts self-edited by writers; S. M. Haidakov (Moscow). On the origin of personal conjugation in the Daghestan languages; N. G. Mikhailovskaja (Moscow). Contribution to the study of lexical-semantic system of Old Russian; **Reviews; Scientific life:** Letters to the Editorial Board — I. I. Silakadze (Tbilisi). On the study of aspect in Armenian.

---

## SOMMAIRE

**Articles:** F. P. Filin (Moscou). La structure de la langue russe littéraire moderne; **Discussions:** K. B. Bektaev, S. K. Kenesbaev (Alma-Ata), R. G. Piotrovskij (Léningrad). Linguistique de génie; V. M. Mokienco (Léningrad). Phraséologie historique: ethnographie ou linguistique? E. V. Sevortian (Moscou). Contribution aux sources et méthodes des reconstructions proto-turques; **Matériaux et notices:** V. G. Admoni (Léningrad). Typologie de la proposition et types logico-grammaticaux de la proposition; R. L'Hermitte (Paris). Sur le développement de la proposition nominative en russe; G. N. Akimova (Léningrad). La dimension de la proposition comme facteur stylistique et grammatic; V. V. Odincov (Moscou). Analyse stylistique des textes révisés par les auteurs; S. M. Haidakov (Moscou). Sur l'origine de la conjugaison personnelle dans les langues daghestanes; N. G. Mikhailovskaja (Moscou). Contribution à l'étude de système lexico-sémantique du vieux-russe; **Comptes-rendus; Vie scientifique:** Lettres à la rédaction — I. I. Silakadze (Tbilisi). Contribution à l'étude de la catégorie d'aspect en arménien.

---

Технический редактор

---

Сдано в набор 2/II-1973 г. Т-01253 Подписано к печати 22 II-1973 г. Тираж 7255 экз.  
Зак. 1559 Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup> Усл. печ. л. 14,0 Бум. л. 5 Уч.-изд. л. 16,4

---

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10